

ЮН



1994



В номере:

Волшебный роман
Юлии Латыниной
"СТО ПОЛЕЙ".
Мистика Валерия
Ронышина: "...ПОЕЗД
МЕТРО СО СТАНЦИИ
"ОТЧАЯНИЕ".
"КОСМИЧЕСКИЕ
ИГРЫ СО
СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ" Дмитрия
Филимонова.
Российская история:
ШЕРЕМЕТЕВЫ.
"ЧАС НОЧИ" - этап
криминальной игры.



Русский театр. Примадонна. Холст, масло.

Валерий ГОШКО г. Москва.

Смотрите нашу вкладку.

ЮНОСТЬ



2⁽⁴⁶¹⁾ 1994

Д.Н.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ
ВЫХОДИТ С ИЮНЯ 1955 ГОДА

Редакционная коллегия:
главный редактор
Виктор ЛИПАТОВ

собкор по Уралу и Сибири
Юрий БЕЛИКОВ
заместитель главного редактора
Натан ЗЛОТНИКОВ

ответственный секретарь
Владимир КОЖЕМЯКИН

главный художник
Олег КОКИН

редактор отдела публицистики
Александр КОРМАШОВ

редактор отдела поэзии
Николай НОВИКОВ

редактор отдела прозы
Эмилия ПРОСКУРНИНА

руководитель литстудии
Юрий РЯШЕНЦЕВ

заместитель главного редактора
Юрий САДОВНИКОВ

редактор отдела сатиры и юмора
Александр ХОРТ

Редакционный совет:

Петр АЛЕШКОВСКИЙ

Геннадий ГОЛОВИН

Фазиль ИСКАНДЕР

Юрий КУБЛАНОВСКИЙ

Наум КОРЖАВИН

Александр ЛАВРИН

Валерия НАРБИКОВА

Булат ОКУДЖАВА

Игорь ОБРОСОВ

Владимир ОРЛОВ

Валерий ПРИЙМЕНКО

Евгений СИДОРОВ

Владимир СОКОЛОВ

Лев ТИМОФЕЕВ

Коммерческий директор Феликс МАЗУР



Валерий Роньшин

ПОСЛЕДНИЙ ПОЕЗД МЕТРО СО СТАНЦИИ «ОТЧАЯНИЕ» (СОЧИНИТЕЛЬ ЭПИТАФИЙ)



Рисунки Татьяны Васильевых

Я живу один, и у меня есть кот по имени Йорик. Вернее, был до недавнего времени. Его задавил грузовик осенью прошлого года, когда в наш дом переехжала акробатка Нелли со своим супругом — укротителем тигров...

Сейчас зима.

Я замерзаю. Я все время замерзаю, даже если напяливаю на себя три свитера сразу.

А еще мне дико хочется спать...

Я сижу у окна и по своему обыкновению злобствую: скорей бы — скорей бы! — кончилась эта проклятая зима и наступило лето. А летом тоже буду злобствовать и ждать зимы.

Еще я сочиняю эпиграфии. И получаю за это деньги. Так что с голоду я не умру, потому что каждый день умирает кто-то другой...

...Потом пришла весна.

Снег медленно таял. Во дворе, под чахлыми кустами черемухи, валялся полуразложившийся труп моего Йорика.

И все благодаря переезду акробатки Нелли.

В свое время она произвела на меня очень сильное впечатление. Тогда Нелли еще жила в другом месте.

Я пошел в цирк. И увидел хрупкую девочку в розовом платье.

На огромной высоте, в пустоте черного-черного пространства, под самым куполом, грациозно порхала розовая бабочка в ярком свете прожекторов. Я, затаив дыхание, следил за ее чудесным полетом. Прекрасная, воздушная, неповторимая; она казалась маленькой девочкой десяти-одиннадцати лет. Хотелось осторожно погладить ее по голове. Сводить в кафе-мороженое. С тихой радостью смотреть, как она с удовольствием будет есть холодные шоколадные шарики из блестящей вазочки. Хотелось вытираять ее пухлые губки кончиком белоснежного платочка... Позже я узнал, что акробатке Нелли в ту пору было уже тридцать два года.

— Здравствуйте, — раздался за спиной приятный женский голос. — Это ваш кот? Как его зовут?

Я обернулся. Позади стояла акробатка Нелли. У нее было бледное вытянутое лицо и пересохшие губы.

— Его звали Йорик, — ответил я. — Ваш муж переехал его в прошлом году на грузовике.

— Бедный Йорик, — сказала она. — Бедный мой муж.

— А ваш муж с чего бедный? — грубо поинтересовался я. — Его тоже переехал грузовик?

— Если бы, — вздохнула акробатка Нелли. — Мое-

го мужа сожрал тигр. Прямо во время представления.

Я попросил рассказать подробности. Она рассказала. Коронный номер мужа-дрессировщика был: засунуть голову в пасть к тигру. Вот он и засунул. Раздались дружные аплодисменты. Тигр с ласковой кличкой Марсик сомкнул пасть. Аплодисменты смолкли.

— Печально,— сказал я, не испытывая, впрочем, особой печали.

— Да, неприятно,— спокойно кивнула акробатка Нелли. И без видимой связи добавила: — Я его не любила.

На дворе пригревало солнышко. Птички чирикали.

— Вы любите мороженое? — спросил я.

— Я люблю пиво,— ответила она.

Тогда я пригласил ее в пивную.

...Не успели мы подойти к остановке, как из-за угла, громыхая по разбитым рельсам, выполз трамвай под номером 43. Мы сели в него и поехали. Кроме нас, в салоне находилась еще одна парочка. Потрепанный жизнью мужчина лет пятидесяти и ярко накрашенная блондинка лет за двадцать. Оба пьяные. Мужчина сладко подхихиковал. Девушка на каждом повороте заваливалась ему на плечо и изумленно бормотала:

— Это ж надо так нажраться с собственным шефом.

Солнце неожиданно скрылось. Начался нешуточный дождь. По стеклу побежала вода.

— Расскажите мне о себе,— потребовала акробатка Нелли.

— Хорошо,— согласился я.— Нас было двое. Серега и я. Мы родились в один год. Вместе ходили в ясли. Вместе влюбились в одну и ту же девушку. Светлану...

— Вместе на ней женились,— подсказала акробатка Нелли.

— Нет. Дальше начинаются расхождения. Светлана выбрала моего друга. Они поженились. Нас распределили в одну часть, недалеко от Мурманска. Полеты были три раза в неделю. В свободное время мы охотились. Иногда с нами ходила и Света... Однажды я несколько поостал ишел один, задумавшись. Вдруг слева, в кустах, раздался шорох. Я машинально, не глядя, выстрелил. Светлана упала. Пуля угодила ей в висок. Я догнал Серегу и спросил: «У тебя ружье заряжено?» «Да»,— ответил он. «Дай сюда»,— сказал я. Он отдал. «Знаешь,— сказал я,— я сейчас Светку случайно убил». Он сделался бледным как мел. Потом был суд офицерской чести. Меня уволили. Серегу перевели на Новую Землю. Светлану похоронили. Она была с юга, не везти же тело на другой конец страны. Могила ее оказалась самой первой. Аэрором был построен недавно, служили здесь в основном молодые ребята, и до нее еще никто не умирал... На гражданке я работал сверловщиком, дырки сверлил в деталях, одна дырка — одна копейка. Сверлю и считаю... Потом продавал газеты в киоске. Сейчас сочиняю эпитафии.

— Печально,— сказала акробатка Нелли, не испытывая, по-моему, особой печали.

Трамвай резко повернулся. Блондинка в очередной раз завалилась на плечо своему спутнику.

— Это ж надо так нажраться с собственным шефом,— посоветовала она.

— Вы думаете, мне приятно возить вас с утра до вечера?! — вдруг зло закричал в микрофон водитель

трамвая номер 43. — Вы думаете, это доставляет мне удовольствие?! Постоянно слушать вашу брань! Видеть, как вы пихаете друг друга. Отвечать на ваши дурацкие вопросы!! Езжу по кругу, как осел! И получаю за это гроши!

— Расслабься,— миролюбиво посоветовал я.— Другим не слаже.

— Да плевать я хотел на других! — уже непосредственно на меня стал раздражаться водитель.— Я художник! Можешь ты понять это своими куриными мозгами?! Ху-дож-ник! После работы я пишу картины! Закаты и восходы! Стариков и детей!

— Вот и замечательно,— вмешался пятидесятилетний мужчина.— Рисуйте себе на здоровье. Может, вы второй Ван Гог!

— Кто?.. Кто?.. — уже гораздо спокойнее переспросил водитель.

— Ван Гог. Голландский художник. Он точно так же, как и вы, вляпал жалкое существование.

Наступила тишина.

Водитель трамвая остановил трамвай, выключил дворники и молча наблюдал, как дождевая вода заливает ветровое стекло...

Наконец, минут через десять мы снова поехали.

— Нет,— сказал он с тяжким вздохом.— Я не Ван Гог.

— А кто вы? — спросила акробатка Нелли.

— А никто!.. Водитель трамвая номер 43! Вот я кто! И все! И все! — выкрикнул он, и по истеричным ноткам в голосе я понял: это только цветочки — ягодки будут сейчас.

Но тут акробатка Нелли подошла к самой кабине, открыла дверь и поцеловала водителя трамвая номер 43 прямо в губы.

— Успокойтесь,— сказала она.— Я вас люблю.

И водитель трамвая сразу успокоился.

— Следующая остановка — кладбище,— объявил он в микрофон.

Мы вышли.

Дождь лил. По другую сторону дороги находилась пивная.

«Белая лошадь» — так она называлась.

Крутая лестница вела глубоко под землю. На дубовых дверях с огромным медным кольцом висела косо закрепленная бумажка: «Мест нет».

— Мест нет,— кивнул я на объявление.

Акробатка Нелли уверенно толкнула дверь. За дверью находился пивной зал. В зале никого не было. Ни единой души!

Я огляделся.

Тускло горели две лампочки. Стояли грубо сколоченные стулья у массивных мраморных столов. Окна отсутствовали... Неожиданно из темных глубин вынырнул неопрятного вида старик с растрепанной бородой. Совершенно пьяный.

— Как делишки, дядя Паша? — по-приятельски спросила акробатка Нелли.

— Делишки-то? — жмурился старик от удовольствия.— Ничего делишки. Многие бабы меня еще хотят. Да я не всем даю! Ха-ха-ха! — Смех у него оказался мощный, раскатистый. Под стать огромной фигуре.

— Что, пенистого пришли пососать? — доброжелательно интересовался дядя Паша.

— Я — да. А вот он предпочитает мороженое,— указала на меня пальцем акробатка Нелли.

Дядя Паша медленно повертил свое грубое, словно топором тесанное, лицо в мою сторону и так посмотрел...

— Ты с какой планеты, студент, — спросил он голосом, который не сулил ничего хорошего.

Акробатка Нелли приподнялась на цыпочки и быстро прошептала мне на ухо:

— Не обращайте внимания. Старик очень нервный. Может ни за что обругать, избить... Но вы должны его понять: человек всю жизнь прожил под большевиками. Поневоле станешь нервным...

Дядя Паша уже тащил на стол пивные кружки, наполненные темным пивом, тарелки с закуской, высокие пыльные бутылки...

— Пей, студент, — ласково ворчал он. (Как у всех алкашей, настроение его менялось мгновенно.) — Это тебе не в Киргизии: старухе девяносто лет, она командир дивизии.

— Выпейте, — вполголоса посоветовала акробатка Нелли.

Мы выпили по одной кружке... затем по другой...

Дядя Паша разливал в высокие фужеры вино из пыльных бутылок... Наклоняясь ко мне, дышал в ухо винно-водочным перегаром:

— Относись к женщинам как к сестрам, студент.

— Да не наваливайтесь вы на меня, — стал я его энергично отпихивать.

Акробатка Нелли зажгла тонкую стеариновую свечу.

— Живое пламя притягивает лучи других звезд, — задумчиво сказала она, глядя на огонь.

— Дай стольник! — уже в полный голос приказал дядя Паша.

— В честь чего это? — опешил я.

— В честь нашей встречи, мадам! — гаркнул он и, протянув волосатую лапу, сгреб мою рубашку у самого ворота.

Я дал ему сто рублей.

— Верну, — пообещал дядя Паша.

— Не сомневайтесь, — сказал я.

Мы еще выпили. На этот раз водки...

— Сейчас музончик включу. — Дядя Паша исчез в темноте.

Через минуту послышалось громкое шипение. Затем чей-то нетрезвый голос сказал:

— Собака умирает...

Потом то же самое еще раз... и еще...

Появившийся дядя Паша хранил загадочное молчание.

— Выключи! — приказала акробатка Нелли.

— Явволь, майн фюрер! — выбросил дядя Паша руку в фашистском приветствии. И снова убежал.

Я слегка опьянял. Щеки горели.

— Нелли, — с симпатией глядел я на акробатку, — у меня такое ощущение, что моя жизнь давно закончилась. А я все живу... живу...

Вернулся дядя Паша с новым запасом бутылок.

— Вы знаете, Нелли, — продолжал я, — человек по-настоящему одинок только в городе. Я это испытал на собственной шкуре... Иногда я выхожу прогуляться и вижу людей. Сотни людей! Тысячи людей!.. А поговорить не с кем. Не с кем поговорить!.. Они-то между собой все время говорят. Что-то без конца болтают... Знаете, Нелли, мне иногда хочется затоптать ногами и закричать: «Замолчите! Замолчите! Замолчите!...» Вам этого никогда не хотелось?

— Хотелось! Еще как! — сказал задремавший было дядя Паша.

— Поэтому я большую часть времени провожу дома. Сижу и задумчиво рисую. Я всегда рисую, когда задумываюсь. Черные и белые квадратики. А еще половинки человеческих лиц. Всегда только половинки...

— Авангардист, — отметил дядя Паша.

Я быстро пьянял. Голова разламывалась. В висках стучало. Но и остановиться я уже не мог.

Меня несло...

Дядя Паша сидел, развались вальяжно.

— Хорошо балду месим, — удовлетворенно шурился он.

— Отстаньте, отстаньте, — отмахивался я от него, всей душой, всем взглядом устремляясь к безмолвной, но все понимающей Нелли... — Иногда я целыми неделями не встаю с кровати. Сплю или просто валяюсь, гляжу в потолок. Я выключаю себя из мира. Отхожу в сторону. Не участвую. А зачем участвовать? Зачем, объясните мне?.. Потом, когда все-таки возвращаешься, видишь, что ничего не изменилось. Все то же самое. Нет, ну, конечно же, совсем, совсем другое... — поправлял я себя с нервным смешком. — Но по сути своей!.. По сути!..

— А по сути, — подхватывал пьянящий дядя Паша, — мы, как тараканы в банке: жрем друг друга и фамилии не спрашиваем!

Акробатка Нелли томно склонила голову к плечу и меланхолично водила кончиками пальцев по тонким черным бровям. Она просто сидела и просто слушала. А именно этого мне и хотелось. Именно этого требовала моя исстрадавшаяся душа...

— Вы знаете, Нелли, — говорил я, — иногда мне хочется утонуть в прозрачном озере. В жаркий летний день. И чтобы это озеро было где-нибудь в глубине леса. Хочется спокойно лежать на песчаном дне. Расслабиться. Ощущать на лице движение водорослей. Видеть медленно плывущих рыб... Нелли, — предплакал я, — вы не хотите утонуть вместе со мной в тихом лесном озере?..

— Еще как хочу, студент, — встревал дядя Паша.

— Да заткнись ты, дурак! — не выдержал я наконец.

— Чего, чего, — стал он угрожающе приподниматься со стула.

Акробатка Нелли повела красивыми бровями. Это оказалось вполне достаточно.

— Ладно, студент, — сказал дядя Паша. — Проехали. Мультики будут потом. — И хотел добавить еще что-то в этом роде. Но вдруг лицо его испуганно перекосилось. — Нелька, — неуверенно проговорил он, — ты ж вроде померла.

— Померла, дядя Паша, померла, — весело расмеялась акробатка Нелли. — С кем не бывает.

Дядя Паша быстро налил себе водки, выпил, снова налил и снова выпил. Это его, по-видимому, несколько успокоило.

— Не кладбище красит человека, а человек — кладбище, — авторитетно заявил он и, уронив голову на стол, захрапел.

...А меня как насквозь прокололо. Я вздрогнул. И в ту же секунду словно бы невидимые руки распахнули газетный лист, и я увидел жирный заголовок, набранный черным шрифтом:

«ГИБЕЛЬ ТАЛАНТЛИВОЙ АРТИСТКИ!»

Гибель!!

...Акробатка Нелли повернулась ко мне и что-то произнесла. Я ничего не слышал. Уши точно ватой заложило. Тогда она протянула руку. Я в ужасе отшатнулся и прошептал пересохшими губами:

— Вы погибли год назад в городском цирке.

— Что? — спросила она.

— Погибли...

Дядя Паша заворочался во сне и пробормотал:

— Есть такое дело.

— У вас сигаретки не найдется? — сказала акробатка Нелли.

Я протянул ей раскрытую пачку. Она двумя пальчиками вытянула одну, вставила ее в изящный белый мундштук и закурила.

И — странное дело. Эти обычные слова, обычный жест как-то успокаивающие подействовали на меня. Я взял свою недопитую кружку и допил. Потом подцепил вилкой с тарелки кусок мяса и отправил в рот.

Акробатка Нелли сидела безмолвная, стройная, загадочная, в черном платье, небрежно курила...

— Как это случилось? — спросил я.

Она выпустила красивое колечко дыма.

— Очень просто. Сорвалась с трапеции и грохнулась как последняя идиотка. А там лететь верных пять этажей. Представляю, какой у меня был видок в гробу.

— А вот... — Я не знал, что сказать.

— Что?

— А как же вы здесь? — с трудом выговорил я. — Вам, наверное, придется вернуться?

— Естественно, — кивнула она. — Я же мертвая.

Слова были произнесены. И ничего не произошло. Храпел дядя Паша. Стояли пивные кружки на столе. На тарелках лежала закуска.

Мы разговаривали...

— Знаете, что мне больше всего нравится в театре? — говорил я по какой-то непонятной для себя ассоциации. — Когда актеры выходят на поклон. Понимаете, все актеры! И злодеи, и положительные герои, и те, кого по ходу пьесы убили. Все!.. Они берутся за руки, подходят к краю сцены и кланяются. А зрители им аплодируют и дарят цветы... Понимаете?.. Все происходит понарошку. Все живы, здоровы и сейчас пойдут ужинать...

— Вы боитесь, что вам захочется вернуться? — вдруг спросила акробатка Нелли.

— О чём вы... — начал было я, но тут же понял, о чём, и только тихо произнес: — Да.

— Но вы же еще не твердо решили?.. — пытливо заглядывала она мне в глаза.

Я и сам толком не знал, как я решил...

— Вот вы же сумели вернуться, — чуть слышно пробормотал я. — Вы здесь.

Она печально усмехнулась.

— Это только кажется, что я здесь. На самом деле меня здесь нет.

— Ха-ха-ха! — оглушительно захочат проснувшийся дядя Паша. Он махал руками. Утирал набегающие слезы. Наконец, отсмеявшись, сказал: — Да вот тоже вспомнил, как в театрик ходил. Лет двадцать тому назад. Но пьеска была... — он прищелкнул пальцами, — с перчиком! Называлась: «Хорошо быть полковником!». Улавливаете? Под полковником. Ха-ха-ха!

— Улавливаем, — сказал я.

Дядя Паша снова уснул.

— Вы когда-нибудь слышали про станцию «Отчаяние»? — спросила акробатка Нелли.

— Станция «Отчаяние»? — покопался я в своей памяти. — Нет. А где это?

— На станции «Московская».

Я вообще отказывался что-либо понимать.

— Это одно и то же, — терпеливо объяснила акробатка Нелли. — Странно, что вы не знаете. Все, кто устал от жизни, знают это место. Метро «Московская» и есть станция «Отчаяние». Надо просто подойти к самому закрытию и сесть в последний вагон последнего поезда.

— И что? — все еще не доходило до меня.

— И ничего. Окажетесь там.

Я захочат в дяди-Пашиной манере. Громко и раскатисто.

— Это что же получается, — сотрясался я от смеха, — наши славные метростроевцы прорыли тоннель на тот свет?!

— Нет, не прорыли, — серьезно отвечала акробатка Нелли. — Кто едет в другое место — едет в другое место. Но люди, твердо настроенные покончить с собой, когда их много, создают вокруг себя особую ауру... энергетическое поле... Не знаю, как это точно назвать. Короче, кто хочет уехать в смерть — уезжает в смерть. — Она вспомнила о забытом в пальцах мундштuke с дымящейся сигаретой и слегка затянулась. — По-моему, это гораздо приятнее, чем резать себе вены или бросаться с крыши...

Подперев щеки ладонями, я пытался хоть как-то осмыслить ситуацию. Пивной зал плыл в розовом свете. Временами я начинал проваливаться в черную пустоту и слышать только голоса.

Одни голоса.

— Вы читали Набокова, Павел Филиппич? — игриво интересовался голос акробатки Нелли.

— Нет, Нелли Никифоровна, не читал, — галантно отвечал голос дяди Паши. — Читать Набокова — все равно, что спать с мертвой женщиной.

— Я тоже читаю книги!!! — что есть силы кричал я.

И от моего крика проклятая темень опадала вниз и медленно растекалась над полом, словно черный туман. Снова из небытия возникла грязная пивнуха, и таинственная, прекрасная акробатка Нелли смотрела на меня печальными глазами. А я утопал в ее бездонном, влажном взгляде и спешил — спешил! — рассказать:

— Вы знаете, на днях я прочел биографию Айседоры Дункан. Как-то она ехала в открытой машине, с длинным шарфом на шее. Шарф зацепился за колесо и задушил блистательную балерину. С тех пор Айседора Дункан больше нет. И Достоевского нет!.. И Льва Толстого!.. И Наполеона!.. Господи, кого только нет!.. А я есть!!

— И я есть!!! — вопил дядя Паша.

— То, что вы есть, — холодно заметила акробатка Нелли, — ничего не значит. В любой момент с вами может случиться все что угодно.

Она величественно замолкла. Но слова продолжали звонким эхом биться о мощные каменные своды и всасываться в липкую темень по углам. Уже и спиной хребет отказывается держать, как будто его и во все не было... В полном изнеможении я ложился корпусом на стол. Разгоряченной щекой на холодный мрамор.

Я чувствовал ужасную усталость. Смертельную усталость.

— Нелли,— жалко лепетал я,— жизнь раздавила меня своим однообразием. Эти бесконечные повторения кого угодно сведут с ума. Нелли, жизнь — это череда бесконечных повторений!

— Точно! — опускал дядя Паша свою ручищу на мою бедную спину. — Тяжелая штука — жизнь!

И на сей раз его бесцеремонность не раздражала.

— Да! Да! — соглашался я. — Очень тяжелая штука. В особенности если тебе за сорок и ты пошел по второму кругу... — Я замолкал в недоуменном раздумье. — Или по третьему?.. Не соображу... По утрам, впрочем, тоже...

А проклятая пивная нависала всей своей сырой тяжестью, давила и почти раздавливала, пережимая дыхание... Господи, да что же это такое?.. Я судорожно рвал пуговицы, освобождая шею. В смятении выбирался из-за стола и бежал... бежал...

— Желаете покурить? — подхватывал меня под руки дядя Паша. — Эт-то мы с превеликим удовольствием.

И вот мы уже стоим на улице и курим. Холодный ветер остужает разгоряченные щеки и лоб. Ясности, однако, в голове не прибавляется.

Не прибавляется ясности. Пуская мне в лицо едкую струю дыма, акробатка Нелли сердечно внушила:

— Я думаю, что вам надо непременно извиниться перед девушкой. Нехорошо получилось. Согласитесь...

Я соглашаюсь.

Как-то боком, раздражающе, висит черное небо в ярких звездах. С ужасающим, опрокидывающим грохотом проносятся над городом бомбардировщики.

— Воздух! — истошно орет дядя Паша, бросаясь на землю.

— Ну сколько можно... — морщится акробатка Нелли.

— Уж и пошутить нельзя, — недовольно бурчит дядя Паша, вставая с земли и отряхиваясь.

Я два раза всхлипнул и разрыдался.

Акробатка Нелли нежно погладила меня по голове. Провела рукой по глазам и губам. Я жадно целовал ее прохладные пальцы.

— Нелли, я... Нелли... я так одинок... Нелли... мне грустно... Нелли... я убил свою любовь... Нелли... Нелли...

— Ничего, милый, ничего, — похлопала она меня ладонью по щеке. — Все поправимо. — И, оборотясь к дяде Паше, сухо бросила: — Нам пора.

— Не смею задерживать, не смею задерживать, — засуетился дядя Паша. — Благодарю за внимание. Приятно было пообщаться. — Обхватив мои плечи, он троекратно поцеловал меня в губы. Голос его снова был развязен: — Ну, студент, помнишь, как у Пушкина Чехов писал: «На сцене три сестры и дядя Ваня»? Так что: фемина-море аниме. Не поддавайся бабам!.. Понял, студент?

Метро находилось в десяти минутах ходьбы. Еще можно было что-то изменить. Но меня вдруг охватило чувство полнейшего безразличия к собственной судьбе. «А-а», — подумал я обреченно. И все.

Мы спустились по эскалатору вниз. С первого взгляда стало ясно, что за публика здесь собралась. У белой колонны стояла заплаканная девочка. Сидел бледный старик на скамейке. Молодая девушка стре-

мительно шла нам навстречу. Мы посторонились. Она прошла мимо.

Как это ни странно, я был абсолютно спокоен. Я принял решение. Все остальное должно было произойти само собой.

— Знаете, — признался я акробатке Нелли, — а ведь я пишу рассказы.

— Я вас не понимаю, — недоуменно глянула она. — К чему вы это?

— Нет, ну... — растерялся я. — Просто подумалось, что можно было бы сочинить про все это рассказ и назвать его: «Последний поезд метро со станции «Отчаяние».

— Поздно, — ответила акробатка Нелли. — Все кончено.

У самого края платформы стоял водитель трамвая номер 43. Он напряженно всматривался в темный проем тоннеля.

Я подошел к нему.

— Здравствуйте. Вы тоже решили... уехать?

Он даже головы не повернул.

Подул ветер. Спустя минуту подкатил поезд. Двери отворились. Мы вошли в последний вагон.

И двери закрылись.

Ехать оказалось совсем недалеко. В какой-то момент погас свет. Радужное сияние разлилось по лицам и стенам... Затем свет снова загорелся.

Состав замер.

— Поздравляю с благополучным прибытием, — то ли в шутку, то ли всерьез сказала акробатка Нелли.

Мы вышли из метро на улицу. Здесь, судя по всему, стояла глубокая осень. Косо летел мокрый снег. У пе-рекрестка в мегафон кричал милиционер:

— Закончили переход! Закончили! Не видите, что ли, красный горит!

— Вот это да, — сказал я, накидывая на голову кашюшон куртки. — Все, как на том свете.

— Это и есть тот свет, — напомнила мне акробатка Нелли.

— Раз мы здесь, — рассудительно произнес я, — то этот свет автоматически становится для нас тем, а тот — этим.

Акробатка Нелли подняла руку, останавливая такси.

— Не старайтесь казаться умнее, чем вы есть на самом деле, — сказала она.

Мы поехали на вокзал. У билетных касс никого не было. Я взял себе кресло. Поезд отходил через десять минут. Мы прошли на перрон и остановились у вагона.

Снег перестал. Начался дождь.

— Ну ладно, — сказала акробатка Нелли. — В случае чего вы знаете, на кого надеяться.

— На кого? — не понял я.

— На Бога, милый. На кого ж еще.

— Я скоро вернусь, — сказал я.

Она медленно покачала головой.

— Вы никогда не вернетесь. Здесь нельзя вернуться.

Из дверей вагона выглянула проводница. Выкинула на платформу огрызок яблока и снова скрылась. Прешел приурок, толкая впереди себя тележку с пустыми ящиками.

— Сторонись! Сторонись! — гундосил он. — Слушаться надо шоферу. Би-би-би!

Люди, спешащие на поезд, расступались.

— Пока, — сказал я как можно беспечнее. — Я от-

правляюсь в дальний путь, но сердце с вами остается.

Акробатка Нелли ничего не ответила.

А когда я прошел в вагон и посмотрел в окно, ее на перроне уже не было. Я откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Почти неощутимо тронулся поезд.

— Здорово, жопа, — раздался знакомый бас у самого уха.

Я открыл глаза и приподнялся на локтях. Рядом со мной, в соседнем кресле, сидел... дядя Паша. Естественно, абсолютно пьяный.

— Как вы здесь оказались?! — смотрел я с удивлением.

— Очень-це даже просто, студент, — ухмыльнулся он беззубым ртом. — Взял да и помер вчера ночью. А вот как ты сюда попал, молодой, интересный? Говорил же я тебе: не поддавайся бабам!

— А мне плевать! — с вызовом сказал я.

— На что наплевать?

— На все!

— Вот мерзавец! — с восторгом одобрил дядя Паша. — Куда едешь?

— Никуда. Катаюсь.

— Ну дай тогда тысячонку, — безо всякой логической перехода потребовал он. — Отдам.

— Вы сначала сто рублей отдайте.

Дядя Паша уставился мне в лицо оловянным взглядом.

— Да ты че?! — с угрозой в голосе сказал он. — Пашке не веришь, гнида казематная!

— Верю! — ответил я и пошел в другой вагон.

— Господа! — заорал вслед дядя Паша. — Берегите русскую классику!! Привет гвардейцам Ильича!!!

...Городок не представлял из себя ничего особенно-го. Густо дымили заводские трубы. Церквушка прилепилась на бугре. И даже кладбище имелось с могилами.

Каркали вороны.

Автобусная остановка была там же, где и всегда. Подошел старый автобус. Единственная дверь открывалась с помощью механического рычага. За рулем сидел бывший водитель трамвая номер 43.

— Был у Ван Гога, — вместо приветствия радостно сообщил он. — Хвалит мои рисунки. Советует продолжать.

— Поздравляю, — сказал я.

Мы поехали...

Потянулись каменные домики, потом деревянные, потом встал густой лес по обе стороны от дороги. На редких остановках садились старухи с рюкзаками и в кирзовых сапогах; садились, плакали, снова садились... Проехали одну деревушку, вторую, третью, лаяли собаки, бегали куры, и снова лес... лес... лес... Автобус тащился еле-сле... Я сидел на жестком сиденье и томился, чувствуя, как эта черепашья езда выматывает всю душу.

— Гос-с-поди, — иногда вслух выражал я свое недовольство. — Ну что ж мы так медленно едем?

— А куда нам спешить? — беспечно отвечал ученик Ван Гога. — Впереди — Вечность.

Наконец свернули на грунтовую дорогу.

Автобус проехал еще метров пятнадцать и уперся в зеленые ворота с красной звездой. В салон, где я находился в гордом одиночестве, легко заскочил молоденький солдатик со штык-ножом на ремне. Я показал ему свое летное удостоверение, которое носил с собой неизвестно зачем все эти двадцать лет. И вот

пригодилось. Он мельком глянул и махнул кому-то в окно рукой. Ворота медленно поползли вправо. Автобус миновал контрольный пункт и поехал дальше. Опять сплошной стеной встал лес. Потом потянулись домики, вначале деревянные, затем каменные, и, наконец, за окнами явился Дом офицеров — безвкусное сооружение с кривыми колоннами.

Я вылез из автобуса и направился в самый конец гарнизона. Здесь, в деревянном доме, на втором этаже, когда-то жил мой лучший друг Серега.

Жила моя любимая девушка Света.

Жил я...

Сразу за домом, на пригорке, начинался сосновый лес. А дальше, в низине, шумела быстрая река.

Во дворе сушилось белье. Дети маленькие бегали. Я поднялся по скрипучей лестнице на второй этаж и не без волнения постучал в знакомую дверь.

Светлана совсем не удивилась, увидев меня.

— Здравствуй, — сказала она спокойно. — Я думала, ты придешь гораздо позже.

— Так получилось.

Я пропел в квартиру. Обстановка совсем не изменилась. Все прежнее, дешевенькое, купленное по слухаю.

— А ты знаешь, — сказала Света, — Сергей тоже здесь. Он через год после меня разился на Новой Земле.

— Нет, я не знал. Вы живете вместе?

— Года два жили. Потом разошлись.

— Почему?

Она беспомощно пожала плечами.

— Не знаю. Так получилось. А как ты прожил свою жизнь?

— А-а, — махнул я с досадой. — Никак. Из армии меня выгнали. Пшел работать на завод — тоже выгнали. Торговал в киоске газетами. В последнее время занимался сочинением эпиграфий.

— Эпиграфий, — с грустной улыбкой повторила она. — А твои литературные опыты? Удалось что-нибудь напечатать?

— Удалось. Четверостишие в районной газетке:

«Не опечалит никого,
Что Люси больше нет.
Но Люси нет — и оттого
так изменился свет».

— Красиво, — сказала Светлана.

— Это стихи одного английского поэта в переводе Маршака. Когда обман раскрылся, больше, как ты понимаешь, меня печатать не стали.

— А жена?.. Дети?..

— Не было ни жены, ни детей. Вообще ничего не было.

Я встал у окна. Низкие тучи почти цеплялись за острые верхушки сосен. Света тихонько подошла сзади и мягко положила руки на мои плечи.

— Бедный, бедный сочинитель эпиграфий, — ласково произнесла она. — Ты покончил с собой?

— Ну... в общем, да.

Тикали часы на серванте. Разбрызгивая лужи, проехал грузовик по дороге. В кузове, под брезентовым тентом, сидели солдаты.

На душе сделалось как-то муторно, тяжело... Зачем я здесь?.. Зачем я вообще умер?.. Жил бы себе да жил...

— Знаешь, — сказал я, чувствуя всю неестественность собственных слов. — Ты прости, что я тебя

тогда... убил. Сам не знаю, как все получилось. Я ведь никогда не стрелял вслепую, на шорох... А тут...

Я замолчал и принялся нервно массировать пальца глаза. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Совершенно. Вдруг так захотелось каким-нибудь чудесным образом снова оказаться в своей комнате, броситься на продавленный диван, накрыться с головой одеялом и... и еще раз умереть.

— Ой, да что ты! — принялася горячо утешать меня Светлана. — Не мучайся, пожалуйста. Ты совсем не виноват. Если хочешь знать, я сама виновата. Не надо было через кусты лезть.

Она пошла на кухню за чайником.

...Мы пили чай. О чем-то разговаривали... молчали... разговаривали... Я смотрел в окно. Раскачивались деревья под ветром... Я смотрел на девушки, которую безответно любил двадцать лет назад... Она совсем не изменилась. Все такая же молодая, девятнадцатилетняя.

На улице начинало понемногу темнеть.

— Ладно, — сказал я, вставая. — Пойду.

Она проводила меня до автобусной остановки. Сеял противный дождик. Света ежилась, засунув руки в карманы старенького плаща. Вроде бы и говорить было больше не о чем. Мы молча стояли. Один за другим, низко над землей, пронеслись три истребителя.

— Сегодня полеты, — пояснила Светлана.

Наконец подошел все тот же доисторический автобус. Бывший водитель трамвая номер 43 открыл дверь.

— До свидания, — сказал я.

— Здесь не говорят: до свидания, — ответила она, шутливо тронув указательным пальцем кончик моего носа. — Здесь говорят: прощай.

— Прощай, — сказал я.

— Пристегнуть ремни! — жизнерадостно крикнул бывший водитель трамвая 43. — Сейчас взлетаем!

И забрызганный грязью автобус медленно пополз в сторону леса.



У КАМИНА

Разумейте, люди,
что обманчивы идеи
и рекламе вопреки
в политической аптеке
перепутаны наклейки,
этикетки, ярлыки...

У России — свой путь. Вековые вопросы
возвращают на круги своя...
На границе вагоны меняют колеса —
у России не та колея.

Восемь лет его не хоронили,
Закопали тайно в час ночной,
Двадцать лет о нем не говорили,
Прах теперь взорвался над страной.

Сталки умирает неохотно,
Он меняет знак, эпитет, цвет,
Лишь бы пребывать бесповоротно
В наших душах до скончанья лет...

Угрюмые кликуши
у всероссийских луж...
Спасите наши души
от карканья кликуш!

Посулил мне шелковый
путь России
после этой шоковой
терапии...

Неужели молодая воля
задохнется от кровавой злобы?
Вышли коммунисты из подполья,
но не может Ленин встать из гроба!

...И после имперского краха
впитают в сердца и умы
Христос, не оставивший праха,
и Ленин, оставивший прах...

Вырвемся из беспредела и подлости,
а коль не вырвемся — воля Господня!
Санкт-Петербург в Ленинградской области —
вот что такое Россия сегодня.

Посмотрите каково ополчение,
чи нацелены неря-штыки!
Заразительно ожесточение —
кулаки, желваки, клыки.
Депутаты, поэты, ученые,
проповедники, ученики —
ожесточенные, ожесточенные
женщины, дети и старики!

— Москва потеряла Киев,
Москва потеряла Баку...
— Потеряла ли Пермь Полтаву,
потеряла ли Рига Ташкент?
— Но Киев Москву потерял,
но Минск без Москвы — не Минск...
Крым, Карабах...
трак тарарах
тарарам кавардак.

Это путь весьма знакомый.
Не тверди — попутал бес:
от программы до погрома —
поливший курс КПСС...

Правдилобцы с пеной у рта
ненавидят истиину и искито:
сталинисты стали сатанистами,
прикрываясь именем Христа!

Сталини по-кубински, по-корейски
это — Кастро, это — Ким Ир Сен.
Убедятся в этом погорельцы
завтра у обрушившихся стеи.

— Мы освободились из тюрьмы,
из коммунистического плена.
Жаль, однако, что не только мы:
как из клетки, выскочили цепи!

Идейную, кровавую, противную
поклебку ты мне больше не готовь:
я и неизвестность меняю коллективию
на индивидуальную любовь!

Освобождение

Я дверь открыл. Освободил раба.
Но находил другого непременно
То под кроватью, то в шкафу. И стены
Твердят, что не окончится борьба.

Я люк открыл. Обшарил погреба:
Раб за рабом там преклонял колена.
Я вытащил их. И, наконец, из плена
Я вывел мысль. Колпак смахнул со лба.

Я в поле выбежал. Перегородки
Бегут за мной. Перед лицом — решетки,
Закат — как будто ирешь на красный свет...

Но вам-то что? Я тих и дружелюбен.
А на свободе вор, ублюдок, лунпен —
Все, для кого душа запрета нет.

Перестаньте стрелять! Не стреляйте!
Вы правы. И вы. И вы.
Перестаньте стрелять! Не стреляйте,
Вы не правы. И вы. И вы.
Это ваша земля. Не стреляйте!
Перестаньте стрелять! Это ваша земля.
Не стреляйте в моих сыновей,
Не стреляйте в своих сыновей,
По могильным крестам — не стреляйте!
Это наша судьба или ваша судьба,
Это наши и ваши гроба,
Это ваша кровь или наша кровь,
Льется, льется она — не стреляйте!
Это мой порог или ваш. Это дом.
Дверь открыта, и стол накрыт,
Посидим помолчим.
Не минута молчания —
Нужна тишина.

Калипсо

Целовал ее Байрон,
утверждала молва,
и за это любил ее Пушкин

(было ему двадцать два,
а ей едва восемнадцать).

Ах, какой получился славный коктейль
из балканского Кишинева,
где не принимали за чужестранцев
ни горячую гречанку,
ни русского африканца.

Ах, какая была весна,
как легко писал молодой поэт
для этой осматрой смуглой гибкой Калипсо!

Где это все?

В монастыре Нямц
черена моиахов на стеллажах,
совершенно похожие, как и положено,
кроме более современных,
чтобы портреты написаны маслом по темеи —
преподобные лица
иад челом с пустыми глазницами.
Отдельно в стеклянной витрине
бурый череп с венком из букв:
ГРЕЧАНКА ДЕВА КАЛИПСО,
рядом записка предсмертная:
ГОСПОДИ, ВЕРИО, ТВОЕ МИЛОСЕРДИЕ
БЕЗГРАНИЧЕЙ МОИХ ПРЕГРЕШЕНИЙ!

Никто не знает,
почему однажды ночью осенней
она под видом послушника
постучалась в мужской монастырь.

А Пушкин —
он в кишиневском парке
взрослый, серьезный,
голова на колонне
вся из камня...

Какая-то странная речка:
текла себе долго, текла —
до моря, до цели конечной
шагов двадцати ие дошла.
Не с иами ли так происходит?
От финница — на волосок,
и вдруг ничего не выходит,
удача уходит в песок...
но это не поражение —
ныряние под рубежи,
изримое продолжение,
посмертное — как у души.
Угодны судьбе своюльной
не те, так эти пути,
и можно подземно, подпольно
до синего моря дойти.

Москва





Рубрику ведет Юрий БЕЛИКОВ

...А знаешь, старина, все-таки в чем отличие вас, москвичей, и нас, провинциалов? Только без обиды: когда я приезжаю в белокаменную и первым делом звоню тебе, я слышу... Нет, я не слышу: «Где ты остановился?» Ты говоришь: «Давай завтра пересечемся». И мы пересекаемся где-нибудь на Пушкинской или в ЦДЛ и пьем в складчину. А если я вдруг оказываюсь зван к тебе в гости и прихожу с пустыми руками, лицо твое являет нарушение этикета... Но вот ты прибываешь в мое захолустье и видишь дружеский кулак: «Никаких гостиниц!» — и я веду тебя в дом, где стол, на который — по русскому обычаяу — выставляется все, что в доме есть. Ты тянешься к своей яркой сумке на «молниях» и вынимаешь припасенное *нечто*, и лицо мое тоже являет нарушение устоев...

(Из писем московскому другу)

*Колобродит пространство
всю ночь напролет.
Залегла тишина в беспробудной деревне.
Мир — впомьмах.*

*Это значит — сейчас запоет
Самый первый петух, понимающий время.*

*Вот он — ухо востро.
Не зевать, не клевать!
И у заспанных кур не искать ободренья...
Всем — пока еще ночь.
Всем на все наплевать.
Самый старый петух
понимает, что время.*

*Вот он веки открыл,
трепыхнул головой...
Он считает мгновенья,
а кажется сонным.
Он начнет, а другие подхватят гурьбой —
Голосистым подспорьем
к призыву о солнце.*

*Так не будем ворчать!
Пусть горланит свое.
Краем уха послушай, в дремоте добрая,
А потом досыпай. Нынче ночь.
Но поет
Одинокий петух, понимающий время.
Александр ВОЛОГ*



Фото Виктора Чувызгалова

Дмитрий РИЗОВ

РЕБРА РОССИИ

ЗАПИСКИ ИЗ ФУТЛЯРА ДЛЯ ОЧКОВ



Фото Анатолия Зернина

Это не отрывки из дневника, не собрание миниатюр и не афоризмы. Написанное принадлежит жанру, до сих пор не получившему литературоведческого определения. Тут своего рода «проговор» вслух того, что тревожит глубины души, решившей свой невольный «проговор» зафиксировать в слове. Попытки работать в таком жанре делались еще П. А. Вяземским. Но полная удача выпала на долю В. В. Розанова, на его «Уединенное», «Опавшие листья». Подхватить начатое на заданной высоте мог бы М. М. Пришвин, но к этому времени пора искренности в российской словесности закончилась, и Пришвин значительной частью своего творчества ушел в дневниково подполье. Автор «Записок из футляра для очков» — человек из глубокой провинции. Дмитрий Ризов из тех «незнаменитых интеллигентов» Бугуруслана, которые, несмотря на выломанные ребра, что-то да складывали в футляры для очков. Кроме того, «Записки» имеют конкретную временную привязку — излет века-подранка, завершающего второе тысячелетие от Рождества Христова. Так что на этих «проговорах» лежат одновременно два отпечатка — принадлежность к провинции и границам времени, в чьих раскаленных тисках бьется живая душа.

...Мне скоро 48, а я еще помню ощущения блаженства, когда летом после дневной беготни, вечером, уже в темноте, мама наливалась в эмалированный таз воды из ведра, ставила таз на деревянную платформу крылечка, ведущего во двор, я опускал в воду ноги, становился в тазу, сжась, поднимал то одну, то другую ногу, держась за плечо мамы, опустившейся у таза на корточки. Она мыла мне ноги, приятно щекоча пальцами рук мои ступни, а потом накидывала на вымытую ногу тряпичку и вытирала досуха... Когда сухи были обе ноги, я галопом мчался по чистому крашеному полу в кровать... И светлые же сны мне снились тогда!

С тех пор, как я уехал (какая глупость была сотворена!) из Бугуруслана от мамы, никто больше не ходит по утрам на цыпочках, пока я сплю...

Сном человек вживается «в место»... Родина потому и вызывает такую привязанность у человека, что здесь он немало пострадал, начиная со сладких детских снов.

Трудно нам в провинции, незаметным интеллигентам, выжить. А между тем народная душа во всей громаде своей поднимается ввысь не знаменитыми единицами, а именно «незнаменитыми», но во множестве, которые и гибнут-то первыми. В периоды их массовой гибели (как при большевизме) все ниже и ниже опадает народная душа, как грудь с выломанными ребрами...

За последние десятилетия у нас в стране удалось вывести особую «расу» хмурых людей... В ней и белые, и желтые,

и круглоглазые, и раскосые, и черноголовые, и русые, говорящие по-русски чисто и с акцентом, носящие брюки и юбки, сътно вкушающие и недоедающие... Но все они вместе — хмурые люди. Россия... Мать ударишь — ребенок во чреве ее заплачет. А ты спрашиваешь: почему россияне — хмурые люди?

Является ли «взлетом» страны, когда ее за волосы, вырывают их с окровавленными корнями, тянут куда-то вверх; и есть ли «падение» ее, когда она, измученная от насилий, падает на мокрый холодный пол? Для взлетов и падений нужна свобода!.. Страна не должна быть синичкой, скваченной кошкой.

«Данная» свобода не может быть прочной, да и нужной... Свободу, которая по милости, и использовать-то по назначению невозможно, ибо она — подачка ищему духом, кость собаке (а надолго ли собаке кость?). Незавоеванная свобода — не свобода. Даже если она дана тебе «за так» — откажись от нее и завоюй ее... Сначала внутри себя ее завоюй, а потом — вне себя. Ибо если внешняя свобода не согласована с внутренней — они разрушают друг друга.

Удача в России (если ты не вор) слишком тяжелая штука, слишком дорого дается человеку, настолько дорого, что то, что зовем мы удачей, уже не соответствует смыслу этого слова.

Если человек получает сполна за свой труд — это уже его удача...

Весь нынешний век нас принуждали хоть что-нибудь, да «отрывать от сердца». И наконец приучили: отрывать от сердца стало нашим бытом, содержанием повседневной реальности. И вот нам ничего не жаль уже. И чем дальше, тем больше ничего не жаль...

К концу тысячелетия в России временно пропитала все. Даже кладбища. Прошло лет пятьдесят, глядя — и кладбища нет, на его месте — сквер или торчат коробки домов.

Вот почему для «нетленной», «вечной» памяти особо ценных людей системы были устроены особо лимитированные «нетленные» кладбища. Одно из них (самое главное) — прямо в стенах и под стеной кремлевской. Посадили вдоль этого «вечного кладбища» ели как символ траура, поскольку у нас на севере кипарисы не растут. И начались курьезы... Провинциальные баре эти кладбищенские символы ввели в моду, не понимая их символического смысла: понесажали ели у стен своих комитетов — этих действительных кладбищ живых человеческих упоманий, устремлений, надежд...

Скажите, а вы заведуете и «тем светом» тоже? Нет? А я думал, что тоже: так строго выступаете...

Вторые, трети лица государства лежат на бархате, кормят с золотой тарелочки хрустальными ложечками маразмы первого лица, которое не что иное, как крепость из собственного существования... Их задача — найти ма-а-хонький маразмик у первого лица и выкормить его до размеров мамонта...

Несчастье человека в том, что его сумела подмять под себя организация. Вся порча и человека, и земли, на которой существуем, — от организации. Сам по себе человек в окружении своей семьи, близких — одушевленная часть созданной Богом природы: он бы и дальше мог жить в природе естественной частью ее, но организация... Она разрушает природу человека, превращая его в свою функцию...

Мой порок: я говорю искренние слова, но в глубине души не верю в осуществление смысла, заложенного в них. Невс-
рие — тихая драма моей жизни... Иногда мелькнет тень
веры, но каждый пустяк колеблет ее, любой сквознячок
раздувает, как клок тумана...

Я бы хотел просто жить. Но просто не получается. Никак
не оторвешься от смысла, а где имеется смысл, там нет
простоты.

«Уединение — роскошь богачей», — записал как-то
Камю, очень близкое к тому, на что указывал Достоевский.

Я всегда стремился к этому, стало быть, жил не по
средствам, если верить Камю, потому что всегда был, в сущ-
ности, беден... Вот и В. В. Розанов, написавший «Уединен-
ное», умер голодая, в уединении... Но не от уединения умер,
а от революции. До нее он тоже жил во внутреннем уедине-
нии, не будучи богатым, но ведь жил!

Нет, уединение не роскошь богачей, а потребность челов-
ека, имеющего мысли...

Жить в высоких сферах мысли... Нет! Это нам не по
силам. А что по силам? Жить, лишь иногда поднимаясь туда
с первом и клочком бумаги в руках, спеша хоть что-нибудь
оттуда закрепить и побыстрее назад.

...Все это схоже с трудом ловцов жемчуга: нырок, затаив
дыхание, на глубину — и побыстрее назад, пока не задохнулся,
со случайной добычей у пояса... Я сегодня мысль пытался
прояснить; она мелькнула почти неощутимая, неоформлен-
ная в слова.

Сначала я подумал о том, как мучительна добыча знаний
у нас, сколько лет усилий и без того скучных средств тратится
человеком на их приобретение. И вместе с ними тратится
сама жизнь вплоть до того порога, за которым сам процесс
приобретения знаний теряет радость; их наращивание и углу-
бление становятся тяжелым, безрадостным трудом, трудом
ради труда, трудом ломовой привычки, за который и торбу
овса не привязывают «к морде» — наоборот, отвязывают,
ибо за знания надо еще и платить.

В малые лета мои в Бугуруслане в шкафу стоял томик
стихотворений Пастернака, оставшийся после дядьки, фрон-
тowego журналиста, погибшего в Австрии. Читал я стихи из
этого томика юношей и еще раньше — мальчишкой; за
образами в них ощущалось присутствие того мира знаний,
мира могучей культуры, к которой я сам потомшел всю
жизнь через труд и упорство и так и не дошел... И не дойду
уже теперь. Та пастернаковская культура была легкая, на-
следственная, впитанная поэтом еще в младенческие годы из
среды, окружавшей его... А мои приобретения мазутны,
мозолисты, чугунно тяжелы...

Неужели дети России так и будут обречены впредь на
десятикратный безрадостный труд «на ниве культуры и про-
свещения»? Неужели и через 100 лет культура и просвещение
не будут естественной (легкой) средой их духовного обита-
ния? Неужели и их таланты тоже будут растрачиваться на
приобретение крупиц того, что должно даваться само собою,
весело, легко и даром?

«Господи, помоги рабу твоему Петру».

XI—XII вв.

«О святой Петр, прости и отпусти все, что тебе согрешил,
рабу твоему Михаилу. Аминь».

XII в.

«Пироги в печи, грильба в корабле... Перепелка пárит
в дубраве. Поставили кашу, поставили пироги, туда иди».

XII в.

«И реку: «О, душа моя! Почему нежишишься, почему не
восстанешь, почему не молишишься Господу своему. Почему
добра жаждешь, сама добро не творя».

XII в.

Все это открылось выцарапанным в древнем слое штука-
турки Новгородского Софийского собора, когда со стен сня-
ли слои штукатурки последующих веков. Это ведь тоже

«заборные надписи». На Руси всегда грамотеи любили в об-
щественных местах на стенах оставлять следы своего присут-
ствия; почитайте надписи современные: какое убожество!!
Духовное оскотинивание произошло с человеком, пишущим на
заборах и стенах в нашем Отечестве. Среди древнерусских
процарапанных на штукатурке рисунков: конь, епископ в ми-
тре, церковные здания, рыба, человечек... Нет и намека на
то графическую заборную похабщину, что омерзением бьет
по глазам с нынешних «расписных» стен.

Высоту человеческого духа нужно измерять все-таки не
по высшим отметкам эпохи (вернее, не только по высшим),
но и по низшим... Тут все виднее, все как на ладони.

Счастье моего поколения, что выпали на станичину
детство и начало юности, когда жизнь человеческая не отяго-
щена еще свинцовой тяжестью знаний, когда хорошо не от
того, что жизнь вокруг хороша, а от того, что кровь горяча
и молода, и все-все вновь вокруг...

Какая может быть тяжесть, если девушка ждет свидания
с тобой и скамья, на которой сидеть будешь с ней, вдвинута
в кусты сирени; когда судак жор начинает, бьет поверхность
воды, гоняясь за уклейкой в мельничном шуме; когда красота
земных пейзажей и все-все живое, что есть в них, познается
впервые и каждая новая встреча с уже познанным предпола-
гает новую, уже предвкушаемую, радость... Красота все
уточняется, углубляется, набирает дополнительные оттен-
ки... Только потом проступает социальная тяжесть жизни,
как пятно воинчего мазута на щелке...

Как же не потускнеть России, сколько горя через нее
прошло! О, только бы не довели ее до черноты! Невыноси-
мо: от Белой Руси до Черной...

Белая Россия ассоциируется у меня с исключительно бе-
лыми березами у «Очков» (кругленьких озерц цепочкой) за
«Третей мельницей». Нигде никогда ничего подобного
я больше не встречал, хотя повидал потом миллионы берез:
столь густо и толсто легло на коре их то, что составляет
березовую белизну. Веточками этих берез на темном можно
было писать, как белыми карандашами...

Приезжая, всегда спешил сюда... Целы березы, не сруби-
ли? Слава Богу, значит, и Белая Русь разрастется опять. Есть
откуда разрастаться...

Боже мой, существо уходит в слово... Это и есть смерть.
А Библия утверждает: о слове в начале всего, слове, равно-
великом Богу... Все перевернулось с тех пор... Слово стало
тайным соглядатаем смерти среди жизни... Лживый имитатор
жизни, рядящийся под нее, когда самой ее уже нет.

Вот и стала жизнь человека материалом для словесной
илиллюстрации в рассказе некоего сплетника. И все! И весь
он тут, человек: жил, жил — и этим кончился... Не будем же
оставлять себя сплетникам, расскажем о себе сами...

Все меньше событий, вызывающих во мне ассоциации,
образующие вместе с самими событиями некий смысловой
аккорд, который, прозвучав, требует быть зафиксированным
на бумаге. Это значит, что то направление жизни, в котором
я двигаюсь, исчерпывает себя, что надо менять хотя бы галс,
а может, и азимут...

Одни говорят: разумность общества, нравственная гармо-
ния в человеке — это все в будущем, путь ко всему этому
лежит через историю, где последовательно одно сменяется
другим и ни через что — не перепрыгнуть.

Но есть еще вневременной путь к тому же самому —
через Бога. Не историческое движение к совершенственному буду-
щему (это дело общества как целого), а совершающееся вот
сейчас движение к Богу несет человеку счастье. Или хотя бы
мыслимую возможность его.

Два пути. Мы запутались на первом.

Бог перепоручил жизни поддерживать самое себя в по-
вседневности... Ну а мы взяли да и принялись все обобщать,
то есть вторгаться в пределы Бога, при этом отодвигаясь
мало-мало от жизни и ее подробностей, в которых она
только и творится повседневно...

Мы идем от поэзии счастья к химии счастья, отсюда
наркомания и тому подобное...

Когда природа «пропитывает» человека, это хорошо; когда наоборот — плохо; всем, и природе, и человеку... Слишком много человеческого в мире — сигнал о приближающейся его гибели, а не о вступлении в период ноосферы, как мечталось Вернадскому.

Потеряна острая восприятия течения времени, свойственная христианам, особенно первых веков существования христианства.

«И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места».

«И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали...»

Ныне в ответ: «Ну что же... — минуют, так перелетим на другую планету».

О чудесах Бога на земле. В Библии обратил внимание: у Него никогда не бывало вневременных чудес, иначе бы тогда была бы уничтожена в процессе их явления сама жизнь. В Библии Бог однажды (по просьбе) остановил солнце, но никогда — время, вплоть до грядущего Суда. В этом и проявляется Его любовь к жизни как таковой. Через текучее время, дав ему возможность беспрепятственно течь, Он жизнь любит.

...Но ведь крест — не сущность Христа, сущность его в совсем ином (иначе бы Петр превзошел его: распяли Петра на Ватиканском холме вниз головой...). Крест — одно из доказательств серьезности того, что Христос в мир принес.

А Его на веки вечные запечатлели распятым; носят распятия на груди, украшают ими купола храмов, подчеркнув тем самым не событие воскресения, не заветы Его, а орудие пыток, примененных к Нему, миг смерти Его. Здесь что-то не то. Слишком сильный порыв к смерти, в то время как Христос не со смертью, а с вечной жизнью пришел к нам...

К счастью, этот взгляд на крест не единственный. На кресте Христос освободился от смертной части Себя, весь целиком перейдя в свою Божественную сущность, и без того огромную в Нем в земной Его жизни. Страдания Его на Голгофе, я думаю, были не жгучее страданий разбойников, умиравших рядом с Ним на соседних крестах, но куда значительнее по последствиям для целого мира. Ибо Он шел на крест добровольно, знал, куда идет и чего добивается. Не случайно мудрецы-христиане взяли на себя не крест разбойников, а крест Учителя, возложив его на слабую человеческую свою сущность, дабы выsvободить из-под нее Божественную, распятое не подлежащую, тем самым укрепляя себя.

Крест свидетельствует: в христианстве идет борьба за расширение бессмертной части его личности и изживание другой части, сугубо человеческой, которая-то и изнемогает под бременем наложенного на него креста...

В человеке, возложившем на себя крест с готовностью изжить временное в себе, тоже есть Божья искра. Она в любом! Но человек, не возложивший на себя крест, не борется со временем в себе, не осознает его противостояние бессмертному в человеке же. Поэтому временное и точит в нем вечное, и «горе ему»...

История моей собственной смерти еще впереди. Я не знаю пока, с чем встречу ее, как подготовлюсь к ней. Поэтому я и не могу поставить точку в своих заметках, которые я делаю, извлекая клочки бумаги из футляра для очков, где их ношу с собой вместе с очками. Быть может, кто-то другой, кто будет знать конец мой, поставит точку в этих записях. Но лишь точку, большего я ему не позволю.

А сам я... Я ищу хоть что-нибудь, что создало бы хотя бы иллюзию оконченности этого моего сбивчивого рассказа.

Не Бог тебя, человек, вытягивает к себе в итоге твоей жизни, как рыболов подуста из переката на Мочегае, а ты сам возносишься к Нему силой веры своей, подвигом самоусовершенствования, пристрастием к чистоте душевной — хоть бы как цели, до конца недостижимой в итоге.

А тех, в ком веры не хватило, Бог, возможно, и в расчете не имеет... Эти слабые существа мелькают перед Ним, Вечным, как искры над костром жизни, лишь на мгновение вспыхивая и потухая, освобождая место для вздымаемых им на смену мириадам других искр.

**АВТОМОБИЛИСТЫ —
БЕРЕГИТЕ РЕЗИНУ!**
Предлагается устройство
для контроля и
регулировки
схода-развала колес
автомобилей
ВАЗ, Волга, Москвич, ЗАЗ
Доступно любителям
Оптовым покупателям
существенные скидки

**Слуховые аппараты
заушного типа**
фирмы "ОТИКОН"
(Дания)
Высокая эффективность,
коррекция слуха,
надежность
Гарантийное
обслуживание
Оптом и в розницу

Уникальные светящиеся в
темноте изделия, краски,
композиции, материалы,
изготовленные с помощью
экологически безопасных
люминофоров длительного
свечения, предлагает
фирма
"ЛЮМИН"
Возможно использование в
быту

Худейте на здоровье!
Предлагается
американский продукт
диетического питания,
способствующий
выведению шлаков,
снижению холестерина,
омоложению кожи

**Контактные телефоны
по всем рекламам:**
(095) 251-27-29,
453-47-25

Михаил Парковский



Фото Леонида Шимановика

ПЕТРОВИЧ

Семь кубов кедрового полубруса, новую лодку «Крым», два мотора, бензопилу с насадками и электрорубанок — все продал Петрович, в дым разругавшись с бабой и решив навсегда уехать из Бахты домой на родину под Макарьев. Неделю перед отъездом он пил и поил всю деревню.

В Красноярске, ожидая самолета, он прогуливался по жаре, вытирая пот со лба рукавом старого коричневого пиджака, качая головой и прикладываясь к бутылке подкисшего пива, — рослый, худощавый, с незагорелым нутром морщинок на прямом красивом лице.

Не только в бабе заключалось дело. То ли возраст — Петровичу было под пятьдесят, — то ли еще что-то, но последнее время он все чаще чувствовал разлад с жизнью. В Бахту Петрович пришел с экспедицией, где считался лучшим трактористом и механиком. Уволившись и оставшись в поселке, он первое время продолжал работать трактористом, потом женился, построил дом, завел скотину. После долгих лет жизни в балках и езды по профилям на серой «сотке» Петрович наконец расслабился, с трактора перебрался в школьную кочегарку, поставил там наждак, натащил инструментов. В кочегарке было тепло и спокойно, можно было что-нибудь делать для дома. Заходили мужики, кто поточить цепь, кто запаять канистру, кто похмелиться — за печкой доходила фляга браги. Что говорить — сильно было в Петровиче мужицкое общественное начало, из-за которого он и с первой женой развелся.

Рассказы

В кочегарке все время кто-нибудь сидел, к вечеру собиралась компания. Опрятность и основательность Петровича, его осанка, открытый лоб — все это не могло не впечатлять уважения. Еще очень развито было в нем чувство деревенской справедливости. Как-то раз один пьяный дурень уехал без спросу на Петровичеву лодку в Ворогово, доставил Петровичу кучу неприятностей, вернулся через неделю, со страху перед расплатой проехал Бахту и остановился в версте ниже, на Ляминой корге, где его и застукали продолжавшим веселье с двумя самыми запойными остыками. Повис вопрос, что с ним делать. Петрович сказал: «Соберем сход — пусть просит прощения и ставит нам ящик». И хоть было ясно, что ни схода, ни ящика не будет, — все это звучало сильно и напоминало о временах, когда такое было возможным.

В экспедиции Петровича тоже уважали. Держался он на особняком, ни с кем особенно не братался и умел отличаться от бичей, не обижая их. На гулянках он никогда не бузил и не ныл, а если чувствовал, что готов, просто шел спать. Славное было времечко: свежезамерзшая болотина, друг Колян-Никарагуа на тягаче с надувом, головная сотка на широких полуболотных гусеницах и лихой Петрович вечно мокрой от снега кабине, в распахнутой фуфайке и шахтерских гидроунтах из толстой пористой резины.

Петрович все больше времени проводил в кочегарке с друзьями. Баба-трудяга, с которой общий детей у них не было, ворчала, замученная хозяйством. Добавляли ей забот и подрастающие дочери от прежнего мужа. Престиж Петровича в ее глазах падал. Она хорошо помнила, каким он был молодцом, когда только что приехал.

Иногда, чаще по делу, в кочегарку заходили охотники. Равнодушный к охоте Петрович их уважал, они нравились ему своей вечной озабоченностью, вниманием друг к другу. Он даже тянулся к ним, но всегда чувствовал, что это возможно до какого-то предела, что у них есть что-то слишком свое. К тому же Петровичу казалось, будто они в глубине души не прощали ему его экспедиционного прошлого, и любые их жалобы на экспедицию, гробящую тайгу, он воспринимал на свой счет. Охотники все время рассказывали что-нибудь новое, приезжая со своих участков, и Петрович, давно израсходовавший запас историй из прошлой жизни, молчал и кивал, вступая в разговор лишь когда надо было объяснять, на каком профиле стоит балок или где лежат брошенные бочки с горючим. Разговоры с охотниками выбивали его из колеи. Главным козырем Петровича всегда была работа, последнее же время стало так выходить, что он сам все меньше работает, а все больше пьет и рассуждает. Единственное, чем он занимался исправно, была рыбалка, и то потому, что рыба менялась у пароходских на водку. Баба все больше ворчала. Петрович несколько раз уходил из дома, жил в бане у Павлика, своего друга. Павликова жена, добрейший человек, терпела, но тоже до поры. Петрович переживал, гулял по этому поводу еще сильней, а на все уверения отвечал прибауткой, в приличном виде звучавшей как «Рожденный пить любить не может». Была в этом своя правда: не ладилась у Петровича семейная жизнь.

То, что где-то там далеко была родина Петровича, и грело его, и, наоборот, раздваивало. Может, ему давно надо быть там, с братом, которого так давно не видел, с дочерью? Брат, как положено в таких случаях, намекал в письме, что в Рязановке нужны трактористы. Петрович только раз обмолвился об этом, а на следующий день уже пришел Васька-Поршень и, с неловкой улыбкой потоптавшись в дверях, сказал:

— Петрович, эта... Продай лодку.

Петровичу показалось, будто его хоронят заживо. «Да и хрен на вас», — решил он и объявил, что уезжает. На совет Павлика одуматься отвечал: «Павлик, не надо». Сказал — как отрезал. Тут и понеслось все. И, хотя Петрович, уезжая из Бахты, в глубине души понимал, что лучшей жизни у него уже не будет, он мужественно терпел последствия своего решения, веря, что нигде не пропадет, потому что есть в жизни у него самое главное: он мужик — человек, который все умеет и ничего не боится.

Он прилетел в Москву, прямо из аэропорта приехал в Бирюлево-товарное к сестре, пожил у нее два дня, купил плацкартный билет, дал брату телеграмму и вечером сел в поезд. Рядом с ним немедленно оказался паренек с бутылочкой. Звали его Серегой. У Сереги было круглое красное лицо и шрам на щеке. Он схал к матери в Брантовку, а сам работал шофером в Москве. Петрович спросил его, почему он уехал в город, тот не мог ответить ничего вразумительного, ульбаясь и плел историю про приятеля из общежития, которую Петрович не слушал. Все молодые парни из Сергиной деревни разъехались, зато понаехали молдаване, которые за них валили лес и вагонами отправляли в Молдавию. Петрович многое повидал, но это в голове его не укладывалось. Парень все нагружался, ходил курить, нес околесицу, обнимал Петровича со словами: «Трович, мы с тобой одной крови», — и была в нем какая-то порча и истерика. В вагоне ехала

жуткого вида девка, черная, в черной майке и почти без юбки, с огромными, как выразился Серега, «дойками», висящими на разном уровне, и в наушниках с кассеткой на поясе. Всякий раз, когда она проходила, Серега впивался в нее мутным взглядом и ухмылялся. Потом, когда она скрылась в уборной, начал рваться к ней, а получив отпор, вышел в тамбур, где курил Петрович, и со всего размаху звезданул кулаком по стеклу двери. Стекло не разбилось. Петрович, которому все это порядком надоело, тряхнул Серегу так, что у того щелкнули зубы, и отправил спать. А сам открыл дверь и сел около нее на корточки. Мимо неслась ночь. Пахло влагой и покосом. С неистовой силой стрекотали кузнечики, казалось, поезд мчится по сплошному стрекочущему тоннелю. Петрович выкурил две сигареты, успокоился и ушел спать.

Свободных тракторов в Рязановке не оказалось, была рухлядь, которую Петровичу предложили отремонтировать к весне. Петрович на всякий случай согласился, а пока стал помогать брату и присматриваться. Он помог перекрыть баню, где и поселился, сложил соседу печку, прослыл в округе печником, все шло хорошо, правда, невестка, Людмила, смотрела на него косо, хоть Петрович и пил в меру. За осень и часть зимы он отремонтировал трактор, между делом съездил на могилу к матери и навестил дочь в Костроме, живущую с бывшей женой и отчимом, подарил ей новый телевизор. Вернулся к брату, перебрался в дом: в бане стало холодновато. Начались сцены с Людой. Случайно он услышал, как она жаловалась соседке на жизнь, и так, мол, трудно, а тут еще бичара этот. Такого Петрович не мог вынести, потому что кем-кем, а бичарой он никогда не был. Досадно было и то, что слову этому он сам ее и научил, на свою голову. Люда нудила: «Спаиваешь мне Алексея». Брату было неловко, Петровичу вовсе тошно. Чувствуя, что разлад с жизнью продолжается, он поехал к сестре в Москву, обещав директору вернуться к посевной. Сестра определила его по знакомству достраивать чью-то дачу. Строители были какими-то научными работниками, стройка служила им приработком. Один из них, тощий, Сева, видимо, поздно ложился и вечно хотел спать. На работу он опаздывал, поздня бродил, как снуль налим, курил и правил инструмент на бруске. Другой, толстый, Костя, постоянно хотел есть. Поработав некоторое время, он спохватывался: «Так. Ну что? Я пошел обед готовить». Обычно это случалось как раз, когда Сева начинал приходить в чувство. После еды Костя следил, чтобы была вымыта посуда, и по пять раз намекал сладко курящему Севе: «А мы с Петровичем свои тарелки помыли». «Давно сам помыл бы, разговору-то об одной чашке», — недоумевал Петрович и дальше мыл за всех. И хотя в общем это были сносные ребята, он все чаще повторял про себя: «Эх, Пашки со мной нет».

Петрович тогда только что приехал на экспедиционном катере из Верхнеимбатска и сидел на угore на лавочке. Неподалеку молодой мужик громким густым голосом рассказывал двум приятелям о концерте в клубе. Упоминались баян, рубаха с петухами и песня «Усидишь ли дома в восемнадцать лет», вместо которой были спеты куплеты про какого-то деда Трофима. Приятели хохотали. Он закончил рассказ словами: «Вот такая рубрика вышла», — и, проходя мимо Петровича, сказал: «А ты что сидишь? Пойдем с нами обедать». У Павлика были голубые глаза навыкате, темные

длинные брови, кольцо волос на затылке. После бани он походил на селезня в весеннем пере. В детстве ему на лицо наступил конь и на всю жизнь сплющил нос, поэтому звали его Пашкой-Саксоном. Утка, известно, бывает разная: острохвост, черныш, иванок, дресвяник, а есть саксон, или широконоска.

Павлик обладал исключительным даром гостеприимства. Приглашал он к себе так убедительно и так выкатывал глаза, что отказываться не приходилось. «Мужики, пойдем ко мне. Кто? Ирина? О-о-о... Сядь — «неудобно», че попало собирать. Старуха у меня золото». Или: «Завтра у Ирины день рождения. О-о-о, что ты, парень, — настоящие сибирские шаньги. Петрович, я крупно обижусь...» Павлик был душой деревни, не любить его было нельзя. Летом он ездил на голубой «Оби», зимой — на желтом «Буране» с фароискателем и нарисованным на капоте волком из мультфильма. Работал он бакенщиком. Павлик посадил Петровича на теплоход, и Петрович хорошо помнил эту последнюю ночь, проведенную с Ириной и Павликом. Дети спали. Маленькая лампочка от батареи «бакен» освещала беленые стены. Павлик с Ириной тихие сидели на лавке, на табуретке стояла гармошка.

— Ирина, достань-ка нам что-нибудь.

Ирина достала из буфета бутылку водки, три стопки, слазила за рыбой. Павлик налил, сказал:

— Так-так... Попрешь, значит. Ладно, давай. Чтоб все, как говорится...

Посидели, Павлик взял гармошку, спел «Надену валенки, снежком побелены», еще что-то. Выпили, добавили, потом Павлик подсел к Петровичу, обнял его и сказал:

— Не могу, Петрович, — привык я к тебе.

К весне Петрович, как обещал, вернулся в Рязановку. Людмила с ним почти не разговаривала. Он отработал посевную, получив за нее шестьдесят семь рублей пятьдесят копеек. Ровно столько стоит долететь от Москвы до Красноярска. Остальное Петрович занял в Бирюлеве у сестры.

Теплоход мягко шел по Енисею. Ночь была светлой, палубы — влажными и пустыми. Впереди на носу неподвижно стоял Петрович в трепещущем от ветра пиджаке. Волнистый силуэт берега, свежий ночной воздух, чисто протертное стекло неба с бархаткой облака на пылающем северсе — все, казалось, переплавлялось в этот упругий ветер, пахнущий молодой талиновой листвой и цветущей черемухой. Петрович стоял на носу, прямой, худощавый, и глядел на приближающуюся Бахту. Ветер трепал волосы на лысеющей голове. «Хрен с ними, с северными, — думал Петрович, — а к бабе не вернусь, поживу у Павлика, потом дом срублю». Петрович вздрогнул от гудка. Теплоход делал оборот напротив спящей деревни. Вокруг него сужала круги голубая «Обь» с битым стеклом. Петрович подал сумку с пивом, потом сошел сам. Когда вытащили лодку на берег, он глубоко вздохнул, покачал головой и, доставая бутылку, сказал:

— Ну погулял... На, Паша, открай.

КРЫШЕЧКА

Ничто так не изматывает, как сборы на охоту. Казалось бы, все уже приготовлено, собрано, увязано, громоздятся в сенях мешки и ящики, и вдруг выясняется, что нет какой-нибудь пробочки от бензобака, и тогда начинается...

— Тук-тук.

— Да-да!

— Здравствуй, Галь.

— Здравствуй, Андрей.

— Как дела?

— Помаленьку.

— Мужик где?

— В мастерской.

— Тук-тук.

— Да-да!

— Здорово, Петрух.

— Здорово, Андрюх.

— Как дела?

— Помаленьку.

— Так-так.

— А что хотел?

— Да вот в тайгу собираюсь — крышечку ишу.

— От бачка?

— От бачка.

— Была у меня крышечка, да Вовке отдал: он в тайгу собирается.

Проходишь по раскиншней деревне полдня, так и не найдя крышечку, устанешь как пес, а по дороге к дому встретишь какого-нибудь Генку-пилорамщика с трехлитровой банкой, который скажет тебе, положив беспалую ладонь на плечо:

— Плюнь ты, Андрюха, на эту крышку. Дерни-ка лучше браженции.

Дернешь браженции — и сразу оживет и зашевелится плоский серый Енисей с торопливой самоходкой, солнце поведет золотым лучом из-под тучи, осветив высокий яр с пожелтевшей тайгой. И сама собой придет в голову мысль: «Возьму-ка я лучше бутылочку да зайду к Толянью».

— Молодец, что зашел, — обрадуется Толян, — а то эти сборы уже в печенках сидят. Обожди — рыбы принесу.

Посидишь с Толяном, закусишь малосольной селедкой, поговоришь о том о сем, о делах, которые, как ни старайся, все на последний день останутся, глядь — давно уж темно и домой пора.

— Не забудь, — скажет Толян, поднимаясь, — фуфайку. В прошлый раз оставил.

— Вот голова дырявая! Столько дней в старой хожу. Спокойной ночи. — Возьмешь фуфайку под мышку и выйдешь в темноту. Утром, готовясь к продолжению вчерашних поисков, без аппетита попьешь чаю, наденешь сапоги, накинешь пропавшую фуфайку и выйдешь из дома, раздумывая, к кому бы направиться. А рука нащупает в кармане круглый железный предмет — крышечку от бачка.



Фото Виктора Чувызгалова

Юлия Латынина

СТО ПОЛЕЙ



Фото Леонида Шимановича

Вас не угнетают эрудиты? Правда, ныне это зверь редкий, может, вы с ним и не сталкивались. Поверьте мне, эрудит чаще всего — существо весьма утомительное. Бродячий мешок с ответами на все вопросы. Ты еще задать вопрос не успеешь, а он тебе, на полуслове прервав, — ответ. Со звериной серьезностью. И обязательно с использованием научной терминологии, а также ссылками на библиографию на нескольких языках.

Но если у этого эрудита звериная серьезность — лишь для работы, а для вас найдется вполне достаточно чувства юмора... Если он по ночам пишет не только диссертации, но и детективы, пусть даже философско-исторически-фантастические... Если его обязательность реализуется и в том, что обещанное на первой странице романа убийство непременно в свое время произойдет... Если он и в условиях прямого эфира отбивает коварные вопросы ведущего с ловкостью классного теннисиста...

А если ко всему перечисленному добавить, что речь идет о милой и веселой девушке — ну, согласитесь, это уже совсем другое дело.

Тогда можно простить сверхвысшее образование, завершившееся диссертацией об антиутопиях от Аристофана до Гофмана, и знание языков, и философский склад ума с весьма рациональным оттенком.

Проза Юлии одновременно стремительна в интриге и неторопливо основательна в философских построениях. «Парадоксов друг» — это про нее; однако, помимо любви к парадоксам, нужна и храбрость, чтобы столь демонстративно пытаться скрестить традиционную и массовую культуру, Геродота с Азимовым, исландские саги с Агатой Кристи. Мало кто, имея все основания для претензий на элитарность, пренебрегает ею столь решительно и последовательно.

Юлия Латынина — из новой генерации, которой есть что сказать и за которую нечего бояться.

Ирина ПРУСС

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

В хорошо написанной сцене должно быть полстраницы, два афоризма и один убитый.

В этом романе подземные ходы обычны, как линии метрополитена, колдуны приписаны к государственным цехам, черепахи с донесением, засунутым под панцирь, служат надежнейшим средством почтовой связи; в этом романе женщины влюбляются по портретам, а историю делают не идеи, а сплетни.

В этом романе действуют яшмовые печати и железные мечи, мечи, в которые глядятся звезды, солнце и луна и в которых весь мир видит свое отражение, так что порою трудно различить: меч ли — атрибут героя или герой — атрибут меча. Города и дворцы в нем также не пейзаж, а действующие лица истории.

В древности подобные романы начинались с кораблекрушения у неведомых берегов. Завязка «Сто полей» не многим замысловатей. Космический корабль разбивается на неядомый планете, а земляне в аварийной капсуле совершают посадку на маленьком острове. Они сколачивают обычный деревянный корабль, нагружают его необыкновенно кстати подвернувшимся под руку золотом и плывут к материку, выдавая себя за купцов и еще не подозревая, как дорого им это может обойтись.

Ибо, переплы whole море, земляне оказываются в соаэршенно неизвестном мире, где действуют другие модели успеха и другие законы истории.

Они вступают в заколдованный феодальный мир, возникший на развалинах некогда благоустроенной империи, завоеванной варварами, мир, где города превратились в замки, а война стала главным способом экономического обмена.

А далеко-далеко, за Голубыми Горами, лежит восстановленная империя, где нет, как говорит, трех разновидностей разбойников, как-то: взяточников, сеньоров и торговцев.

Вскоре, помимо своей воли, земляне оказываются итинутыми в водоворот событий в главном городе королевства Ламассе.

Хаос царит в стране, ио главными противниками оказываются все-таки двое: молодой Марбод Кукушонок, потомок свергнутого королевского рода и лучший меч королевства, и Арфарра-советник, беглец из империи, который никогда не носил оружия, если не считать маленькой тушечницы у носа.

Для Марбода Кукушонка свободный человек — это тот, кто имеет право убивать себе подобных, для Арфарры-советника свободный человек — это не раб, ие серв, ие вольноотпущенник, ие иаемый работник, словом, тот, кто не зависит никоим образом от частного лица, в зависит непосредственно от государства. Впрочем, Арфарра-советник обладает драгоценным умением говорить каждому собеседнику то, что собеседнику приятно услышать.

Ниже мы приводим отрывок из пятой главы романа. Земляне уже вполне выучили местный язык. Приехали в Льмассу, побывали на приеме у Арфарры-советника и поссорились с Кукушонком, учинив скандал на священной церемонии.

У самого Арфарры подозрений они пока не вызвали, а вот послушнику его, Неревену, некоторые странные повадки чужеземцев сильно запали в душу.

Неревену, послушнику Арфарры, было семнадцать лет. Он был как-то недокормлен и хрупок, как фигурка на фарфоровых чайничках, расписанных травяным письмом. Он носил грубый синий балахон послушника, конопляные башмаки с восемью завязками и на тонком запястье железное кольцо ученика. У варваров такие железные кольца носили рабы, и от этого все время происходили недоразумения.

Неревен скучал и зяб в этой варварской стране, захиревшей без благой государственной силы, так что даже виноград и оливки перестали в ней расти... Неревен вздохнул и провел рукой по волосам. Человек за пределами ойкумены не должен стричься и бриться, чтобы вернуться живым в ойкумену, и волосы у Неревена отросли длинные-длинные, а бриться ему было еще рано.

Во дворе королевского замка Неревен стянул курицу и еще лепешку. Курицу сунул в мешок, а лепешку — в рукав и пошел вниз, к храму Виноградного Лу. Дело в том, что после утренней церемонии, на которой этот странный варвар, Ванвейлен, так кстати для себя застрелил бесовскую птицу, Неревена поймал не кто иной, как Марбод Кукушонок со своим мечом Остролистом. Остролист был очень хороший меч, но однажды Марбод убил им женщину, и она успела испортить его перед смертью. С тех пор удача ушла от Марбода. И вот три часа назад Кукушонок, разыскав послушника Неревена среди телег и мешков, попросил маленького колдуна помочь вылечить меч. Все это было, конечно, чепуха, думал Неревен, а важно было то, что Марбод Кукушонок после утреннего скандала перетрусил и хочет тайно снести с королевским советником. Неревен хотел предупредить учителя о вечерней встрече, но тот затворился в нефритовом покое вместе с королем, а король приказал строго-настрого их до утра не беспокоить...

И маленький послушник отправился к храму один. По дороге он зашел в старый сад, взобрался на ветку яблони и уселился там, болтая ногами и поедая лепешку, круглую, как небо, и с узором из шести дырочек.

Наступил час, когда ставят вторую закваску для теста, солнце медленно катилось с неба, яблони цветли уже вовсю, и лепестки их, белые, как яшма, сыпались на платье Неревена и на землю, и небо было мило, и земля хороша. Тут Неревен кое-что вспомнил и вытащил из кармана амулет, который заморские торговцы, Бредшо и Ванвейлен, сунули утром за ковер в комнате учителя. Но амулет был совсем глупый, без узоров и букв, просто белая стальная чешуйка. Неревен встревожился. Что человек сунет за ковер другому человеку? Только приворотный талисман. Но ведь без букв талисман не действует, а без узоров вообще любая вещь неокончена! Какие странные чужеземцы — в третий раз за сегодняшний день подумал маленький послушник, — надо присмотреться.

Неревен сунул чечевичку обратно в рукав и запрыгал вниз по весеннему холму. И пока он идет к храму Виноградного Лу, мы вернемся к этой стальной чечевичке, но описывать ее мы не будем, а скажем прямо, что это был обыкновенный электронный жучок.

Храм Виноградного Лу был заброшен, как и все в варварском королевстве, а сам Лу выродился, рос вокруг в диком виде и крошил колонны. Марбод Кукушонок сидел скрючившись на алтарном камне и упершись подбородком в рукоятку меча. Неревен поглядел на него. Марбоду Кукушонку, потому свергнутого королевского рода, было в ту пору двадцать шесть лет. Он был высок — выше деревенского паренька Неревена на голову, строен, голубоглаз и дьявольски красив. Белокурые волосы его были скручены в узел и заткнуты заколкой в форме клюва кречета. К заколке были привязаны две камчатые ленты. На Кукушонке был боевой кафтан, крытый синим шелком с узором из облаков и трав и перехваченный широким поясом из золотых блях. Каждая бляха изображала какого-нибудь зверя или рыбу. На ногах у него были сапожки из кожи серны, с узором из круглых цветов и с высокими красными каблуками. Деревенский мальчишка Неревен покраснел и взглянул на свои конопляные башмаки. Он-то никогда не носил высоких каблуков, чтобы удобнее было вдевать ногу в стремя, а съязмальства ходил на высоких подошвах, чтобы споручнее было ступать по грязи.

Неревен шагнул за порог. Курица в мешке за плечами заквохтала. Марбод поднялся, и кончик его меча внезапно уперся в горло послушника. Кто-то развязал мешок и вытряхнул из него курицу. Марбод засмеялся и сказал:

— Клянусь божьим зобом! Ты сегодня мне поможешь вылечить мой меч кровью курицы, но эту курицу будут звать Арфарра-советник. Из королевского дворца в храм Шакуника, — сказал дальше Марбод, — есть подземный ход. Это по нему сегодня привезли вторую мангусту! Сейчас ты мне его покажешь.

Неревен глядел вверх, туда, где вместо купола над храмом было небо — не настоящее, с облачной залой, а видимое, черное, с двумя яркими лунами. Неревен хотел ведь рассказать о встрече учителю, но не посмел: тот заперся с королем... несомненно, месть Старца в Парчовой Куртке за утреннее святотатство. О боги! Вы толкаете нас на преступление и сами же за него караете!

— Учитель ходил за мангустой не под землю, а на небо, — сказал Неревен. — Это все видели.

Неревена привязали к корешку колонны. Рядом стояли разводить небольшой костерок.

— Мало ли что я видел,— сказал Марбод.— Я воин. Я вижу зелень, а это засада. Я вижу дорогу, а это волчья яма. Я не верю в то, что каждый раз происходит по-разному и каждый видит по-своему. Каждый рассказывает басни о том, как был околдован замок герцога Нахии. А кто басен не рассказывает,— обвиняет меня в предательстве. Да, я показал Арфарре подземный ход, но и герцога я предупредил. И если бы подземным ходом прошли воины, люди герцога с ними бы расправились. А если бы людей герцога убили духи, им не нужен был бы подземный ход. Я обошел взятый замок. Там были пчелы. Мертвые — холодно. А в подземелье — разбитые кувшины, с надписью «пчелы золотого улья». Вот это настояще колдовство. Это я своими глазами видел, как подземные пчелы съедают человека...

Неревен усмехнулся. Это было известное средь варваров поверье. В подземных руинах иногда заводились особые, золотистые, очень злые пчелы. Ужалив, они умирали и от этого сильно бесчинствовали. А варвары, глядя на рисунок — золотые пчелы под яшмовым деревом, — по своей неистребимой привычке воспринимать символы буквально решили, что жители бывшей империи принадлежали к роду Золотых Пчел, стало быть, были пчелам соприсущи, стало быть, обращались в пчел после смерти.

— Я знаю,— продолжал Кукушонок,— в караване господина Даттама были такие же кувшины с пчелиной надписью. Ты покажешь мне дорогу в храм и покажешь, где стоят кувшины.

— Не покажу,— ответил Неревен. Про себя он молился старцу Бужве. Или лучше — Шакунуку. Марбод осклабился и ткнул его в подбородок носком сапога.

— Покажешь. Меня называют удачливым воином. Ты думаешь, удачливый воин — тот, кто умеет брать замки? Это тот, кто умеет узнавать у обитателей, куда они дели добро.

Неревен завел глаза вправо. На разожженном костре палили принесенную им курицу, и еще наливался вишневым цветом кинжал. На стене, в пламени костра, прыгал облупившийся Виноградный Лу. Голова и тело были еще человеческими, а руки уже пошли листвой с усиками. Художник чувствовал дух времени и орды варваров с юга. Ему полагалось представить рождение виноградной лозы, а он нарисовал гибель человека.

— А твой меч и вправду горазд убивать только женщин,— сказал послушник.— Боишься убить Арфарру в честном бою и на храм боишься напасть снаружи.

Сяди Белый Эльсил сказал:

— Клянусь божьим зобом! Мальчишка прав — это дело не принесет чести нашему роду.

Марбод ощерился, ударили Неревена в пах красным каблуком и стал бить — умело и страшно. Чужие пальцы зажали рот, мир вздыбился и погас. Потом чей-то голос в вышине потребовал оставить мальчишку в покое.

Неревен открыл глаза. С проломленного неба спрыгнул человек с мечом в руке. Неревен узнал давшего чужеземца, Сайлласа Бредшо, и понял, что Парчовый Старец простили прегрешение, потому что откуда иначе взяться чужеземцу?

Марбод повернулся к Эльсилу и сказал:

— Ты был прав, сказав, что я еще раскаюсь, со-

хранив жизнь этим торговцам! — И, обернувшись к торговцу: — Две недели назад твой товарищ Ванвейлен оскорбил меня, а сегодня застрелил божью птицу. Ты заплатишь за это сейчас, а Ванвейлен — завтра.

Марбод выхватил меч из трехгранных серебряных ножен и бросился на торговца.

Тут Неревен понял, что торговца все-таки послал не Бужва, потому что Сайллас Бредшо был перед Кукушонком, как уж перед мангустом или недоимщик перед старостой. Быдно было, что Кукушонок похвастается перед дружиной, похвалится — и зарубит. Тут за стенами храма замелькали факелы, и снаружи закричали:

— Королевская стража!

Кукушонок встряхнулся и ударил по-настоящему. Торговец успел заслониться щитом: меч снес бронзовое навершие и расколол щит, как гнилую дыню. Марбод закричал, и в ответ ему закричала песья морда с рукотки меча, а бесы и пасти на пластинах панциря подняли оглушительный вой и свист. Неревен взмолился Бужве: Марбод ударил. Меч торговца раскатился цветными кружевами в лунном свете и разрубил Марбодов клинок, как масло. Неревену померещилось, что клинки даже не перекрестились. «Божий суд!» — закричали варвары. Как будто боги выясняют грехи в поединках, а не меряют их на весах!

Тут внутрь стали прыгать королевские люди, и впереди Хаммар Кобчик, начальник тайной стражи, и сам король.

Король с порога бросил в Марбода копье. Кукушонок повернулся на пятке, и копье ушло в старый пол, стало раскачиваться и гудеть. Марбод выхватил из-за пояса короткую секиру, но тут один из королевских стражников бросился на него. Стражник был молодой и неопытный: Кукушонок переложил секиру в правую руку, ударил ею стражника и потянул к себе так, что тот упал на колени.

Кукушонок сказал:

— Экой ленивый! Еще не умер, а уже лечь норовит.

Тут он ударил стражника так, что разрубил шлем и подшлемник, и тот упал и умер, а после него осталось двое маленьких детей и еще две дочери. А Марбод взял секиру стражника и швырнул ею в короля, но Хаммар Кобчик успел подставить щит, и секира снесла у щита верхний правый угол и ударила о кольчугу так, что серебряные кольца посыпались на землю, но кожаная подкладка выдержала удар.

Тут у Неревена в глазах потемнело, потому что немудрено, что с этой земли исчезли виноград и оливки, если подданный может швыряться секирами в государя.

Марбод Кукушонок подхватил королевское копье за кожаную петлю, уткнул его с разбегу в пол и, сделав прыжок опоссума, перескочил на проломленную крышу. Там стоял стражник с мечом: Марбод выхватил у него меч, а стражника пихнул внутрь, и тот расшибся насмерть. Это был, однако, человек уже старый, и дети у него были взрослые.

— Мы еще встретимся, Бредшо!

Люди Кречета уходили кто куда. Заморский торговец, тяжело дыша, резал за спиной джутовую веревку — мог бы и поберечь добротную вещь.

Неревен подумал, что богов, наверное, все-таки много. Потому что один послал заморских торговцев,

а другой — людей короля. Правда, думал Неревен, заморских торговцев мог привести и не бог ойкумены, а их собственный, тот самый, которого я взял сегодня утром. Но тогда их боги слишком милосердны.

Правда, думал Неревен, людей короля мог послать учитель, который столько знает обо всем, словно по-прежнему вхож к самому Бужве. Но тогда получается, что учитель не возражал, чтобы Неревена убили. Нет, не зря сидел у него тот монах. Неревен заплакал и потерял сознание, потому что такая мысль была страшнее, чем мысль о смерти государя.

Бредшо поднял послушника на руки. Тот задрожал, потом заплакал и потерял сознание. На мальчишку просто никто не обращал внимания: дружины гонялись за дружины. Бредшо распутал шнурки рясы, поскорей нашел передатчик, сунул в рукав.

Минут пятнадцать назад он хотел позвать корабль, в темноте спутал код и услышал, к своему немалому удивлению, голос Кукушонка: а жучок был слабый, действовал в радиусе километра.

Кто-то наконец остановился рядом.

— Да помогите же, — сказал Бредшо.

— Покажи свой меч, — ответили сверху.

Бредшо обернулся, помертвев. Перед ним стоял сам король. Бредшо молча протянул меч.

Король осмотрел клинок: стать «вороний глаз», желобок посередине лезвия, никаких письмен на клинке. Четыре свежие зазубрины — и ни одной такой, что могла бы разрубить красавца Остролиста — меч Белого Кречета.

— Ты колдун?

Бредшо в ужасе замотал головой. Король выругался и с силой ударил мечом по алтарному камню. Брызнули крошки — король кинул зазубренный меч Бредшо.

— Только посмей повторить на суде, что ты не колдун, и с тобой то же будет, — помолчал и спросил: — Ты в мертвом городе давно бродишь?

Бредшо не посмел сорвать и ответил:

— С заката.

— Что-нибудь видел?

Бредшо ответил:

— Нет, дружины Марбода я не видел. Проезжали какие-то люди, человек пятнадцать, но они были с королевскими цветами.

— Куда проезжали? — резко спросил король. Глаза его были безумны, на щеках — красные пятна.

— Куда-то к Золотой Вершине. Обратно вроде бы не возвращались.

Король повернулся и пошел.

У Бредшо дрожали руки. Он не понимал, откуда взялся король; он готов был поклясться, что видел короля среди всадников, скакавших к Золотой Горе. Зато он понимал, что король не оставит без расследования чуда: вспыхнул цветной луч в руках заморского торговца и разрубил родовой клинок Белых Кречетов...

А теперь мы вернемся немного назад и расскажем, что делал в тот вечер король.

Когда начинался вечерний прилив, король Варай Алом затворился с советником Арфаррой в своих покоях. Тревожить себя он запретил.

Арфарра хлопотал со светильниками и заклинаниями. Король разглядывал стены. Раньше они были покрыты зимними и летними мехами, теперь — зеркалами и орнаментами.

О зеркалах советник сказал, что они уподобляют горнице душу, безграничной изнутри и ограниченной снаружи. О кругах и квадратах... Что же он сказал? Что-то вроде того, что круги и квадраты — лучший образ бога.

Поскольку в природе нет ни кругов, ни квадратов, а человек, творя, начинает с квадратных полей и круглых горшков, то, стало быть, эти формы он берет не из природы, а из своего ума. Между тем уму доступно познание лишь двух вещей: природы и бога.

В комнате с круглыми и квадратными богами к большому зеркалу, как к алтарю, был призван столик с тушечницей, бумагой и светильником. Советник кончил писать заклинания, сжег их на огне. Молодой паж подал епанчу, расшитую облаками и птицами, король проверил меч за спиной.

— В путь!

Кони на заднем дворе были уже оседланы. Сели и поскакали.

Свита была небольшой — человек пятнадцать. Вскоре пересекли границу. Стало совсем темно: только впереди прыгала какая-то тварь, ростом с кролика, глаза — как медный таз. Наконец пропала. Король пожаловался спутнику:

— Какая мерзость! До чего ж напугала!

Спутник засмеялся:

— А какова она была из себя? — и оборотил глаза как медный таз.

Король ужаснулся, потом признал.

— Почему ты проиграл битву в Блуждающих Верховьях? — спросил он.

— Ты же помнишь, — вздохнул отец, — Даттам мне поднес два меча: Обретенную Радость и Черноглазого. Через некоторое время пришел ко мне Иден Виверра и попросил подарить Черноглазого. Но я в ту пору пожалел меча: хотелось самому пойти с ним в битву и подарил Идену Виверре Обретенную Радость. А когда пришло время выступать в поход, я раскаялся в собственной жадности и отдал Черноглазого Шодому Сойке. Шодому Сойке я поручил левое крыло, а Идена Виверру дал ему в подчинение. Вот въехали перед битвой оба на пригорок, и Виверра увидел у Шодома за спиной Черноглазого в красных лаковых ножнах. Виверре стало досадно, но что делать: изменить королю — нарушить клятву верности, оставить без отщечения неподаренный меч — оскорбить предков. Он отошел в сторону под кизиловый куст, погадал и услышал: «Вызови Шодома на поединок, и вы погибнете оба. Тебе будет вечная слава, а королю от гибели полководцев — убыток...» Они сошлись в поединке и погибли, а дружины их разбежались в виду вражеского войска.

Варай Алом взглянул на отца: тот был жуток видом. Рот страшно разорван: когда короля окружили, он зажал кончик меча зубами и прыгнул с лошади вниз.

Семнадцатилетний Варай Алом дрался в то время на юге и узнал о битве только через три месяца; за тридцать лет правления отец увеличил королевство в четыре раза, а в последней битве утратил треть того, что справедливо приобрел.

— Я отомстил за тебя и победил далянов, — сказал сын.

— Победил, но не отомстил, — сердито сказал один из спутников. — Битву с далянами выиграли горожане.

О нашей гибели сложили песню, а разве сложишь песню о твоей победе?

— А кто, кстати, наш проводник? — спросил отец. Король вздрогнул.

— Я не знаю, — сказал он. — Ты посоветовал мне позвать предателя из империи, я позвал его, а он посадил мою душу в хрустальный кувшин. Ему служат огненные духи и железные кони, и я не могу уже без него, а он не хочет, чтобы я воевал с империей.

Отец велел оставаться своей свите у входа во дворец Золотого Государя. Верные были недовольны:

— Как можно, а если там засада?

Отец и сын вошли: коралловые залы, яшмовые стены.

— Я ведь, — признался отец, — при Золотом Государе лишь мелкий чиновник.

Золотому Государю Варай Алом взмолился:

— Прошу не за себя, за отца...

Государь с лицом мангусты усмехнулся:

— О чем же?

— О посмертной должности основателя династии.

Золотой Государь рассмеялся:

— Почтительный сын... Ну, этот чин дарует лишь живой бог Великого Света. Подписывай сам!

И кинул королю яшмовую печать. Подбежал чиновник с тушечницей. Вдруг по дворцу загрохотало, зашумело.

— Что это? — рассердился Золотой Государь. Прислушался и расхохотался: — Так это же твои воины! — И закричал: — Он думает, что Небесный Город можно завоевать силой! Можно! Только какой смысл его завоевывать, чтобы потом раздать в лен.

Государева печать отяжелела и лопнула. Короля швырнуло вон, лицом вниз. Он вскочил: на стене смеялся Золотой Государь. А советник выходил из зеркала неторопливо, оправляя складки паллия.

Двери в покой были раскрыты, в них толпились дружины, дядя Най Третий Енот и начальник недавно учрежденной тайной стражи, Хаммар Кобчик.

Ведь был же строжайший приказ не входить! Воистину прав советник: миллионом маленьких людей в государстве повелевать легче, чем сотней вельмож в собственном дворце!

— У меня важное известие, — сказал Кобчик. — Мы рассуждали так. Если убитый кречет был богом Ятуном, то его и убило б чудом. А если он погиб от стрелы — стало быть, птицу кто-то наускал. У убитого кречета кривой коготь на левой лапке. Мы нашли в городе человека, который торгует боевыми птицами. Он — вольноотпущенник Ятунов и признался, что Марбод Кукушонок два месяца назад отдал ему кречета на сохранение, а сам всем рассказывал, что птица умерла. Вчера он этого кречета забрал обратно.

— Взять под стражу, — коротко распорядился король.

— Кого? — вежливо удивился дядя, граф Най. — Вольноотпущенник уже арестован.

— Марбода Кукушонка.

— По закону, — твердо сказал граф Най, — вольноотпущенник не может свидетельствовать против господина, это карается смертью. Кроме того, все знают, что за Марбодом вины нет. Очистительной церемонией владеет род Ятунов, а хозяин волен употреблять собственность и злоупотреблять ею.

Король схватился за ворот епанчи: тот был весь в росе от ночной езды. Тут король понял, что совет-

ник Арфарра прав: это Марбод Кукушонок подговорил подписать мятежное прошение. Марбод, а может, и сам дядя за его спиной; недаром два месяца ходит и предлагает выдать сестру замуж в род Ятунов. Теперь — ни за что.

— Найти и арестовать — к утру.

Начальник тайной стражи, Хаммар Кобчик, поклонился:

— Марбод пропал. Наверное, уже бежал из Ламасы.

— Вздор, — рассмеялся король. — Он думает, ему нечего опасаться! Он тоже думает, что я буду судить по праву, а не по справедливости.

Король заметил, как двое верных из дядиной свиты переговариваются и тыкают пальцами в кувшин на столике.

Граф Третий Енот внезапно встрепенулся и с не приятной усмешкой поглядел на кувшин.

— Говорят, королевский советник умеет вызывать души мертвых. А вот может он вызвать душу живого Марбода и спросить ее, где она сейчас находится? И удостовериться в истинности его слов было бы куда легче.

Король обернулся на советника.

Тот утонул в глубоком кресле, маленький, усталый и нахолившийся. У ног его паж, очнувшись, утикал рукавом кровь у рта.

Арфарра встал, неторопливо поставил на стол сребрянную миску, плеснул в нее воды. Из миски пополз белый дым. Дым превратился в апельсинное дерево, дерево заселено, покрылось бутонами и цветами, на нижней ветке вырос оранжевый плод. Арфарра сорвал плод и очистил кожуру. Под ней был большой хрустальный шар. Дерево исчезло. Арфарра взглядался в шар.

— Марбод Кукушонок, — сказал советник, — сейчас в заброшенном храме Виноградного Лу. И опять злоумышляет против короля и храма.

Король выхватил меч и ударил по шару. Тот разлетелся на тысячу кусков. Из осколков с жалобным писком выкатился и пропал маленький человечек.

— Я его убил? — с надеждой спросил король.

— Ну что вы, — ответил советник. — Это только одна из его душ.

Король бросился из комнаты, зовя стражу. Он хотел лично убедиться, что происходит в храме Виноградного Лу.

Когда король ушел, один из придворных, старый Цеб Нахта, согнулся, будто для того, чтобы расправить ковер, украдкой поднял из его складок желтую яшмовую печать. Он один заметил, как печать выпала из руки короля, когда тот выскочил из зеркала. Подобрал и покачал головой. До чего дошло дело: король просил у кого-то не меч, не коня, а печать...

Хаммар Кобчик, начальник тайной стражи, был кровником Белых Кречетов — говорят, поэтому король его и выбрал. Утром Хаммар Кобчик был очень доволен, что Арфарра-советник приказал Кукушонка не арестовывать, потому что кровника не арестовывают. Сейчас он был очень зол, что Кукушонок отбился и пропал.

Через два часа он явился к заморским торговцам на постоянный двор и сказал:

— По закону о прерванном поединке любой вассал из рода Кречетов может вас убить. Через два дня,

однако, начинается золотое перемирие. Но эти два дня желающих будет много. Вольно ж вам было вмешиваться.

Хаммар вглядывался в Бредшо: тот был чуть пьян, растерян, напуган поединком с сильнейшим мечом страны и, увы, нисколько не походил на колдуна. Да, прав был король, строжайше приказав, чтобы не было завтра этой мокрой курицы на суде.

— Я и не хотел,— сказал Бредшо.— Но что еще мне было делать, услышав, как этот мерзавец пытает мальчишку?

— В десяти часах езды отсюда,— сказал Хаммар,— храм Золотого Государя. Припадете к алтарю, попросите убежища, через три дня вернетесь.

Едва Кобчик и Бредшо уехали, к постоялому двору стали собираться горожане, кто с оружием, а кто с ухватом и вилами, начали жечь костры и спорить, кто храбрее из чужеземцев: тот, который застрелил птицу, или который не побоялся сразиться с самим Кукушонком. И сошлись на том, что надо пойти к замку Кречетов и сжечь там чучело человека, покусившегося на государя, потому что, надо сказать, народ всегда называл короля государем, хотя это и было неправильно.

А Хаммар Кобчик, закутанный по брови в синий плащ с капюшоном, подъехал тем временем к замку Ятунов в Мертвом Городе.

Главе рода Белых Кречетов было девяносто три зорьи, он жил, как живой мертвец, в одном из восточных замков, и никто его не видел и не слышал. Сын его помер в бою, а наследником рода был Киссур Кречет, старший брат Марбода Кукушонка. Киссур был человек рассудительный и домосед, рассердить его было нелегко, а одолеть, рассердив, было еще трудней. Все знали, что ему было трудно убить человека, особенно если за убийство надо платить большую виру.

Брата своего Киссур боготворил. Когда зимой тот стал королевским дружиным, старая женщина дала Киссуру серебряный топор и велела срубить Марбодово родильное дерево во дворе замка. Киссур бросил топор в реку и проплакал три дня, а старая женщина сказала: «Ты отказался отрубить гнилую ветвь тогда, когда это принесло бы роду честь,— теперь тебе придется рубить ее тогда, когда это принесет роду бесчестье».

Итак, Хаммар Кобчик, закутанный, въехал во двор замка. Вокруг царила суета: о Марбоде уже все знали. Хаммар Кобчик попросил скорее воды, словно умирает от жажды. Ему принесли воду, и он стал жадно пить.

Хаммар Кобчик был человек предусмотрительный, и хотя на гостя, кровник он или нет, нападать нельзя, кто его знает, что нельзя и что можно в такую ночь. А на того, кто выпьет или поест в доме, не нападет уже никто. Вот Хаммар Кобчик и выпил поскорее чарку и сбросил плащ. Тут его многие признали, и Кобчик понял, что пил он чарку не зря.

Киссур Белый Кречет принял Хаммара Кобчика в серединной зале замка и усадил его на скамью, полую, чтоб было видно, что скамья без засады.

Кобчик сказал:

— Завтра над Марбодом Белым Кречетом будет королевский суд.



Рисунки Ирины Синицкой

— В чем же его обвиняют? — спросил старший брат.

— В похищении и истязании человека — раз. В злоумышлении на храм — два. В покушении на государя — три.

Киссур Белый Кречет вздрогнул. На государя!

Дело в том, что в стране было два рода законов. Судили по обычью, а когда обычев не было, судили по законам Золотого Государя. Марбод Кукушонок дрался с королем, по обычью это был просто поединок, и в этом поединке никто не пострадал. Вот если бы Марбод короля убил или покалечил, тогда другое дело — тогда он платил бы виру втрое больше, чем за убийство самого знатного человека. А по законам Золотого Государя за покушение на государя смертная казнь полагается и злоумышленнику, и роду его, и саду, и дому, и почему имуществу.

Тут Киссур улыбнулся и сказал:

— Это дело темное и странное. Все говорят, что меч моего брата сломался из-за колдовства Арфарры-советника и король вел себя при этом очень плохо.

Хаммар улыбнулся и подумал: «Хорошо, что Сайлас Бредшо уехал и не будет завтра на суде, потому что он совсем не походит на колдуна. А о Клайде Ванвейлене, который будет вместо него, всем ясно, что он колдун, потому что иначе он не посмел бы натворить то, что он натворил утром». А вслух Хаммар сказал:

— Две недели назад в Золотом Улье была подписана бумага: пусть де на Весеннем Совете король принесет вассальную клятву Кречетам. Глупая бумага! Если вы, однако, откажетесь от прав на Мертвый Город, то речи о покушении на государя завтра не будет.

Тут Киссур Кречет поглядел вокруг, на серединную залу и широкий двор за цветными стеклами.

Замок был еще молодой и незаконнорожденный, и во дворе стояло за серебряной решеткой родильное деревце Марбода.



И Киссур подумал, что теперь из-за Кукушонка и замок снесут, и земли отберут, и сам Киссур станет изгнаниником. А Киссур был человек домовитый, продаив Даттаму много шерсти.

А Хаммар Кобчик поглядел на деревце во дворе вслед за Киссуром, улыбнулся и сказал:

— А, наверное, старая женщина предсказала правильно.

Это он говорил к тому, что если срубить родильное дерево и отказаться от Марбода, то завтра объявит вне закона одного Кукушонка, а род тут будет ни при чем.

Киссур Ятун поглядел на Хаммара Кобчика и подумал: «Арфарра послал ко мне этого кровника нарочно, чтобы я с ним не согласился». Улыбнулся и сказал:

— Брат мой знал, что, если бы сегодня он явился в замок, я бы никогда его не отдал и не выгнал. Он, однако, пропал, не желая стеснять моего решения. Так могу ли я отказаться от брата? — Помолчал и добавил: — Посмотрим, что решит суд.

Все одобрили это решение, потому что уклониться от суда ничуть не лучше, чем уклониться от поединка. Другое дело — не подчиниться решению суда.

Король вернулся из храма в ужасе. Пришел в комнату с круглыми и квадратными богами; советник там так и сидел. Он все видел в зеркале.

Советник сказал: «Это только одна из душ». Ну что же? Марбод был жив, а родовой его меч — перешел после того, как король разбил шар.

Без колдовства это сделать было нельзя; по рассказам очевидцев, торговец дрался много хуже Марбода. Марбод рубил и сплеча, и сбоку, и крест-накрест, и «зимней ромашкой», и «тремя крестами», и «дубовым листом» — забавлялся, а последний его прием — «блеск росы в лунную ночь» — никогда еще его не подводил.

Чужеземец поклялся, что его меч без колдовства.

Приходилось верить. Бывают обманщики, выдающие себя за колдунов, но не бывает колдунов, отрицающих свою силу.

А ведь, как известно, одна из трех душ человека находится в родовом мече, и меч Марбода был разрушен в тот самый миг, когда король разбил стеклянный шар!

Король поглядел на Арфарру-советника и затряс рукавами от внезапной неприязни. Арфарра-советник сидел нахолившийся, маленький по сравнению с громовой птицей на спинке кресла. Из-за болезненной худобы он, как всегда, казался много старше своих тридцати пяти лет. Холоднос, холеное лицо бывшего сановника империи было тщательно выбрито. На Арфарре был простой шелковый паллий, столь тонкий, что под ним можно было разглядеть завитки кольчуги, а поверх — накидка из гусиного пуха. Что за человек! Зябнет от любого сквозняка. Ест на пирах меньше больного воробья, а ведь знает, что тот, кто мало ест, не прав перед богами и виноват перед сотрапезниками. Даешь ему в руки лук — так не знает, как натянуть тетиву! В прошлогоднем походе вместо честной битвы затопил вражеский лагерь, горожане ловили рыцарей корзинами, как лещей, знамена плавали по воде, как мокрые листья. Когда побежденного герцога привели к королю, герцог не знал, куда девать глаза со стыда, так как его платье было в грязи и тине. А когда король лично развязал веревки на пленнике и велел проклятому вейцу Арфарре пить с герцогом, Арфарра на глазах у всех отравил герцога из чайника с двойным дном! Бывали, конечно, на пирах случаи, чтобы гостей убивали, спрятав воинов в двойных стенках шатра, но чтобы гостей убивали из чайников с двойными стенками! Постыдную песню сложат о таком пире!

Да! Много душ у человека, все сразу не извести, и в короле сейчас тоже спорили две души; одна сожалела, что Марбод остался в живых, а другая сожалела, что король запяtnал свою честь чародейством.

— Марбод Кукушонок, — сказал Арфарра-советник, — это язва на теле королевства. Завтра Кречеты могут выбирать: или отказаться от Кукушонка, или отказаться от прав на Мертвый Город, или остаться вне закона.

Плечо короля ныло и пахло травяным настоем, и если бы не щит Хаммара Кобчика...

— Марбод Кукушонок, — сказал король, — швырнулся в меня настоящей секирой, а я пытался одолеть его колдовством.

— Короли, — насмешливо сказал советник, — заботятся о своей чести, а государи заботятся о государстве. И ваша честь, конечно, требует, чтобы о сегодняшнем поединке и завтрашнем суде не пели плохой песни, а интересы государства требуют, чтобы государей не стреляли, как перепелок на охоте.

Узлы и круги! Ползли по стенам разноцветные узлы и круги; никакие это не боги, а те узлы и удавки, которыми вяжут души и лихорадки. Ибо о богах неизвестно, существуют они или нет, а колдуны существуют точно и предвидят будущее, и советник предвидел и связал хрустальным шаром — самым простым из узлов...

Король сончурисялся:

— А знаете, о чём сегодня говорил с моей матерью господин Даттам? О том, что экзарх Варнарайна, Харсома, сватается к моей сестре.

Советник чуть вздрогнул. Кому не известно, что

эзкарх Харсома после пятнадцати лет дружбы велел скречь советника с домом и домочадцами?

Советник натянуто улыбнулся и сказал:

— Воля государя — закон.

Король сопутился:

— А знаете, о чём еще говорил господин Даттам? Он говорил, что государство, как рис, хорошо растет только на орошаемых землях. Нужны тысячи — копать каналы, и нужны сотни, чтобы указывать им, как копать! И хороший урожай зависит от хорошего государя и хороших чиновников. А в Верхнем Варнарайне крестьянин пашет свое поле один, и урожай зависит от него, а не от властей, и сколько бы он ни просил короля и сеньора, — дождь сильней не пойдет.

Советник поднял со столика священную серебряную чашу, из которой давеча вырос апельсин. Со дна чаши мигнул королю темно-вишневым глазом паук — существо чрезмерно симметричное и вызывающее страх и трепет своим подобием узлам и кругам.

— У господина Даттама, — всхливо сказал Арфарра, — ум торговца. Его спросишь: что это такое? И он ответит: семь весов серебряного литья, оникс да эмаль. Золотым яблокам все равно, на каких корнях расти.

— Разумеется, — улыбнулся король, глядя прямо в золотистые, как у мангусты, зрачки советника. — Наши предки захватили эту землю огнем и мечом. И люди чести и славы не потерпят над собой налогов и стяжателей. Дело не в земле, а в душе народа.

— Вздор, — сказал советник твердо. — Дело только в вас, государь. Если бы устройство страны зависело от земли, то почему Варнарайн был раньше частью империи, а при Золотом Государе — ее центром? Если устройство страны зависит от луши народной, то почему аломы пришли сюда свободными людьми, а теперь свободные люди остались лишь в городах? Государство, — продолжал Арфарра, — умирает или воскресает, и оно умерло много раньше, чем аломы завоевали его. Завоевание — повод, а не причина гибели. У имен есть залоги, как у глаголов. Государь — актический залог, государство — пассивный. Ишевик, Золотой Государь, был последним великим государем прошлой династии. Он был сильным государем, и государство было сильным. А потом на троне сменяли друг друга малолетние и слабые, и государство стало малолетним и слабым. Сильное государство защищает жизнь и имущество среднего человека. В слабом государстве средний человек отдает жизнь и имущество слабому. Одни делают это, чтобы избегнуть насилия, другие — чтобы беззаконно его творить. Средний человек не ценит свободу, он защищает ее только тогда, когда это выгодно. Он низок в бедности и благороден в достатке. Государство должно защищать его, чтобы позволить ему быть благородным.

Смуты военные и финансовые сотрясали империю, и императоры, назначая чиновников, впали в две ошибки. Из-за нужд обороны они поручили одному чиновнику все обязанности: и набор войска, и суд, и сбор налогов. А сильный император воюет сам и разделяет власть между многими, чтобы никто не отобрал власть у него. Из-за расстройства финанс правительство перестало платить чиновникам жалованье, а велело довольствоваться натурой. Получалось, что не государство платило чиновнику, а чиновник содержал государство; из исполнителя закона чинов-

ник стал собственником закона и хотел передать собственность по наследству. Когда в государство явились аломы, они пришли не уничтожить, а спасти. Два брата, Ятун и Амар, помогли последнему государю прошлой династии справиться с бунтовщиками и ворами. И сын Амара, Иршахчан, был сильным государем и воскресил империю, а сыну Ятуна было два года, когда он взошел на трон, и четырнадцать, когда он умер, а после него власть захватила его тетка, алчная и слабая. Никто не отменял государства в Варнарайне — оно расточилось частным путем. Короли осыпали распоясавшихся чиновников подарками и землями, чтобы те чувствовали личную государеву милость и платили личной верностью. Они забыли, что государь ко всем подданным должен относиться одинаково. Они стали освобождать в обмен на клятву в личной верности поместья от налога и королевского суда, потому что сборщики налогов и в самом деле стали грабителями. Каждый держатель поместья до сих пор просит у короля подтверждения милостей, и он даже не подозревает, что в утверждении может быть и отказано.

Слова Арфарры — узлы и круги, и по стенам — узлы и круги, и из курильниц... Вздор! Образ бога — зверь, а не квадрат, и у Золотого Государя морда мангусты!

— Душно!

Король распахнул окно и глянул вниз.

Там въезжал во двор Хаммар Кобчик и с ним — десятилетний мальчик, сын Киссура Ятуна, племянник Кукушонка. Значит, Марбода не арестовали и род Кречетов отдал за него в заложники, по закону, одного из родичей. Челядь Кречетов задиралась с королевскими службами: наверняка сейчас кого-то покалечат.

О предки и первый Алом, найденный в ивой золотой корзинке! Почему пощадил ты этот род, не расточил расточивших власть...

Люди внизу кричали, размахивали головнями. Узлы им были ни к чему; какая разница, двойной или тройной узел рубить мечом?

Хитрил советник, хитрил! Забыл он сказать, что земли раздавали не из милости, а за военную службу, что это честь — погибнуть на глазах короля и позор — пережить господина, что лишь безумие верных спасло королей, когда великий государь Иршахчан полез в Горный Варнарайн, восстанавливая государство.

Советник подошел к окну, зябко кутаясь в синий бархатный плащ, шитый золотыми листьями, поглядел вниз и улыбнулся.

— Ваши верные, — сказал он. — Королевская опора. Защищают короля от чужих верных. Взглядите: со всех сторон рвы с водой, и десять сторожевых башен, и тысячи стрел целятся в подступы... Но что это? Почему у замка, словно у преисподней, тройное кольцо стен? Почему превращены в бойницы окна дворца? Чтобы защищаться от собственных верных, когда они взбунтуются! А разве, бунтуя, они требуют свободы? Нет, им довольно своееволия! За триста лет непокорства они не догадались испросить законов, гарантирующих их права! О нет, они бунтовали, если король не вел их слишком долго на противника и если король хотел их вести на противника слишком сильного. И король, прекратив самоуправство, восстановит право, прекратив своееволие, восстановит свободу.

Король вглядывался в лунную ночь.

Люди с хохлатыми алебардами прохаживались по стенам, разделявшим двор. На одной из стен сохранился кусок сада — непременной принадлежности вейских управ. Соснам в саду было уже двести лет, в каменном пруду, некогда именовавшемся Серединным океаном, квакали лягушки, и под самой стеной, там, где когда-то первый человек провинции сеял жареное зерно в первую борозду провинции, начинались огорода замковых слуг.

Король отвернулся от окна и увидел, что Арфарра совсем продрог.

— А каков, вы говорили, советник, парк в Небесном Городе?

— Восемь тысяч шурров.

— У потомков Амара сады больше моих поместий, — скривившись, проговорил Варай Алом. — А империя опять прогнила, иначе бы не выщыривала таких слуг, как вы. Оскорбление государя!

Король захлопнул окно так, что с рамы полетела золотая чешуя, и закричал:

— Я не хочу быть государем Варнарайна! Я стану государем Великого Света! В мире может быть только один государь! А мои вонны, с которыми вы хотите меня поссорить, не помешают мне, а помогут! А править — править мне поможете вы, потому что я не затем завоюю империю, чтобы раздать ее в лен. — Король внезапно остановился и засмеялся: — Клянусь божьим зобом! В эту ночь придется выбирать не только Кречетам, но и вам, советник! Где гороскоп, который вы мне обещали? Вы уже месяц как его составили, а все молчите о лучшем дне для следующей войны.

Советник сидел неподвижно, только на лбу выступили капельки крови — это с ним бывало от чрезмерного волнения.

— Берегитесь, советник, — сказал король. — Это женские басни, что чародеи предсказывают будущее. Они делают его. Если вы хотите, чтобы я слушался ваших советов о том, что мне делать с Кречетами, вы должны забыть, что вы — подданный империи, вы должны помнить, что вы — слуга короля.

Как известно, в мире живут два клана людей: живые и покойники. Покойникам полагается спать днем, когда солнце выходит из-под земли. Живым же — ночью, когда солнце заплывает под землю. Этой ночью, однако, многие живые спали плохо или не спали вовсе.

К замку Белых Кречетов пришла городская чернь и сожгла перед ним чучело Кукушонка. Киссур Ятун, однако, не велел их гнать, а надел свою лучшую одежду, оседлал любимого коня, завернулся сверху в суконную епанчу и поехал с тремя людьми искать какого-нибудь места, где встречаются боги и люди.

И действительно, нашли через час постороннего: сидит мужик на берегу реки, недалеко от Арфарровой дамбы, ловит рыбу и свистит в желудевую свистульку, а на ногах у него, что называется, башмаки без подошвы и без голенища, а куртка — внучка накидки и правнучка плаща.

Стали спрашивать о роде и племени — действительно, ни роду, ни племени — посторонний.

Тут Киссур и знатные господа отняли у постороннего желудевую свистульку, сели с ним рядом на берегу в шитых плащах и рассказали обо всем. Киссур хотел

вести его к старой женщине, чтобы гадать, кинул ему соболий кафтан. Тут бродяга развязал веревочку на своей куртке, а куртка держалась только веревочкой и развалилась. Киссур ужаснулся про себя и спросил:

— Что у тебя с левой рукой?

Посторонний говорит:

— А раздавило, когда строили Арфарре дамбу. Лекарь сказал: либо я тебе руку отниму, либо ты весь сдохнешь.

Тут Киссур Ятун лег на землю и стал плакать, потому что бог ему, значит, велит отречься от Марбода, как постороннему этому — от руки.

Спутники же его очень удивлялись, чего это Киссур Ятун разговаривает со старым пнем у реки, пока Киссур им все не пересказал.

А король Варай Алом лежал и думал о великой стране, где государев дворец доходит до неба, в государевых парках бродят золотые павлины, чиновники ездят на медных лошадях и деревянных быках, а с неба не сходят благоприятные знамения.

Подле Серединного океана живет черепаха Шушу и Дерево Справедливости покрывает золотыми плодами, когда на него глядит государь.

Король — не государь. От его взгляда не цветут деревья. Что в том, чтоб застроить Ламассу, как хочет Арфарра? Мало ли в королевстве городов? Они так же непокорны и наглы, как сеньоры, и вдобавок лишены рыцарской чести. В Горном Варнарайне нельзя стать государем, потому что в мире может быть только один государь.

Наконец король заснул, и ему приснилось, как он бросает под ноги советнику голову нынешнего государя и голову наследника престола, экзарха Варнарайна, предавшего своего вассала Арфарру. Арфарра радостно улыбался — во сне было ясно, что советник необычайно мстителен, как и полагается благородному человеку.

Неревена напоили настойкой, растерли и закутали. Он, однако, не мог заснуть от боли и страха. Он лежал и думал о печальном мире за толстыми стенами, мире, в котором земля по ночам покрывается ледяной чешуйей, а его, Неревена, жизнь стоит вдвое меньше жизни горожанина и в шестнадцать раз меньше жизни Марбода Кукушонка.

Он думал о том, что в его отсутствие тюфяк и укладку кто-то потрошил. Ничего, разумеется, не нашел, но сдвинул волоски, уложенные между клубков и коклюшек.

Неревена, храмового послушника, сам экзарх Варнарайна послал в страну ложных имен следить за королевским советником. Взглянул своими мягкими глазами в глаза Неревена, махнул нешилтым рукавом, шепнул: «Все для общего блага!» — приворожил, как всегда умел привораживать, и послал.

А королевский советник не спал, как обычно, потому что со студенческих лет привык ночами читать и наблюдать за звездами, а во рту держать камешек, чтобы почувствовать зубами, когда засыпаешь. Наука эта весьма его занимала, хотя он считал ее совершенной химерой и полагал, что множество предсказаний не совершилось бы, не будь они предсказаны.

И сейчас гороскопа на его столе не было, а были чертежи дамбы и донесение о сегодняшнем поединке.

Арфарра поморщился и подумал, что завтра варвары будут показывать, что меч в руках Марбода, вместе лице третьей души, переломился тогда, когда король разбил стеклянный шар, и что все это проделки Арфарры-советника. «Очень удачно, — подумал бывший наместник Иниссы. — Торговец, конечно, перерубил Марбоду меч, но знатный бесенок скорее умрет, чем признается, что его одолел торговец... Теперь они, конечно, сунули обломок в горн на дворе и кричат, что его оплавило волшебством Арфарры... Поистине — они готовы на все, лишь бы соблюсти свою честь, и не думают, как помогают такие слухи мне».

Закричала далекая сова, вздрогнули зеркала. Стало одиноко и страшно. Советник встал и, нагнувшись, прошел в темный чулан, где поскуливал на тюфячке Неревен. Стал осторожно гладить мальчика по голове; в конце концов ближе никого не было, мангуstu убили...

Неревен повернулся: два человека пожалели его сегодня — советник и чужеземец...

С утра король послал людей к Золотой Вершине. Судя по следам, ночью к отвесным скалам подскакали семнадцать всадников и пропали. Возвращались другим путем, а другого пути нет. Хаммар Кобчик, понизив голос, сказал:

— У Золотого Государя на скале, однако, пропала печать с пояса.

О Шакуник! Как же — пропала, когда выскоцилзнула и осталась — там!

Еще нашли следы заморского торговца, Бредшо. Он, действительно непонятно с чего, бродил в Мертвом Городе, а потом бежал тысячу шагов к храму Виноградного Лу, хотя никак не мог услышать с такого расстояния крики, если только у него не были заколдованы уши.

В час, когда сохнет роса, король с советниками сошел в серединную залу — золотой гранат, набитый зернами людей, и сел творить суд. Совершили возлияния; знамения были для правосудия благоприятны.

Самоличный суд всегда был одной из главных обязанностей короля аломов, но те ею, увы, частенько пренебрегали.

Варай Алом, однако, вот уже целый год почти каждое утро сидел под судебным деревом той области, которую посетил двор, и суд всегда был публичный, чтобы сразу иметь свидетелей и осведомлять людей о приговорах.

Предки короля раздали иммунитетные грамоты, запрещавшие доступ в поместья королевским чиновникам, но не самому королю, и теперь король ездил по поместьям и судил со справедливостью, присуждая к штрафам, смертям иувечьям, наводя страх на знатных и наполняя радостью сердца бедных. Хозяева поместий ругались, что конфискации и штрафы обогастили за последний год казну больше, чем походы.

Они преувеличивали. Когда-то деньги, собираемые со свободных за неприсутствие в суде, приносили даже больше, чем штрафы за убийства и грабеж, а теперь свободные научились от свободы избавляться. Крупный разбойник разорял чужую землю до тех пор, пока крестьянин не отдаст ее. Учинивший насилие бедняк опять-таки норовил продать свою землю могущественному человеку и получить ее обратно в пользование. Воистину, как говорит советник, одни утрачивают

свободу, чтобы защититься от насилия, другие — чтобы иметь возможность творить его безнаказанно.

Король слушал дела в необыкновенно дурном настроении. Советника Арфарры все не было. Истцы и соприсяжники бралились, изворачивались, благоговейно разглядывали роспись на потолке и лгали под сенью Золотого Дерева так же нагло, как и под священной сосной.

Перед глазами короля вставал недавний любимый дружиинник: родовое кольцо на цепких пальцах, глаза синие и злые, как море, красный волк на боевом шлеме, и дыхание коня — как туман над полями. И кровь с меча его, как багровый закат. Прав, прав советник: «Вы не на поединке! Вам не нужен противник, вам нужен образ противника!»

Киссур Ятун явился в полдень со свитой. Огляделся вокруг и сказал:

— Однако, какая красота! Многое можно простить советнику Арфарре за такую красоту.

Кречеты были, по наследству, членами королевского совета, но в знак неповиновения в нем давно не сидели, и Киссур встал у стены, окруженный вассалами.

Тут к нему подошел Белый Эльсил, боевой друг Марбода, и сказал:

— Я слыхал, что ты гадал на постороннем и никто, кроме тебя, постороннего не видел. И сдается мне, что это был не посторонний, а бес, который позавидовал Марбоду. Боги любят лгать из зависти! И уже не раз бывало с Арфаррай-советником, что род отсекал ветви за ветвью, чтобы его успокоить, и начиналось с того, что люди презирали род, а Арфарра потом род истреблял.

Киссур, однако, ухватился зубами за свой палец и ничего не ответил. Только через некоторое время промолвил:

— Однако что за привычки у чиновников империи? Приговоренные пришли, а палач опаздывает!

И действительно, советника Арфарры все еще не было.

Немного в стороне, у нефритовой колонны, обвитой узорами и изречениями, стоял господин Даттам. В детстве господин Даттам был простолюдином, и это он двенадцать лет назад затеял в империи восстание Белых Кузнецов. Вел он восстание как предприятие, где в графе расходов — десять миллионов человек, а в графе прибылей — императорская власть, и проиграл, поскольку законы войны не законы хозяйствования. Души у него было совсем на донышке, потому что какая душа может быть у человека, который в двенадцать лет вешал людей тысячами, словно виноградные гроздья на подсушку? О восстании тогда вышел покаянный манифест императора, и дядя Даттама из пророков стал наместником провинции, а самому Даттаму жизнь спас Арфарра, его соученик. Здешние сеньоры, руководствуясь местными обычаями, выводили из этого, что Даттам должен быть слугой Арфарры в этом воплощении и трех последующих. Те же, кто знал обычай империи, полагали, что у Даттама каменная печень и медная совесть и что самым большим врагом Арфарры является не местная знать, а храмовый торговец Даттам.

Так вот, господин Даттам, извещенный о готовящемся, тоже явился в залу и заметил там, как ни жался тот в угол, одного хуторянина, некоего Зана Дутыша, в желтом кафтанчике с изодранными локтями

ми и в конопляных туфлях. Тут Даттам понял, что Арфарра знает о Дутыше все, и велел принести ларец с бумагами, из-за которых вчера не спал; если Дутыш будет жаловаться сразу после суда над Кукушонком, лучше отдать и не связываться...

А Клайд Ванвейлен стоял окруженный горожанами. Главный интерес суда для горожан был такой, что вчера торговый человек утер нос знатному мерзавцу, а сеньоры тут же стали говорить, что это можно было сделать только колдовством. Точно такие же слухи распускались и о битве у Козьей Реки, когда «треты стали первыми». Стали, и вот как: первые два ряда рыцарей испугались и убежали, городская пехота пропустила их сквозь щели, врылась в землю острыми концами щитов и выиграла битву.

Горожане были люди рассудительные, колдовства не терпели. При Ванвейлене были адвокат и семьдесят два соприсяжника, готовых клясться вместе с ним, что Сайллас Бредшо не колдун и никакого колдовства не было. Что будет на суде — об этом горожане ничего не знали.

Наконец явился советник Арфарра.

Киссур Ятун и Арфарра-советник вышли перед королем и стали друг против друга, один — на яшмовом поле, а другой — на лазуритовом. Каждому под ноги положили стрелу-громотушку, чтоб они говорили только правду.

Киссур Ятун был в бирюзовом кафтане с золотым шнуром по вороту и рукавам. На пластинах боевого панциря были нарисованы пасти и хвосты, и такие же пасти и хвосты, только серебром, были на коротком плаще. Сапоги у него были высокие, красные, а рукоять меча и ножны отделаны жемчугом и нефритом. Арфарра-советник был в зеленом шелковом пальто, глаза у него были не золотые, а розоватые, и было видно, что всю ночь он не спал. Киссур Ятун поглядел в зеркало, усмехнулся и сказал соприсяжнику:

— Я одет достойно, как кукла на ярмарке, а он — скверно, как кукольник.

Тут Арфарра-советник заведенным чином начал обвинять Марбода Кукушонка в похищении и увечьях, нанесенных свободному человеку, послушнику Неревену.

Первым его свидетелем был Клайд Ванвейлен. Ванвейлен взял, как было велено, священный треножник и рассказал, как его друг увидел в храме разбой и поспешил на помощь. А кого, почему били — откуда им знать?

— А что он делал у храма? — спросил король.

— Шел молиться, — удивился Ванвейлен.

Король нахмурился. Вчера заморский торговец не был столь богобоязнен! Вспомнил следы: врет, на треножнике врет!

Тысячу раз прав советник: надо, надо искоренить нелепые суды, и соприсяжников, и судебные поединки, и ввести правильно словоговорение, с защитой и обвинением, с юридическим разбирательством и пытками.

А Киссур Ятун улыбнулся и сказал, как велела старая женщина:

— Вы, Арфарра-советник, ошиблись в обвинении! У меня есть семьдесят два соприсяжника, что король называл вас хозяином Неревена и мальчик носит на руке железное кольцо. Стало быть, он ваш раб, и нельзя обвинять моего брата в похищении свободного человека!

Тут Арфарра сказал, что Неревен — вейский подданный, а в империи рабов нет, а Киссур Ятун поглядел на бывшего наместника и сказал, улыбаясь:

— А я скажу, что в империи нет свободных.

Советник слегка побледнел.

А Киссур Ятун продолжал:

— А еще у меня есть семьдесят два соприсяжника, что Неревен не только раб, но и колдун. И в свидетели того я беру следы Сайлласа Бредшо, которого поволокло к храму с того места, от которого он не мог слышать происходящего. И еще другое колдовство было в этом деле, и свидетель тому — клинок моего брата, оплавленный, а не разрубленный.

Клайд Ванвейлен закрыл глаза и подумал: «Ой, что сейчас будет!»

А дядя короля, граф Най Третий Енот, наклонился к старшему сенешалю и зашептал, что Киссур Ятун, видно, решил драться до последнего, но все же придется ему сегодня уйти отсюда или без брата, или без Мертвого Города.

А король услышал, как они шепчутся, и ему послышалось: «Киссур решил драться до последнего, и, конечно, нам придется рассказать о разбитом хрустальном шаре».

Тут король, в нарушение всех приличий, подошел к советнику и спросил тихо:

— Что же, выбрали вы наилучшее время?

— Нет еще, — ответил Арфарра-советник.

Король вернулся на возвышение, взял в руки серебряную ветвь:

— Нехорошо королю брать назад свое слово, и если я называл мальчика рабом господина советника, — так тому и быть. А так как мальчик жив и здоров, то за посягательство на чужое имущество род Кречетов должен уплатить владельцу десять золотых государей. Есть ли еще обвинения?

Арфарра-советник посмотрел на короля, потом на Киссуру Ятуну, потом обвел глазами залу и сказал:

— Я не вижу смысла в других обвинениях.

Сошел со стрелы и сел на свое место в королевском совете. Най Третий Енот стоял рядом с королем на яшмовом поле, он сказал громко:

— Кто смеет говорить, что король привержен законам империи, где не различают господина и раба!

Это многие услышали.

А в дальнем конце зала на синем квадрате стоял хуторянин Зан Дутыш, в латаном кафтане с капюшоном и в конопляных башмаках. Он понурил голову и сказал:

— Если государь первым нарушает законы, — мудрено ли, что то же делают его подданные!

Его, однако, мало кто услышал, он повернулся и ушел.

А Киссур Ятун поклонился королю и потом подошел к советнику. В руках он держал шелковый мешочек, вышитый золотой гладью.

— Десять золотых государей, — сказал он, — такую цену заплатил бы горожанин или торговец. Наш род — старейший в королевстве, и мы платим пятьдесят золотых.

Тут Арфарра встал и с поклоном принял мешочек.

Дело было закончено. И многие поразились великоледущию, с которым король не стал поднимать вопрос о поединке.

Тут выступил вперед господин Даттам.

— Умоляю о милости,— сказал он и протянул ворох разноцветных бумаг.

Король листал бумаги. В первой речь шла о поместье Гусий Ключ, жалованном храму три года назад. Храм тогда же отдал поместье Зану Дутышу в лен. Теперь, судя по грамоте, храм уступал Дутышу поместье в полную собственность.

Во второй грамоте, писанной через день — надо же, как переменичив нрав покупателя — оный Дутыш продавал означенное поместье господину Даттаму. А в третьей грамоте, меченою следующим днем, Дутыш смиленно просил Даттама, чтобы земля, которую он продал вейцу и за которую, согласно свидетелям, получил сполна деньги, была отдана из милости Дутышу в пользование.

Кроме Гусьего Ключа, Даттам заплатил, судя по грамотам, еще за три поместья — и тут же, как человек, безусловно, щедрый, спешил даром раздать купленные земли.

Храм сам судил и собирал налоги на землях, пожалованных в пользование королем, и теперь Даттам умолял о милости — подтвердить это касательно земель, приобретенных им в личную собственность.

Король оглянулся на Арфарру, улыбнулся, подтвердил.

Когда кончился суд, многие подошли к королевскому советнику, и Ванвейлен, и Даттам, и среди прочих — наследник Белых Кречетов, десятилетний сын Киссера Ятана, проведший ночь в замке заложником. У Арфарры была одна беда: на лице его чувств не высказывалось, но, когда он сильно волновался, на лбу выступали капельки крови.

Мальчик встал перед советником, поглядел на его лоб и сказал:

— Однако Арфарра-советник недоволен королевской волей! А не он ли везде твердит, что воля государя — закон, а сам он — солнце и смертный бог!

Отец схватил его за руку и хотел было увести, но Арфарра-советник усмехнулся и сказал:

— Не считается в боях бессилием, что он не может грешить. И когда государя сравнивают с солнцем, то потому, что мир горит и оледенеет, если солнце перестанет ходить на небе по закону.

Помолчал и повернулся к его отцу:

— У меня, однако, к вам просьба. Два человека пострадали сегодня случайно, и один из них — заморский торговец Сайлас Бредшо. По закону о прерванном поединке любой ваш вассал может убить его, а поскольку Бредшо — человек посторонний, без родичей и мстителей, его убьют непременно. Откажись от мести!

Киссер Ятун был человек добрый и хотел было согласиться, но тут его сын воскликнул:

— Мы откажемся, а Арфарра-советник велит кричать у бродов и перекрестков, что торговец — победил Кречета, Марбод не выдержит и зарубит торговца — и опять нарушит закон!

— Род оставляет право мести за собой,— сказал Киссер.

Тут он повернулся и ушел, и большая часть людей ушла за ним.

А советник поглядел на Ванвейлена и спросил:

— Ну, что вы скажете?

— Десять золотых! — сказал Ванвейлен. — На



моей родине людей на сорта не делят и не продают, как говядину.

Тут Арфарра, бывший наместник Инисы, горько рассмеялся:

— Свобода, господин Ванвейлен, — это как яйцо на сеновале: отыскать трудно, а раздавить легко. Киссер Белый Кречет тоже прав.

А Даттам, королевский побратим и племянник наместника Варнарайна, сказал наставительно:

— Обычай, господин Ванвейлен, не меняют в один присест; и бывает так, что едва лишь укоренился привычка менять законы ради общего блага, как их тут же начинают менять во имя зла. Король полгода назад издал указ: за убийство своего раба человек несет кару, как за убийство чужого,— так граф Лух Черный Ворон рубил на глазах у гостей золотой кувшин и кричал: «Не угодно ли королю судить меня за этот кувшин, как за кражу чужого добра!» Думаю, сейчас королю надо строго соблюдать свои же законы о рабстве.

Многие засмеялись, потому что Даттам говорил об обычаях, передразнивая Арфарру, и законы были не короля, а Арфарры.

Даттам пошел прочь, и так получилось, что все люди вокруг пошли с Даттамом.

А Клайд Ванвейлен все еще стоял лицом к лицу с советником. Он спросил:

— А второй человек — это кто?

— Зан Дутыш.

— А кто это — Зан Дутыш?

Советник ответил бесцветным голосом:

— Люди Даттама убили его девочку, пяти лет. Прокололи лодыжки и повесили, пока Дутыш не подпишет дарственную. Дутыш подпись, а девочка все равно возьми и умри...

— Господи! — тихо сказал Ванвейлен. — Но ведь Даттаму за это...

— А где доказательства,— спросил советник,— что Дутыш не сам убил дочь?



Ванвейлен вытаращил глаза.

— Вы что, не заметили, — спросил советник, — как часто крестьяне убивают детей, особенно девочек? Свиньям скормят, во сне придушат, утопят... Даттам скажет: он и от лишнего рта избавился, и еще денег хочет.

И, не меняя тона, советник спросил:

— Что вам предложил Кукушонок в подземном храме?

Тут Ванвейлен оглянулся и увидел: сто больших полей и в каждом — сто малых, колонны, ярма и зеркала, огромный купол, и под этим куполом — они совсем одни с Арфаррой.

Ванвейлен ответил:

— Он мне предложил искать вместе волшебный меч Ятуна.

— Почему вы отказались?

Ванвейлен хотел ответить: «Потому что волшебным мечом ни заколдованного леса, ни пропавшего города не расколдуешь, да и не хочет Кукушонок их расколдовывать», — но промолчал и сказал:

— Я — посторонний.

Советник усмехнулся.

— Вы посторонний, но вы вчера очень сильно мне помешали.

— В чем?

Арфарра осклабился страшно и ответил:

— Откровенно говоря, в вещах не лучших, чем те, что Даттам проделал с Заном Дутышем.

Тут, однако, рядом опять появились монахи и горожане, и Ванвейлен сообразил, что советник сидит и разговаривает с ним потому, что ему трудно самому встать с кресел.

Он хотел было протянуть ему руку, но по прощальном кивку Арфарры понял, что тот не нуждается, чтобы встать, в посторонних.

Вечером маленький послушник Неревен явился в женские покой. Там было полно разноцветных гостей. Девицы затормошили Неревена:

— Тебе поневу надеть — будешь как девушка.

Наконец королевна, Айлиль, усадила Неревену петь и похвалила песню. Тут уж Неревену показалось, что резные птицы на ларях плещут крыльями от счастья, и страшная боль от побоев Кукушонка прошла, и небо стало мило, и земля хороша, и чужой мир неплох. Маленький послушник смотрел на Айлиль, и душа его дрожала, как яйцо на кончике рога. Разве пустили бы его в империи в женские улицы во дворце?

Пили чай со сладостями, играли в резаный квадрат и в прятки.

Но в прятки играли недолго: Айлиль сказалась нездоровой и отпустила всех. Когда Неревен выходил из голубой залы, его нагнала напудренная служанка и передала шелковый отрез, намотанный на палочку, чтобы заткнуть за пояс.

Это был не подарок гостю, это была плата рабу, и Неревен понял, что ему бы не заплатили, если бы сегодня утром закон не признал его рабом.

Марбод Кукушонок стоял под окнами женских покоя. Ночь была дивно хороша, далеко внизу токовали глухари, и луна Ингаль была узкая, как лук, обмотанный лакированным пальмовым волокном.

На Марбоде Кукушонке был синий шерстяной плащ королевского стражника, а под плащом — белый кафтан с пятицветной родовой вышивкой.

Рядом, у столетних сосен и кипарисов, начиналось болотце. В болотце, меж ирисов и опавших сливовых лепестков, квакали лягушки, и из окон доносилась мелодия, такая тихая, что было ясно: играла сама Айлиль.

Марбод заслушался, а потом полез на сосну, стараясь не измять темно-лиловых цветов глициний вокруг ее ствола.

Марбод глянул на освещенные окна, поблагодарив в душе советника Арфарру за цельные стекла вместо промасленной бумаги. Песню опавших лепестков пел маленький негодяй Неревен, а королевна слушала и играла расшитым поясом. Ах, как она была прекрасна! Брови — как летящие бабочки, и глаза, как яхонты, и жемчужные подвески в ушах — как капли росы на лепестках айвы, и от красоты ее падали города и рушились царства.

Ибо знатный человек сжигает из-за дамы города и замки. А простолюдин даже хижину сжечь поскупится.

Шло время. За окном стали играть в прятки. Марбод выждал, пока Айлиль досталась очередь водить, и бросил в золоченую щель камешек, обернутый бумагой. Айлиль, побледнев, стала вглядываться в темноту.

Марбод соскользнул с дерева и затаился в густых рододендронах. Айлиль все не было и не было. Марбод проверил, чтобы складки плаща не мешали дотянутся до меча.

Айлиль показалась на тропинке одна. Марбод спрятал меч, скинул плащ лучника и, взяв ее за руку, тихо увлек под дерево.

— Ах, сударь, — сказала Айлиль, — все уверены, что вы бежали...

— Ах, сударыня, — возразил Марбод, — я скроюсь куда угодно, чтобы вы могли без помех слушать, как поют маленькие послушники.

Айлиль нахмурилась. О ком он говорит? Об игрушке? Рабе?

— А я-то мечтал,— сказал Марбод,— надеть на луну пояс, послать отца с деревянным гусем.

Девушка заплакала.

— Из-за какого-то торговца,— сказала она.— Ну почему, почему вам понадобилась эта шутка с мангустом!

— Как почему? — удивился Марбод.— Потому что я ненавижу Арфарру.

Девушка стояла перед ним, и губы ее были как коралл, и брови, как стрелы, пронзали сердце, и оно билось часто-часто. Марбод наклонился и стал ее целовать.

— Ах, нет,— сказала Айлиль.— Я боюсь Арфарры. Он чародей и все видит и слышит, и язык у него мягкий, как кончик кисти.

Марбод усмехнулся про себя. Арфарра не чародей, а бывший наместник Иниссы. Покойников из дворца выгнали, а старые тайны империи остались.

— Слышиште, как токуют глухари в Лисьих Болотах? Им нет дела даже до охотников. Что мне за дело до Арфарры?

Королевна возразила:

— В будущем году Арфарра осушит Лисьи Болота, и не станет ни глухарей, ни охотников.

Они молчали и слушали ночные шорохи.

— Неужели все из-за одного коня? — грустно сказала Айлиль.

Марбод вздохнул, подумал о буланом Черном Псе. Конь был так красив, что сердце едва не разрывалось, и все вокруг смеялись: король-де пожалел для Кукушонка коня по совету Арфарры.

— Что такое Арфарра? — пожал плечами Марбод.— Черный колдун. Черный — от слова «чернь». Он слаб и хочет, чтобы слабые попирали сильных. Хочет, чтобы верность и равенство исчезли и чтобы должности во дворце занимали рабы, потому что рабы будут целиком от него зависеть.

Айлиль подумала о государыне Касии, простой крестьянке.

— Ах, сударь,— сказала она.— Вы напрасно презираете колдовство слабых. Женщинам иной раз больше видно, чем мужчинам. И проповедники Ятуна недаром говорят: «Слабые рушат города и наследуют царства». Как же получилось,— с упреком сказала Айлиль,— что вас победили в поединке?

Марбод, скжав губы, показал обломок меча:

— Колдовство Арфарры. Так не рубят сталью сталь.

Девушка провела пальцем по оплавленному срезу и кивнула, хотя мало что понимала.

Марбод завернулся в плащ королевского лучника, перемахнул через садовую стену, смеялся с праздничной челядью и без помех прошел через замковые ворота. Никто даже не обратил внимания, что стрелы в колчане с белым оперением, без положенной черной отметины.

Марбод шел Мертвым Городом, осторожно оглядываясь, но никто за ним не следил. Только раз мелькнула чья-то тень, слишком большая для перепелки и слишком маленькая для человека. Марбоду показалось, что то был призрак убитого им проповедника — ржаного королька. Он тихонько вытащил из колчана заговоренную стрелу, но тень пропала.

Впрочем, вряд ли тень ржаного королька стала бы бродить в этих холмах. Город недаром назывался

мертвым: вот уже триста лет как короли свозили в Ламассу головы побежденных противников, чтобы удача и счастье покойников перешли на землю победителей.

Марбод тихо крякнул. Из-за свежего кургана герцога Нахии выскоцил и присоединился к Марбоду человек в городском кафтане. Марбод провел весь вчерашний день в маленькой усадьбе у городских стен, принадлежащей одному из мелких вассалов рода, пожилому Илькуну. Илькун хлопотал, не зная, как угодить хозяину.

Теперь Марбод и Илькун шагали по дороге между живых могил, глядя на городские стены далеко внизу, освещенный залив, где качался корабль торговцев. Марбод вновь вспомнил о разрублении клинке Остролиста. У него померкло в глазах. С тихой мольбой он ухватился за шитую ладанку на шее. В мешочеке была пестрая колючая раковина — личный его бог. Раковину он не унаследовал, не получил в дар и не купил — просто нашел. Сидел в засаде на морском берегу и подобрал на счастье, заметив, что колючие завитки закручены не влево, а вправо. Засада была удачной — Марбод оставил себе красивого божка.

Спутник его заметил движение и сказал:

— Я так думаю, что меч погиб не по воле короля, а по злому умыслу советника.

Марбод кивнул. Может быть, и так. Правильно, однако, сказал Белый Эльсил: «Ты еще пожалеешь, что не убил чужеземцев».

— Господин,— сказал верный Илькун, указывая на далекий освещенный залив.— Ваш обидчик сейчас на своем корабле. Прикажите мне отомстить...

В маленьком доме у городских ворот хозяин хлопотал, уставляя стол лучшими блюдами.

— А где Лива? — спросил он служанку. Лива была дочерью Илькуна.

Служанка смутилась. Илькун вскочил и выбежал в соседнюю комнату.

— Никуда ты не пойдешь,— услышал Марбод через мгновение за перегородкой.— Господин в доме — женщина должна служить ему за столом и в комнатах.

Марбод отставил чашку и шагнул в соседнюю горницу. Девушка стояла перед отцом в дорожной одежде, в белом платке на голове. Марбод усмехнулся. Он еще утром по преувеличению простой одежде и не приятной скованности догадался, что она ходит слушать ржаных проповедников.

Что до ржаных корольков, то с ними у рода Белых Кречетов были особые счеты. Дело в том, что последний король из рода Белых кречетов, видя свое воле сеньоров, от отчаяния перестал заниматься войнами и судами, а предался изучению конечных вещей, то есть вопросов веры. Он долго решал и решил наконец, что Бог — один, а все прочие боги суть его атрибуты и качества. Сеньоры было согласились, но вскоре выяснились некоторые богословские подробности. Оказалось, что есть боги истинные, а есть боги ложные, и список ложных родовых богов совпал со списком непокорных родов. Сеньоры обиделись, что король лезет пальцами им в душу, и кончились тем, что короля завернули в ковер, да так в ковре и приудишили. Господин Даттам, который в молодые годы сам баловался чудесами и, бывало, с помощью наполненного паклей орешка изрыгал огонь из рта, выразился

о нынешних ржаных корольках так: «Удивительное дело! У короля не хватило силы навязать свою веру огнем и мечом! Короля убили, семью вырезали, храмы сожгли... А теперь шляются оборванцы и хотят убедить народ в том, в чем его не смог убедить сам король! Учат: сеньор не угоден богу, купец не угоден богу, мир не угоден богу, одни праведники угодны... Да зачем же бог его создал? Ходят странники и нищие и учат, что не спасешься, пока не раздашь все свое добро странникам и нищим...»

Что до Кукушонка — тот считал, что корольки позорят его родового бога, и не далее как месяц назад засек боевой плеткой одного из их проповедников прямо на глазах Ванвейлена. И чужеземец от этого зрелища так раскудахтался, что дружинникам Кукушонка пришлось потыкать его рожей в лужу, слuchившуюся неподалеку. Это дело привело к недоверию между Кукушонком и чужеземцем.

Марбод снова накинул плащ и взял в руки лук.

— Сегодня праздничный день, — сказал он, — но все равно нехорошо бродить по городу одной. Я был бы счастлив сопровождать вас.

Марбод и Лива, держась за руки, прошли через город, спустились в заброшенную гавань и влезли в какую-то дыру меж цветущих рододендронов. «Бывшие портовые склады», — догадался Марбод.

Люди молча собирались в подземелье. Нанковые кафтаны, козловые башмаки... Марбод вспомнил слова Айлиль и усмехнулся. Белый кречет и тот не одолел мангусту. Что может сделать с мангустой ржаной королек, птичка-помойка? Хоть рабов тут не должно быть много. У порога второго зала люди скидывали верхнее платье. Высокий человек, с лицом, сморщенным, как персиковая косточка, перевязывал каждого широким белым поясом и подавал каждому мутную одинаковую ряску.

Марбод глянул в лицо привратника и слегка побледнел: тот был слишком похож на проповедника, убитого им две недели назад.

Марбод хотел надеть ряску прямо на плащ королевского лучника, но ему жестом приказали снять верхнюю одежду. Марбод чуть усмехнулся и отогнул роговые застежки.

Кто-то за его спиной сдержанно ахнул, глаза привратника-двойника чуть расширились. Марбод не успел переодеться после встречи с Айлиль: белый кафтан с пятицветным шитьем, легкий лакированный панцирь, на широком поясе — кинжал в золотых трехгранных ножнах и справа — Марбод был левшой — руковать мечом, перевитая жемчугом.

Даже если привратник не знал его в лицо, он должен был признать по одежде младшего сына Ятунов.

Привратник молча обернулся его белым поясом. Марбод поклонился, поцеловал протянутую ладонь. Привратник не шелохнулся, только поглядел на руки самого Марбода: на большом пальце блеснуло нефритовое кольцо с головой кречета. Родовое кольцо младшего сына Ятунов. Кольцо носили, чтобы удобнее было оттягивать тетиву лука, — Марбод всегда был чудесным стрелком.

Марбод завернулся в белый конопляный балахон и переступил через порог.

Время шло. Комната наполнилась людьми и свечами. Укращений никаких, кроме известковых наростов на стенах бывшего склада. Ржаные корольки не при-

зывали идолов; как заключить в кусок дерева того, кому весь мир мал?

Бывший привратник закрыл дверь и вышел на середину. Начались пения. Марбод хотел пройти поближе, но Лива с неженской силой вцепилась ему в руку и притиснула к стене.

Все было чинно и скучно, никто не собирался творить блуд и пить собачью кровь: вздорные слухи. Марбод приглядился. Великий Ятун! Сколько рабов!

Подошло время проповеди. Привратник велел просят Бога, чтобы тот даровал людям то, что сам сочтет нужным. «И если угодна тебе милость, даруй нам ее, а если угодны страдания — умножь их. Ибо нашу пользу Ты знаешь лучше нас».

И стал рассказывать притчу.

Некий добрый человек, спасавшийся в пещере, ночью был разбужен огнями и криками; это разбойники убивали крестьян. «О Господи, — возроптал пустынник, — если Ты все благ, как же Ты допускаешь гибель невинных?» — И пошел прочь с того места. Господь послал ему спутника — Милосердие. Вот пришли двое путников к мосту и встретили там мужа весьма святого. Поговорили. Прошли они мост, и тут отшельник видел: его спутник взял и толкнул святого в реку. Тот упал и утонул. Отшельник смолчал.

На ночь они остановились в бедном доме, и хозяин поделился с ними последним куском хлеба. Спутник же, уходя, взял единственную серебряную чашу в доме и унес ее с собой. Отшельник и тут смолчал. Следующую ночь провели они в доме, где хозяин встретил их бранью и послал на сеновал. Спутник же вынул из-за пазухи чашу и оставил ее дурному хозяину. Тут отшельник не выдержал и хотел спутника зарезать:

— Ты, верно, бес, люди так не поступают!

Тогда спутник его сказал:

— Я не бес, а свойство Господне. Узнай же, что серебряная чаша, которую я украл, едва не споила своего прежнего хозяина и была причиной его бедности. А богач, которому я ее отдал, впадет из-за нее в смертный грех и окончательно погубит душу.

— А проповедник, которого ты убил, — возразил отшельник, — в чем же он-то был грешен?

— Он и вправду был безгрешен, — отвечал ангел. — Но пройди он еще несколько шагов — и пришлось бы ему случайно убить человека и погубить свою душу. А сейчас он спасен и подле Господа.

Посему, заключил проповедник, не стоит роптать на пути Господа, одному ему ведомо все. И не стоит гордиться, ибо всякий гордец только меч в руках Господа.

«Лучше б он меня убийцей назвал, — подумал Марбод, — чем мечом в чужой руке».

Когда проповедь кончилась, все вышли в первую пещеру, составили длинные столы, разложили семь видов злаков и простоквашу. Белые балахоны сняли, а пояса оставили.

Рядом с Марбодом сел толстый лавочник в нанковом казакине.

— Отец мой, — спросил он, тяжело дыша, — а как с имуществом? Иные говорят: все раздай. Стольких, говорят, убиваешь, сколько могло бы кормиться от твоего излишка...

— Ересь, — коротко ответил привратник. — Пользуйся добром по совести, и все. Господь — наш верховный сеньор и жаловал нам имущество в пользование для нашего же блага. И грехом было бы обмануть

доверие сеньора и присвоить пожалованное в собственность и злоупотребить им. Потому-то, — продолжал монах, возвышая голос, — неугодны Господу грабежи и убийства, жадность, мошенничество, хищничество, чужеядство и страсть к насилию и чужому имуществу.

Слова проповедника были пустыми, а от самого человека шла та же страшная сила, которую Марбод чувствовал в королевском советнике и которая злила его больше, чем все, что Арфарра делал и хотел.

Марбод разозлился и сказал:

— Если я не буду отнимать и грабить, как же мне прокормить дружину? Если не показывать силу, кто же пойдет за мной?

Привратник в белом молча смотрел на него и на нефритовое кольцо с кречетом. Марбод стукнул кулаком по столу.

— Мне, — сказал Кукушонок, — плохо, что я убил твоего родича. Он мне снится. Никто не снится — этот снится, ходит и к горлу тянет. Я сжег барана — чего ему еще от меня надо?

Все сидящие за столом притихли, а монах все смотрел и смотрел.

Марбод прикрыл кольцо на пальце другой рукой.
— Я не отрекусь от родовых богов!

— Не надо отрекаться от родовых богов, — молвил монах, — истинные боги — лишь атрибуты и качества Единого. — Тут он ухватил шнурок на шее Марбода и вытащил из мешочка пустую раковину. — А вот бесы! — закричал он.

Марбод потом думал, что ничего бы страшного и не произошло, отбери он раковину, но Марбод только закрыл глаза и услышал, как раковина захрустела под деревяным башмаком.

Тут же закричали снаружи, и в конце залы замахали руками сторожа. Людей сдуло, как золу с обгоревшего пня, куда-то в чрево храма. Марбод оттолкнул проповедника, подхватил лук и стрелы и выскочил из пещеры.

Из заброшенной беседки на краю бывшего пруда Неревену было хорошо видно, как Марбод гладил Айлиль и мял ее платье, а о чем они говорили — слышно не было. «Жалко, — подумал Неревен, — что шакунников глаз есть, а шакункова уха нет». Марбод Кукушонок перемахнул через садовую стену, а Неревен бросился напрямик, через замок, к открытым южным воротам.

Если бы не шакунников глаз и не лунная ночь, Неревен наверняка упустил бы Кукушонка.

Теперь же Неревен лежал за кустом и глядел в чепаюю трубку на две фигурки, в синем плаще и в серой епанче, спускающиеся к городу. И опять разговора не было слышно — слышно было только, как шевелится трава да ворочаются под ней знатные мертвцы. Неревен вытащил из-за пояса подаренный ему отрез шелка, поглядел на трехцветный узор и едва не заплакал от обиды.

Марбод и его спутник скрылись в домике у городских стен на берегу реки. Неревен побежал за ними, обошел крепкий тын, разобрал заклятие на воротах. Он уже совсем собирался уходить, когда калитка скрипнула, и в ней показался Марбод с какой-то женщиной.

Неревен тихо последовал за ними сквозь толпу и костры на городских улицах.

Через час Неревен сидел за столиком на освещенной лодочной веранде и пил чай. В голове у него все прыгало. Марбод Кукушонок — на радении ржаных корольков? Великий Бужва! Да от такой новости у него вся дружина разбежится!

Неревен украдкой косился вправо. Там, через два стола, сидели трое со знаками городской охраны и пили вино. Смазливая служанка принесла новый кувшин и с ним подала записочку. Молодой охранник жадно схватил ее, развернул; Неревен замер. В анонимной записке сообщалось: так, мол, и так, нынче в нарушение законов страны ржаные корольки собирались в Охряных Складах.

Охранник прочитал записку, захочотал и кинул в очаг.

Неревен вздохнул и незаметно вышел.

Вот представить себе, что в империи заведется такая ересь: налоги не плати, власти не служи, казенным богам не кланяйся. Какое государство ее потерпит?

Но увы: королевство — не государство. Указ есть — исполнителей нет.

Разве это охранники? Это ж добровольцы, по жребию выполняют гражданский долг. Бесплатно. А за бесплатно кошку ловят не дальше печки. Разве ж побегут добровольцы из освещенной лодки ловить тех, кого они не ловят в будни?

Неревен шагал по праздничной гавани. Кругом плясали и пели. Над освещенными лодками, как над курильницами, вились вкусные дымки. Меловые горы с той стороны залива были как белые ширмы с вышитыми кустиками и надписями, и далеко-далеко в глубине, прямо напротив заброшенных складов, качался заморский корабль с картинки. У кормы его лежала в воде луна Галь.

От заморского корабля отошла большая лодка и поплыла к освещенному берегу. Корабль опустел.

Неревен шел мимо лодок, заглядывая на веранды.

Воровской цех в городе был всегда, а сейчас, когда король отпустил грехи всем новопоселенцам, разросся необычайно. Кроме того, в городе было полно паломников к празднику Золотого Государя. А паломники — дело страшное: сплошь убийцы и воры. Мирской суд присуждал их к паломничеству во искупление грехов, а они грешили по пути по-старому: все равно за сколько грехов платить.

У пятой лавки Неревен приостановился. Высокий белобрысый парень с мешком за плечами прошел на веранду. Хозяин приветствовал его, как родного.

— Добро пожаловать, — сказал хозяин. — Моя лавка — твоя лавка, требуй чего угодно!

Парень поставил мешок под ноги, достал из него кувшин и осведомился о цене вина.

— Для вас — бесплатно, — поклонился хозяин и стал наливать. — Удовольствие не в цене, а чтобы доставить удовольствие вам. Платите, сколько пожелаете.

Хозяин налил вина и зачем-то отвернулся. Парень мигом сунул кувшин в мешок и вытащил оттуда другой, такой же, который и поставил на прилавок.

— Сдается мне, — сказал парень, — что десять грошей не обидная цена.

— Десять грошей, однако, — сказал хозяин. — Во всей Ламассе ты и за пятьдесят такого не купишь!

— А мне говорили, что зять твой, Розовый Мешед, такое вино за пятнадцать грошей продаёт.



Гошко В. 1990

Актеры. Холст, масло.

Валерий ГОШКО
г. Москва



Несущая плоды. Темпера.

Среда творчества художника — мастерская. А все остальное, окружающее, как бы подвластно ему, кровно связано с ним воедино фантастическими узами и словно одушевлено им, обретает его тепло, душу. Мастерская Валерия Гошко, куда спускаешься вниз по ступенькам, небольшая. Главное — мольберт, стол с кистями и красками, штабель, где лежат акварели, графические листы и холсты. На стенах — гравюры, старые ключи различной формы, бронзовая скульптура на секретере, гипсовые слепки.

Образность Валерия Гошко неоднозначна. Тяготение к волшебной сказке, притче, некоему карнавально-сценическому действу было всегда присуще ему. Часто будничные события приобретали аллегорический смысл, сближающий их со сферой духовной. Житейская банальность достоверных деталей, использование различных специфически театральных атрибутов: маскарадный костюм, буффонада, декорации и манекен, — усиливают элемент фантастического. Однако это не утопическая фантастика, реальные вещи остаются таковыми. Их всегда при желании можно перенести



Натюрморт. Холст, масло.

обратно в жизнь, в этом реальность вещей. И все персонажи художника наполнены жизненной теплотой и энергией. Для Валерии Гошко важно именно «конкретное», «частное», «реальное», «образное», «чувственное».

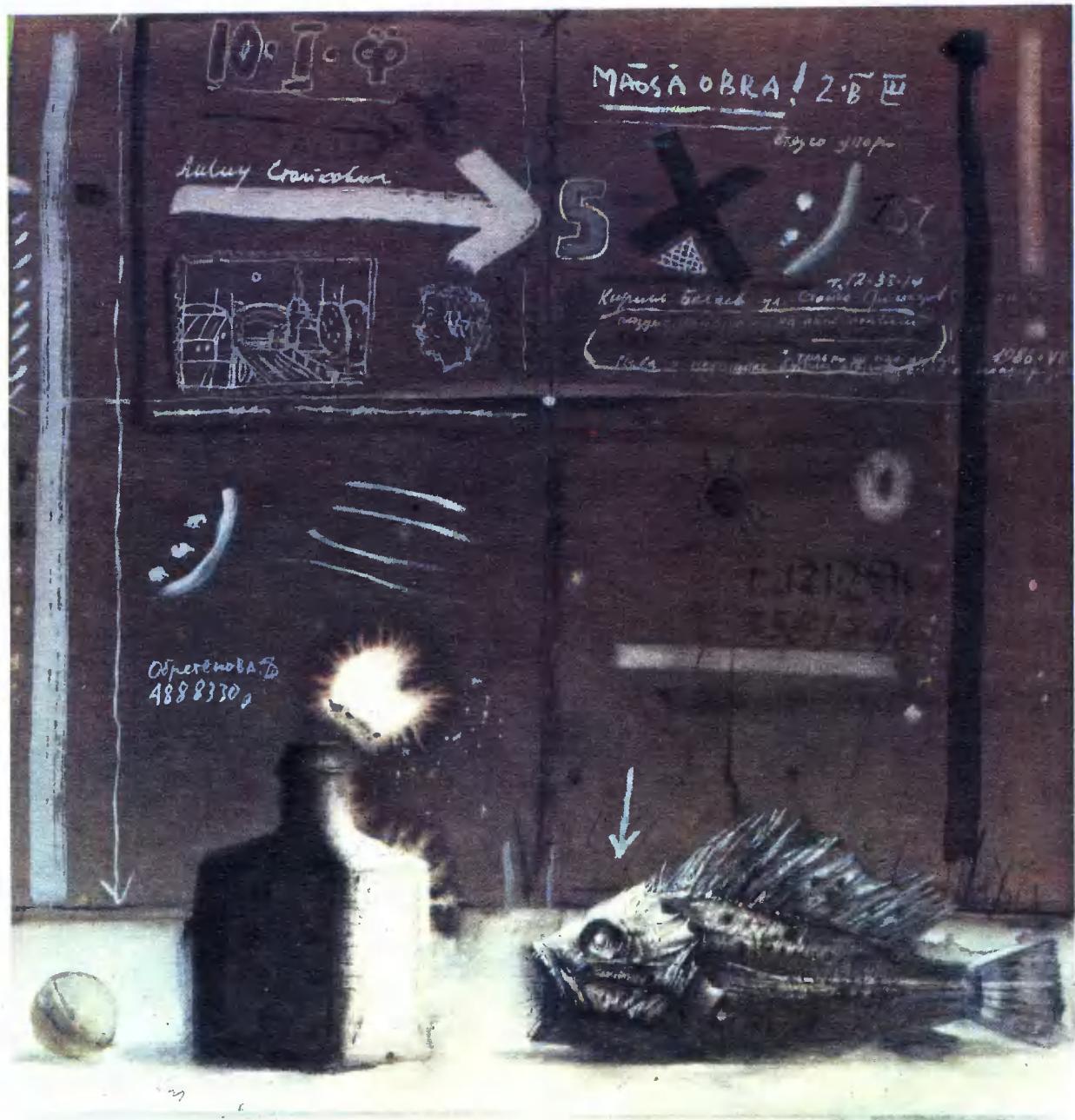
Очевидно, сохраняется традиционная склонность к тематике, почерпнутой из литературы: русской классики, античности, фольклора. Создавая свой образ, Валерий апеллирует и к литературным ассоциациям зрителя. Характер авторской мысли выражается и в пространственной архитектонике, изобразительных метафорах, стремлении преодолеть ограничения, навязанные рамой и плоскостью холста. Работают реальность, память и воображение. В полотнах Валерия Гошко присутствует лирическое философское раздумье, а порой даже едкий сарказм. Персонажи наделены обилием нюансов и оттенков авторского отношения. Художник переносит смысловой акцент на деталь. Так, в его работах обязательно присутствие натюрморта: вазы, фрукты, рыбы. Они появляются в самом неожиданном месте — на шляпке дамы, как главный штрих прически. Здесь действует принцип соче-

тания привычного, обыденного, с необычным и странным, иногда даже ирреальным.

Надтреснутый гранат и рыба присутствуют почти в каждом сюжете, обретая характер талисмана художника. Валерия Гошко увлекает также процесс игры с цветовыми градациями, разнообразием и богатством фактур. Но автор не переходит грани самолюбования вещью.

Он нередко вводит в свою композицию надписи, обрывки слов, буквы и цифры, а иногда весь фон как задник, заполненный записями. Это существенно осложняет общую тематику произведения. Похоже на обрывки мыслей, чувств. Здесь слово превращается то в декоративный узорчатый орнамент, то в знак зафиксированной даты, момента времени, не реализованной идеи. Это очередной диалог со зрителем.

Татьяна ЗУЙКОВА



Адреса. Акварель.

— Слушай, парень, — сказал хозяин лавки, — ты кто такой? Ты чего почтенных людей оговариваешь? Цех не велит брать дешевле, чем по сорок пять.

Вышла ссора, на которую парень и нарывался. «Себе в убыток торгую!» — кричал торговец. «Воры вы все, воры!» — визжал парень. Собрались слушатели.

— Ты платить будешь? — спросил торговец.

— Лей вино обратно! — распорядился парень.

Продавец со злостью выплеснул кувшин в бочку, парень, взмахнув мешком, выскочил из лавки.

«Гм», — подумал Неревен и через две минуты вошел вслед за парнем на пеструю плавучую веранду.

Парень вертел кувшин так и этак перед пьяной компанией и рассказывал, давясь от хохота.

— А что в другом кувшине-то было? — спросили его.

— Уксус, — засмеялся тот.

Большая лодка с чужеземцами подходила к пристани.

— А что это? — громко удивился Неревен. — Смотрите, заморские купцы все съехали со своего корабля. И с магистратами.

— Гражданство отмечают, — зло сказали рядом. — Вчера лаялись, сегодня помирились. Богач с богачом всегда договорятся.

Неревен глянул: визгливый голос принадлежал человеку, похожему на пузырь, без ушей, без носа, и кафтан бархатный, но грязный.

— Гражданство, — разочарованно протянул Неревен. — Да уж, теперь им нечего бояться. Да и вору-то слабо в самый канун заповедного дня на корабль залезть. Опять же — охрана в гавани.

Человек-обрубок со злостью плюнул в сторону харчевни с магистратами и торговцами.

— Это кто же воры? — встрепенулся он. — Богач бедняка законно грабит, а возьмет бедняк свое на зад — так уши рвут.

Человек-обрубок заплакал. Он явно был пьян. Сосед его наклонился к Неревену и шепнул:

— Выгнали его сегодня с работы — вот он и бесится.

Неревен вздохнул. О богачах вообще-то человек-обрубок рассуждал правильно. Только вот уши у него были неправильные.

— Да, — сказал Неревен. — Говорят, весь корабль завален золотом. Разве можно такие деньги добывать честным путем?

— Колдовское золото, — горько сказал кто-то. — А его если не дарить добровольно — пеплом станет.

Неревен сцоцурись:

— То-то и удивительно, что не колдовское. Сегодня в королевском суде их набольший на треножнике клялся, что не умеет колдовать.

Лодка покачивалась, ночь продолжалась.

Скрипнула дверь, на веранде показался еще один человек: желтый кафтан, бегающие глаза. Пристроился к честной компании, поманил пальцем «айвовый цветочек». Девушка, улыбаясь, села ему на колени.

— Слыши, Джад, — сказал человек-обрубок, — а заморские торговцы, оказывается, не колдуны.

— Пьян ты сегодня, Половинка, — сказал тот.

Прошло столько времени, сколько надо, чтобы сварить горшок каши. Половинка и Джад куда-то исчезли.

Неревен выбрался на верхушку веранды и стал

смотреть в шакуников глаз. Заморские торговцы сидели в ста шагах, меж вышитых столиков, пили вино с городскими чиновниками и смеялись. Вдали, на волнах в серебряной сетке, качался темный корабль.

Но, как ни вглядывался Неревен, никто к кораблю не плыл. Безумная затея сорвалась.

Неревен уже было повернулся уйти, но тут один из купцов вскочил и стал вглядываться в темноту. И тут же с корабля что-то вскричало, полыхнуло — в серебряную воду с визгом катились две тени.

На берегу всполошились. Неревен бросился вниз, к гавани. Вот теперь, ища воров, лавочники каждый куст оглядят. Десять ишевиков стоил утром Неревен. Чего будет стоить Кукушонок, застигнутый среди ржаных корольков?

И все же, чего испугались воры на корабле? Почему заморский торговец заметался раньше общего переполоха?

Марбод выскочил наружу и оглянулся.

Сверху грузно спрыгнул человек.

— Попался! — И тут же глаза горожанина от удивления расширились: на белом вышитом кафтане он разглядел белый пояс ржаных корольков. — Эге! Да это Марбод Кукушонок! — вскричал он удивленно и сел без головы в кусты.

На дороге замелькали факелы.

— Держи вора!

Марбод, освещенный луной, бросился вверх по склону холма. Пояс он оборвал и намотал на руку, но бросить не мог. Тот был широк, как простыня: заметят и поднимут. «Поймают меня с этой дрянью в руках!» — в отчаянии думал Марбод.

Марбод взбежал на холм. Он надеялся поспеть к городским воротам раньше преследователей. Но было уже поздно: оттуда бежали наперевес. Марбод кинулся вправо. Чуть поодаль, на краю утеса, под сосновой темнела кумирня. Марбод вкатился в домик.

В кумирне был только деревянный идол.

За тыном закричали:

— Выходи! Скоро прилив!

Марбод чуть приоткрыл дверь, упер кончик лука меж рассохшихся половиц, выбрал из колчана две стрелы с белым оперением и выпустил их одну за другую. Звякнули и погасли два разбитых фонаря.

— А ну, — насмешливо закричал Марбод, — кто наденет кошке на шею колокольчик?

Горожане забились за тын.

Марбод вернулся в кумирню и осмотрелся. Перед идолом стояли погасшая масляная плошка, кувшин с бузой и черствые подовые лепешки. Марбод вспомнил, что ужасно голоден, схватил лепешку и, жуя ее, вышиб из задней глухой стены доску. Далеко внизу лежала гавань. Было время предутреннего отлива, у подножия обрыва торчали белые головки скал.

Марбод подумал и вернулся к двери. Он выбрал из колчана гудящую полую стрелу, обломал у нее хвост и наконечник. Длинный пояс ржаных корольков он положил перед собой.

Шло время. На рассвете прискакал стражник из ратуши и закричал:

— Чего ждете? Поджигайте и хватайте, когда выскочите!

Первые горящие стрелы воткнулись в соломенную кровлю.

Когда огонь спустился пониже, Марбод скормил

ему пояс ржаного королька. Выждал, пока хижина занялась, распахнув ногой дверь и появился на пороге.

— Сдавайся! Сгориши! — закричали ему.

Марбод оскорбительно засмеялся:

— Чтоб меня лавочники водили, как перепела на поводке!

Марбод вытащил кинжал и с силой всадил его себе в грудь. Горожане страшно закричали. Марбод опрокинулся навзничь, откатился внутрь и бросился, задыхаясь и кашляя, к задней стене. Гнилые доски захрустели под ударами сапога. Здание уже пылало вовсю. Марбод посмотрел вниз. На небе было совсем светло, белые головки скал скрылись под высоким приливом. Затрещали балки, загорелся левый рукав платья. Марбод прыгнул.

Он ударился о подводный камень, но все-таки выплыл. Убедился, что его никто не видел, снова нырнул и поплыл, выставив из воды полую стрелу.

Через два часа он, никем не замеченный, добрался до усадьбы Илькуна, перелез через забор и только за забором свалился.

У горящей кумирни всадник из городского суда напрасно вертелся и предлагал награду тому, кто вытащит труп из огня. А когда пламя унялось, выяснилось, что сгорело все начисто: и стены, и циновки, и идол, и самый труп. За кости обещали двадцать золотых государей, их искали долго и старательно. Нашел кости уже после полудня один из ополченцев, принадлежавший, между прочим, к цеху мясников.

Кости сложили в мешок, привязали мешок к трупу убитого на пристани молодого стражника и торжественно понесли к городской ратуше на суд.

Когда процесия уже скрылась в городе, к воротам подскакали пять дружиинников Марбода со слугами. Нападения в городе ждали. Обнаружив закрытые ворота и стражников на стенах, воины повернули в гавань, сожгли несколько увеселительных лодок с обитателями и поплыли к заморскому кораблю. В воде их всех и застрелили.

Городские магistrаты смотрели на это с башни ратуши.

— Но ведь это самоубийство, — сказал Ванвейлен, глядя, как далеко тонут люди в лакированных панцирях, похожие на красных драконов. — Это безумие.

— Гм, — сказал один из магистратов. — Нить их судьбы все равно перерезана. Они ведь заключили с богом договор: после смерти господина не жить. Как это так: нарушать договоры...

Толпа побежала глядеть на людей и лодки, сожженные во время священного мира, трупы выудили из воды «кошачьими лапами» и поволокли в город. Проклиниали род Ятунов и кричали: «Да здравствует король!» и «Да здравствует Арфарр!». Толпа густела, как каша: кто-то зачерпнет и съест?

Неревен явился в замок только к полудню. Люди набежали в покой советника, словно муравьи на баранье сало.

Учитель сделал знак Неревену и вскоре вышел к нему один в розовый кабинет. Неревен рассказал обо всем происшедшем ночью.

— Я не знаю, — сказал Неревен, — жив ли Марбод Кукушонок, но зады илькуновой усадьбы выходят к речному обрыву и поросли ивняком. Проезжий спуск совсем рядом. Кто-то босой вылез из воды и прошел сквозь кусты. На кустах остались белые шелковые нитки, под забором — следы крови. Утром хозяина на

рынок служанку не послала, пошла сама.

Неревен замолчал, вспоминая обрыв под горевшим храмом и камни: да человек он или бес, Кукушонок?

Арфарра усмехнулся и велел позвать к себе чиновника из городской ратуши, томившегося в приемном покое.

Запись зафиксировала: на корабль взобрались двое, белобрысый парень и человек с обрубленными ушами. Оба вора, очевидно, были профессиональными пловцами и водолазами. Они приплыли в грубых масках, с трубками-бамбуковинами. Расковыряли люк и спустились в трюм. Человек-обрубок вынул из ладанки на шее светящийся и спущенный клубок и стал осматриваться. Его спутник поступил более основательно: извлек из кожаного мешка фонарь и зажег его. Человек-обрубок оглядел новую, недавно поставленную переборку посередине трюма и решительно стал взламывать дверь. Тут-то и сработала аппаратура. В ухе Хатчинсона на пристани пискнул сигнал тревоги, а перед ночными гостями неожиданно предстал жирный дракон с красным костяным гребнем.

Дракон засопел, люди закричали. Человек-обрубок выронил свой клубок и кинулся на палубу. Его товарищ — за ним. Дракон не отставал. Парень запустил в адского зверя фонарем и прыгнул в воду. Фонарь пролетел сквозь голограмму, не причинив ей особого вреда, и зацепился за струху, горячее масло разлилось по сухому настилу и запыпало. Люди, появившиеся на корабле минут через десять, потушили пожар раньше, чем он наделал много вреда.

Клайду Ванвейлену по-прежнему хотелось оставаться посторонним. Клайду Ванвейлену ужасно не нравился Марбод Кукушонок. Но Кукушонок был не виноват в том, в чем его обвиняли.

— Мы должны помешать несправедливости, — зло и твердо сказал Ванвейлен.

— Во-первых, — резонно сказал Хатчинсон, — вряд ли Кукушонок тут ни при чем. Скорее всего он ждал этих двоих на берегу. Иначе как он там оказался и зачем бросился бежать? Кроме того, он убийца, из одного, заметьте, удальства, молодого горожанина. Между прочим, у того остались двое сирот и молодая вдова. В-третьих, мы не можем доказать, что Кукушонка на корабле не было, без ссылок на необычайное.

Ванвейлен, однако, заявил в ратуше:

— Я не убежден, что Марбод Ятун виновен в нападении на мой корабль, и в суд на него не подам.

«Разумный человек, — подумал выслушавший его судья. — Боится связываться с Ятунами».

— Разумеется, — кивнул он и вручил ему повестку свидетеля.

— Разве, — удивился Ванвейлен, — у вас возбуждают иск, если истец не в обиде?

Судья улыбнулся горделиво:

— Преступление совершено на городской территории. Это в королевском суде не понимают, что преступник наносит ущерб не одному человеку, а общему благу. Не хотите быть истцом — так будет истцом общее благо.

— Так, — сказал Ванвейлен. — Я правильно понял: если человека убивают в черте города, его судят присяжные, а если за чертой города, то судят Божиим судом. Если убивают в будни — наказание одно,

в праздники — другое; если убивают, скажем, свободнорожденную женщину, то платят сто золотых, а если убивают вольноотпущенницу, то пять золотых?

— Пять золотых, — возразил судья, — это за старуху или девочку. А если вольноотпущенница может рожать, то пятнадцать золотых.

— О Господи, — сказал Ванвейлен и вышел.

Судья посмотрел ему вслед. Купец, а рассуждает, как чиновник империи...

Судебное разбирательство началось в четыре часа пополудни.

Ламасса по праву гордилась своим судом. Городской суд соблюдал древние законы рационального судоговорения. Никаких божьих судов, никаких ордальй, поединков, каленого железа и прочего. Судья, обвинитель, адвокат — и присяжные.

Правда, кого только в королевстве не именовали присяжными! В королевских судах присяжными, точнее, соприсяжными, назывались те десять, а то и семьдесят человек, которые вместе с подсудимым клялись в его невиновности и в случае ложности клятвы делили с ним небесную кару.

В мирских судах присяжными назывались очевидцы происшествия, и число их колебалось в зависимости от характера преступления. Если преступление было тайное, как, например, убийство, то могло не найтись ни одного присяжного, а если явное, как, например, порча или колдовство, так вся округа ходила в присяжных.

В соседнем городе Кадуме присяжными были три тысячи голодранцев, получавших за судейство три гроша в день. Дополнительные деньги присяжные получали в случае конфискации имущества подсудимого, и недаром говорили, что в городе Кадуме перед судом опаснее было быть богатым, чем виновным.

А в городе Ламассе присяжные, от десяти до двенадцати человек, выбирались из числа самостоятельных и ответственных граждан, слушали адвоката, слушали обвинителя и выносили приговор, руководствуясь совестью, законами и прецедентами.

Город гордился, что правосудие в нем было не только способом пополнения казны и что убийца отвечал за преступление против общего блага, а не уплачивал убыток, нанесенный ответчику.

Город называл свои законы законами Золотого Государя. Это было некоторым преувеличением. Большая часть дел, связанных с убийством, воровством, грабежом и прочим, давно судилась по прецедентам. Ну а если прецедентов не было —правлялись с Золотым Уложением.

Старший брат Кукушонка, Киссур Ятун, слушал назначенного городом защитника. Он был бледен от ярости: только что на городских улицах его челядь оборонялась щитами — добро бы от стрел — от тухлых яиц.

— Главное, — говорил молодой и близорукий крюкотворец, — доказать, что ваш брат не несет юридической ответственности за дневное побоище. Дружинники учинили вышеуказанное побоище после священного перемирия. Если Марбод за него ответствен, то ответствен и весь род. Если ответствен весь род — вы опять вне закона.

Киссур закусил губу. Судейский глухарь нес чепуху. Дружинники уступили Марбоду и свою волю, и свою жизнь, и свои подвиги. Как это не по воле Марбода они убивали?

В королевском суде никто бы не сказал подобной глупости. Король за сегодняшнее кровопролитие мог бы объявит весь род вне закона и, без сомнения, сделал бы это.

И поэтому Киссур Ятун дал согласие: судиться городским судом по законам Золотого Государя.

В зале суда собрались самые уважаемые граждане.

Обвинитель Ойвен сказал:

— Я обвиняю Марбода Ятuna от имени общего блага. Я обвиняю его в том, что он хотел убить гражданина Ламассы Сайласа Бредшо и с этой целью проник на принадлежавший тому морской корабль. Обнаружив, что на корабле никого нет, он решил убить не человека, а корабль — проступок, естественный для тех, кто с равной радостью истребляет жизни людей и их имущество. Когда его пытались задержать, он убил молодого кожевника Худду, и после Худды остались двое сирот и молодая вдова. Из-за Марбода Ятuna сгорела кумирня Светозарного Чиша, нанеся ущерб городской казне. А дружинники Марбода Ятuna стали убивать во время священного перемирия — такого не было вот уже пятьдесят три года!

Адвокат закричал:

— Заявляю протест! По законам города и Золотого Государя нельзя обвинять человека в действиях, совершенных другими людьми без его ведома и распоряжения.

— Протест принят, — сказал судья.

Обвинитель Ойвен поклонился адвокату.

— Итак, — продолжал он, — ответчики согласны, что в этом деле присяжные должны руководствоваться законами Золотого Государя?

— Несомненно, — подтвердил адвокат.

Согласие знатного рода подчиниться городским законам польстило присяжным. Они заулыбались. «Оправдают покойника», — зашептались в зале. Адвокат, видя их благодушие, решительно заявил.

— Граждане присяжные! Двое человек, по словам свидетелей, бросились в воду с корабля. Как же получилось, что настичь и убить при этом смогли лишь одного? И кого? Лучшего воина в королевстве, Марбода Ятuna! Никто не может доказать, что Ятун был на корабле, а всякое сомнение в истинности обвинения надлежит трактовать в пользу подсудимого.

Обвинитель Ойвен, многозначительно улыбаясь, подал знак. Писец внес и поставил на стол заседателей железную укладку. Обвинитель, скрипнув ключом, достал из укладки спутанный светящийся клубок и торжествующе поднял его.

— Граждане присяжные, — сказал он. — Гражданин Ванвейлен предоставил в распоряжение суда вот эту вещь, найденную, по его словам, после посещения злоумышленников. Рассмотрим же ее хорошенько. Что мы видим? Мы видим морской апельсин. Как известно, морские апельсины раньше водились у песчаных плесов. Теперь их там нет. Этот же апельсин весьма необычный. Скажем прямо, уродливый. А кому неизвестно, что Марбод Ятун носил с собой как потайного личного бога морское уродство? Воинству волею судьбы обронил он своего кумира, чтобы тот не сгорел с его костями, но устранил у суда последние сомнения в том, кто именно в ту злосчастную ночь проник на корабль.

Зал заревел. Присяжные передавали апельсин из рук в руки. Ванвейлен, с растерянными глазами, подтвердил слова обвинения об обстоятельствах, сопут-

ствующих находке. Последние сомнения отпали.

— Сегодня мы,— сказал обвинитель Ойвен,— судим не мертвые кости. Мы, горожане, судим в лице Кукушонка всех разбойников, которые презирают законы божеские и человеческие. Которые считают, что благородное происхождение дает им право убивать и насилиничать, истреблять наше добро и убивать наших детей. И вместе с вами, граждане присяжные, судят их Золотой Государь, оскорбленный нарушением перемирия, судят их народ, который вы слышите на площади, судят сам король, который даровал Ламассе права свободного города.

— Граждане присяжные! — сказал судья. — Сейчас вы удалитесь в закрытую комнату и там вынесете приговор, руководствуясь собственным суждением, законами города и Золотого Государя. Вам надлежит решить следующее.

Первое: виновен ли покойный в смерти свободного гражданина Худды? По законам Золотого Государя убийство карается смертью, но по городским установлениям в случае согласия семьи покойного позволительно заменить смерть вирой в тысячу золотых.

Второе: виновен ли покойный в поджоге морского корабля? По законам Золотого Государя такое преступление карается смертью.

Судья приостановился, погладил бородку и произнес:

— В городских precedентах подобного преступления не значится. Стало быть, тут присяжные должны судить по закону Золотого Государя, что и было публично признано противоположной стороной.

В зале ахнули. Адвокат-хромоножка схватился за голову: «Великий Вей! Вот это ловушка!»

— Негодяи! — закричал кто-то в суде. — Вы бы и пальцем не посмели дотронуться до живого Кукушонка!

Но Кукушонок был мертв. Присяжные, удаляясь на совещание, знали: королевский советник и сам король ждут от города подтверждения преданности. А мертвому — мертвому, согласитесь, все равно.

Суд постановил: покойник подлежит смерти, но, так как боги уже исполнили приговор, для юридической гарантии вечером на площади сожгут его чучело. Кроме того, городскому сыщику Доню за вознаграждение в пятьсот ишевиков поручается разыскать второго сообщника.

Ликующая толпа вынесла присяжных из ратуши на руках.

Судьи покинули зал. Сыщик Донь внимательно рассматривал морской апельсин.

Доню было около сорока лет. Он родился от городской шлюхи. Успел побывать писцом, наемным дружинником, контрабандистом, торговавшим с империей, и главой воровской шайки. Вражда с другой шайкой вынудила его предложить свои услуги городским магistrатам. Испуганная ростом преступлений в городе за последние десять лет, ратуша пошла на беспрецедентное решение: взяла бывшего вора на службу, но, храня самые печальные воспоминания о всесилии доносчиков и ярыжек, отказалась от учреждения регулярной полиции.

Сотрудников себе Донь подбирал, исходя из принципа: «Вора может одолеть лишь вор». А сотрудники его исходили из принципа: «Сажай того вора, который не платит отступного».



Донь завел регулярные картотеки по образцу империи и за один только год с пятнадцатью сотрудниками арестовал девятьсот восемьдесят семь грабителей и убийц, разогнал притоны, где детей сызмальства кормили человеческим мясом, дабы приучить к убийству.

Итак, сыщик Донь внимательно рассматривал морской апельсин. Ванвейлен подошел к нему со словами:

— Вы как будто сомневаетесь, что это талисман Марбода Кукушонка?

Донь промолчал.

— Ратуша платит пятьсот ишевиков за сведения о втором сообщнике Марбода, — продолжал Ванвейлен. — Я плачу за то же самое три тысячи.

Донь сказал:

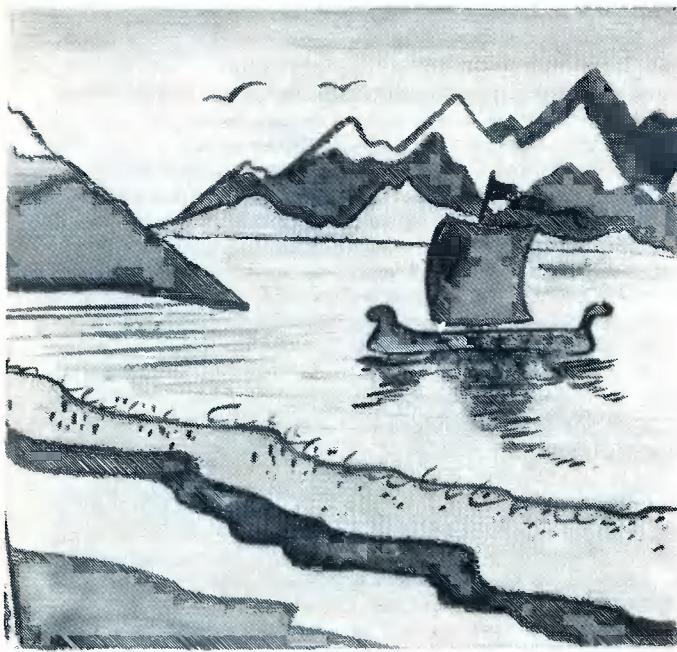
— Господин обвинитель сказал много верного. Морской апельсин был личным богом, хотя, конечно, и светильником тоже. Морские апельсины в городе теперь не водятся. У Марбода Кукушонка был бог — морской уродец. Кто говорил — крабья клешня, кто — раковина, кто — губка. Но в этом деле есть два «но». Во-первых, морской апельсин — эмблема цеха ныряльщиков. Чтобы Кукушонок взял себе, хотя бы и личным богом, обывательского предка! Во-вторых, апельсин еще светится. Значит, выловили его не больше года назад. А Кукушонок, говорят, ходит со своим богом третий год. И третье. Не представляю, чего Кукушонок испугался так, чтобы выронить своего бога? — И Донь внимательно поглядел на чужеземца. — А вы представляете?

Но Ванвейлен не ответил, а спросил:

— Значит, вы считаете, что апельсин принадлежал сообщнику? Кем вы его видите?

Донь покал плечами.

— Вероятно, дружинник Марбода, иначе Марбод его бы с собой не взял. Вероятно, бывший ныряльщик и добыл этот апельсин сам. Значит, он не из потом-



ственных воинов и не посчитает бесчестием оставаться в живых после смерти господина. Странно, что Марбод именно такого взял с собой. Странно, что он вообще кого-то взял.

— Я считаю, — сказал Ванвейлен, — что Марбода вообще не было на корабле.

— Почему? — быстро спросил Донь.

Ванвейлен сконфузился и пробормотал что-то про гадание. Донь фыркнул:

— Чтобы Кукушонок сел на берегу и послал кого-то за себя отомстить? Это все равно, что жениться и послать к жене заместителя.

Тут в залу вошел какой-то вертлявый субъект и зашептался с Донем. Донь с любопытством поглядел на Ванвейлена.

— А что, — спросил сынщик, — вы с вашим товарищем, Бредшо, сонаследники или как?

Ванвейлен побледнел.

— Что такое?

— А то, — сказал Донь. — То-то я дивился, что Белого Эльсила нет в гавани и вообще дружинников было маловато. А он, оказывается, час назад поскакал с дюжиной людей к Золотому Храму.

Тем же вечером Илькун сурохо допрашивал дочь:

— Где господин тебя оставил? Что у вас было на родении?

Девушка опустила глаза, но ответила твердо:

— О собраниях ни рассказывать, ни рассказывать нельзя.

На следующий день в усадьбу Илькуна явился монах — ржаной королек в своем рубище. Лива осторожно провела его в свою светелку, где лежал Марбод Кукушонок, весь в жару и перевязанный, как кизиловый куст к празднику.

Монах поцеловал горячий лоб:

— Мы говорили о незаслуженном страдании. Вы

доказали свою верность Господу, сын мой, чтобы не выдать наших мест, вы стали преследуемым, гонимым.

Марбод смутно поглядел на монаха и отвернулся к стене:

— Пошел прочь! Бог меня наказал, что я забыл о чести и пришел к вам.

За пологом Лива упала на колени перед монахом.

— Простите ему, — шептала она, — как простили убийство сына. Мы же молимся за грешников.

— И за грешников, и за убийц, — молвил монах, — но отступникам Бог не прощает.

Илькун видел, как серый проповедник выбежал из ворот, и с души у него исчезли последние сомнения. «Позор на мою голову! — думал он. — Ведь это я предложил господину напасть на корабль, а господин решил не подвергать мою жизнь опасности, сделал вид, что идет в город с Ливой...»

Вечером в ворота постучала испуганная соседка.

— Откройте, — шептала она, — беда!

Лива открыла, и во двор ворвались городские стражники:

— Где краденое, говори!

У Ливы подкосились ноги. Собака, осатанев, рвавшись на цепи, а стражники совали под нос бумаги: отец-де якшается с ночных дел мастерами.

Стражники перерыли весь дом и дошли до девичьей.

— А это что? Хахаль твой? — удивился один из стражников и потащил одеяло с неподвижно лежащей фигурой. Заметил нефритовое кольцо на обгорелой руке и растерянно сказал:

— Да ведь это Марбод Кукушонок!

Городской бургомистр задрожал, как щест на стремнине, узнав об аресте Кукушонка.

Старший брат Ятуна послал вассала: если горожане посмеют привести в исполнение свой собственный приговор, Ятуны объяят кровную месть всему городу. На обратном пути толпа перехватила посланца, вывалила в пуху и перьях и посадила на лошадь задом наперед. Потом подмастерья и неполноправные граждане отправились к городской ратуше. По пути они мазали дерьмом ворота лавок и кричали, что знать и городская верхушка заодно.

Королевский советник передал свои соболезнования:

— Не надо было хватать тигра за хвост, а схватили — так не отпускайте.

Обвинитель Ойвен вышел на балкон к толпе и поклялся: сейчас божье перемирие, казнить никого нельзя, а кончится ямарка — и Кукушонка казнят.

Толпа на площади кричала и требовала трех вещей: казни Кукушонка; гражданских прав для тощего народа; обвинителя Ойвена — в бургомистры.

Марбод очнулся в камере, на вонючей соломе, и потребовал развязать ему руки.

— Еще чего! — расхохотались оба стражника.

Марбод, сощурившись, разглядывал кафтаны из добротной каразеи. Стражники ели его глазами, словно это был сундук с золотом. Еще бы! Настоящей стражи в городе не было. Когда надо было кого-то караулить, суд назначал поручителей. Те собственным имуществом отвечали за упущенного обвиняемого. На этот раз, судя по платью, поручителями назначили

зажиточных мастеров, а те даже не рискнули передоверить охрану слугам.

Руки Марбода немели, тело горело, во рту было сухо и тошно. Марбод лежал, презрительно улыбаясь. Вошел третий стражник, принес вино и закуску. Все трое принялись за еду. На Кукушонка они не обращали внимания, обсуждали вопрос более важный: о покупке виноградника. Из-за дамбы, построенной Арфаррой, старые глухаринные болота обещали стать отменной землей. Земля принадлежала государству, но королевский советник передал ее городу под условием, что город будет платить за нее в казну налоги.

Разжиревший, как ярмарочная мышь, маслодел ворочал защечными мешками и подробно объяснял, почему намерен продать лавку и купить землю.

— Земля всего надежней. Дом сожгут, лавку разграбят, лодка потонет, земля останется.

Мышь ростом с корову — все равно мышь.

— А ведь господину тоже вина хочется, — вспомнил один из горожан. — Хочется? — повернулся он к Марбоду.

Марбод глядел на него с усмешкой.

Горожанин выплюнул кувшин в лицо Кукушонка. Вино было кислым, хорошего вина бюргер пожалел.

— Смотрите, он сейчас обидится, — сказал второй горожанин.

Марбод усмехнулся:

— По королевскому указу в город все мерзавцы съехались. Все, кто оскорблял господ, убивал и налоги не платил. На что же мне жаловаться? На королевский указ?

Защечные мешки страшно надулись. Их-то сизомальства отгедали.

— Храбрый какой, — заметил его товарищ.

— Очень храбрый, — ответил защечный мешок. Однажды герцог Нахии дрался с лусским князем. Князь засел на островке напротив синих скал, а ладей у герцога не было. Тут один рыбак пришел к Марбоду Кукушонку и рассказал, что море в том месте мелкое и, если знать место, можно переправиться. Марбод переправился и подумал: рыбак вернется и расскажет дорогу другим, и мой подвиг и моя добыча упадут в цене, — и зарубил проводника. Это был мой младший брат.

Марбод скрипнул зубами и откинулся на солому. Он понял, по какому принципу городские магистраты назначали за него поручителей.

На следующий день полуживой Кукушонок предстал перед присяжными.

Вассал его, Илькун, вынужден был признать, что в ту ночь Кукушонка в усадьбе не было; где был — отвечать отказался даже под пыткой. Марбод, когда ему пригрозили пыткой, только рассмеялся:

— Не имеете права!

Морской апельсин он своим не признал:

— Не терял я бога на корабле.

Обвинитель Ойвен только осведомился:

— А где же вы его потеряли? — И показал присяжным пустой мешочек для амулета. Марбод молчал.

— Знатные господа, — сказал обвинитель Ойвен, — готовы на любую ложь, едва дело пойдет о собственной шкуре. Кто-то распускает даже слухи, будто Белый Кречет молился со ржаными корольками.

«Чего стоит моя голова по сравнению с родовой честью?» — подумал Марбод и сказал:

— Хорошо. Признаю, что хотел отомстить этому

Бредшю. Я же не знал, что его нет на корабле.

После добровольного признания и говорить было не о чем.

Стражники вывели Марбода, связанного и полуживого, из ратуши и поволокли через площадь.

И тут — то ли толпа не сдержала своего гнева, то ли кто-то подал тайный знак — народ внезапно и быстро оттеснил стражу и кинулся на заключенного. Ванвейлен, стоявший среди присяжных и чиновников, заорал и бросился в общую свалку. Сыщик Донь, махнув своим людям, поспешил за ним.

— Стойте! Во имя божьего мира!

Как ни странно, но минут через десять крики и кулачи разогнали толпу.

— Поздно, — с облегчением шепнул обвинитель Ойвен, глядя на неподвижно лежащее тело. Лох Сорокопут, один из дворцовых чиновников, доверенное лицо Арфарры, кивнул.

Но обвинитель Ойвен ошибся.

Когда люди Дона подняли Кукушонка, всего в крови, и повели, тот еще нашел в себе силы расхохотаться и громко крикнуть:

— Пусть брат придет в тюрьму приличного вина! Меня тошнит от просяной бузы!

Это толпе очень понравилось, люди засвистели в восторге.

Ночью Марбод плакал от досады. Какой позор! Умереть не как воин, а как животное! Марбоду показалось, что один из поручителей тайком от других жалеет его. Он улучил момент наедине и посулил лавочнику что угодно за книжал или яд.

Тюремщик оглянулся и упал на колени:

— Господин! Я был вассалом Кречетов в прошлой жизни и останусь им в будущей. Ваши отец говорит: род будет обесчещен, если вы умрете в тюрьме или от рук палача. На Весеннем Совете все знатные люди будут требовать вашего освобождения! Как так! Король властен над поместными судами и не властен над городскими! Вот это будет драка так драка! Королю придется выбирать: либо знать, либо горожане с Арфаррой!

Ванвейлен побывал на строительстве дамбы.

— Помните, — сказал он, — был тут один работник — без ушей, без носа?

— Помню, — сказал управляющий. — Мы его неделю назад выгнали. Товарища обокрали.

— А за что, — спросил Ванвейлен, — у него уши отняли?

— А, — сказал управляющий, — за морское воровство. А ведь из почтенной семьи человек, из цеха ныряльщиков. У брата такая лавка в Яшмовом квартале.

Ванвейлен навестил лавку в Яшмовом квартале.

Хорошенькая, чистенькая девочка с золотыми волосами продала ему стеклянные губки и полновесные, без всякого уродства, морские апельсины.

Девочке было лет двенадцать, и о человеке-половинке она сказала снисходительно, подражая взрослым:

— Когда бабушка была им беременна, дедушка рубил дрова и поранил себе ногу. Все с самого начала говорили, что из ребенка ничего не выйдет.

Ванвейлен спросил, не поддерживают ли они связи с непутевым родственником, девочка вся зарделась, как от неприличного намека:

— Вот когда он померет, тогда, конечно, придется его кормить, чтоб не злился. А сейчас — как можно!

Ванвейлен выскочил из лавки так, что едва не опрокинул разносчика масла, входившего в дверь, извинился и пошел домой.

Разносчик масла поглядел ему вслед, поправил картауз и шагнул внутрь лавки.

Вечером разносчик сказал сыщику Доню:

— Заморской торговец Ванвейлен разыскивает морского вора по кличке Лух Половинка. Лух Половинка ходит под водой, как посуху. Последний год остынился, работал на строительстве дамбы. Неделю назад его выгнали: управляющему показалось, он как-то зазывно поглядел на чужеземцев. Где он теперь — никто не знает.

Сыщик Донь покопался в своей картотеке.

На следующий день, когда один из малолетних агентов Доня околачивался возле лавки, из решетчатого окна выглянула мать владельца и протянула мальчишке узелок со словами: «Отнесешь на Ивняковую улицу, принесешь подтверждение, получишь монетку». В узелке были лепешки, печеные с тмином и заговорами, чтобы исправиться. Материнское благословение пеклось напрасно: Луха Половинки по указанному адресу не оказалось.

Сыщик Донь задумался.

Странное дело. Если господин Ванвейлен знал (опять же — откуда?), что второй человек, бывший на корабле, — Лух Половинка, то почему он не сказал об этом Доню? Если он не хотел, чтобы Луха Половинку отыскал именно Донь, зачем обещал три тысячи?

Несомненно было одно: чужестранец стал своим человеком у королевского советника — стало быть, действовал по его приказу. Стало быть, лучше было его слушаться. Ибо сыщик Донь не знал многих второстепенных обстоятельств данного дела, но знал все существенные.

Второстепенные обстоятельства были следующие: если бы Кукушонок хотел убить чужеземца — он явился бы на корабль один; если бы хотел корабль скжечь — он явился бы с десятком дружинников; в любом случае морской вор Лух Половинка был странной компанией для знатного господина.

Существенные обстоятельства заключались в том, что обвинитель Ойвен действовал по указанию королевского советника, что донос, приведший стражников в усадьбу вассала Илькуна, можно было проследить до обвинителя Ойвена, что сыщик Донь узнал кое-кого из людей, бросившихся на заключенного. В этом деле обвинителем был королевский советник, обвиняемым — знать, город носил воду для чужой бани.

Донь и сам купил виноградник, хотя находил это весьма нелепым: уважаемые люди, страшась судейских чиновников, не хотели обзаводиться полицией. А земли они глотали, как рыба приманку. Доню были известны слова Даттама: «Вот и при Золотом Государе с этого начиналось. Сначала городу давали землю, а потом превращали свободные муниципии в управы, ответственные за сбор налогов. Воистину, козу вешают за ее же ногу».

Веские были слова. Столь веские, что многие заколебались. И, пока колебались, Даттам купил много дешевой земли через подставных лиц.



Александр Донев

ГОСТИНИЦА

Подмосковье

Два часа лишь от столицы —
Но какая гладь и белизна!
Никуда не нужно торопиться,
Тишина...

Неподвижен воздух Подмосковья,
Далеко настырий гул дорог.
Женщина по имени Прасковья
Деревенский вынула пирог.
Чем богаты, говорит, тем рады.
И скатерку белую кладет,
И как будто в старые палаты,
Нас к столу небрежному ведет.
Мы едим пирог ее домашний,
Разыгрался что-то аппетит.
Хлопотный и зрячий день вчерашний
Наконец-то болыпе не чадит.
Боль моя глухая растворилась,
За оконшком гладь и белизна.
Рано утром сладко мие приснилась
Тишина...

* * *

К чему слова? Москва словам не верит.
К чему рыдать? Не верит и слезам.
Сиди и пей на солнечной Ривьере
И удивляйся синим небесам.

А если боль душе — то на колени,
И просто, без надежды, помолись.
Откликается тебе, быть может, въесь,
Изгнания пожизненного пленик.

И до скончанья, до последних дней,
И даже там — в раю иль в преисподней:
Отчаяваться будешь, как сегодня,
Не справившись с бездомностью своей.

Мари

Голубое небо, синие зонты,
Черный самолетик над белесым пляжем.
Белые цветы. Зеленые кусты.
Пальмы изумрудные над чужим пейзажем.

На столе стакан с розовым вином,
Под столом, у ног, рыжая собака.
Альпы в двух шагах, и к плечу плечом
Горы над мной в розовых пашахах.

Желтый парус мчит сиринетом лихим,
Красный же едва колышется на волнах.
Серых скал оскал. Золотая кроина,
И хрюпит Володя голосом глухим:

«Спасите наши души,
Спасите наши души,
Спасите наши души...»
Я вижу вдалеке —

Как хищник, ворон кружит,
Как пиний, ворон кружит,
Как липний, ворон кружит
И каркает в тоске.
А рядом дышит море, колечко, голубое,
И самолет черный гуляет в синеве.
А я с тобой и с дочкой, наполненный любовью,
Иду, увы, лишь в мыслях, счастливец, по Москве.

ЗАПИСКИ ОБЫВАТЕЛЯ



В воскресенье, 3 октября, я вернулся домой вечером, провсдя весь день в лесу. Погода была чудесная. Запоздавшее бабье лето дышало покоем и печалью...

Но едва перешагнул порог квартиры, как жена огорошила известием: на Крымском мосту стреляли и кого-то убили, Ельцин сказал то-то и то-то, Хасбулатов с Руцким — нечто совсем противоположное. Однако лестное умиротворение еще держало меня

в своем плену, и я лишь пожал плечами: ну, сказали и сказали, ну, стреляли и стреляли. Может, еще никого и не убили. И вообще нас уже давно пугают то концом света, то голодом, то холодом, то гражданской войной, то еще черт знает чем. Людям у власти надо как-то показывать, что они не лыком шиты.

Потом, когда ужинали, по ящику показывали, как на улицах были омоновцев и милиционеров, но и это мы уже проходили: так было в мае, но драками все и кончилось. Нынче ведь драки в ближнем зарубежье стали настолько привычными, что уже не вызывают практически никаких эмоций и ни от чего не отвлягают. Так что в самый раз устроить маленькую драку в самой Москве... для воспаменения гражданских и иных демократических чувств. Ну взять хотя бы этот указ Ельцина о роспуске парламента... э-э, Верховного, простите, Совета, демарши самого Совета, а кончится все новой болтовней о том, как все они любят Россию, и только поэтому... Слышали мы, слышали. И о красно-коричневых тоже слышали. Народец, говорят, дрянной, достаточно глянуть на иную рожу. Так ведь рожа лишь тогда рожа, когда на нее показывают пальцем: у-у, какой нехороший! У-у, какая бя-ака! — и точно: раз нехороший бяка, то уже не лицо, а самая настоящая рожа.

А по ящику уже показывают свару вокруг самого Останкино. (Мы с женой как раз чай пить начали. С вареньем.) Неужто и вправду путч? Серьезно? А какого черта, прости-те, чешется правительство? Куда смотрит? Мало того, что собственную милицию отдало на побитие, так еще и многострадальный Останкино! Которому теперь страдать по этому поводу хватит до скончания века.

Остаток вечера прошел смутно, в тревоге. Ни за Ельцина и правительство, а вообще. Мысли всякие в голову лезли. С одной стороны, Конституция, на которой клялся Президент, с другой — Здравый Смысл. С одной стороны, Необходимость оппозиции торопливым гайдарам и явлинским, с другой — Реформы-то все-таки нужны, как же без Реформ-то? С одной стороны, с другой стороны, а спать все-таки надо. Утром телеведущий, спотыкаясь на каждом втором слове, сообщил, что больницы забиты ранеными, а там ни перевязочных средств, ни крови. Жена моя услыхала и решительно начала собираться в Склифосовского: она у меня старый донор, с медалями и значками, к тому же у нее редкая группа крови — с отрицательным резусом. Засобирался и я, не в качестве донора (тропическая малярия, которой я переболел в детстве, сделала мою кровь, по утверждению одного

медика, ядом для прочих смертных), а в качестве не знаю кого. Просто не мог усидеть дома, когда там происходит такое. Ну и еще — остаточный рецидив давно угасшего увлечения фотографией. Наконец, есть у обычавшего потребность времени от времени попадать в историю, и на этой потребности, даже не подозревая о ее существовании, время от времени же играют все политики.

«А ты куда?» — спросила меня жена, заметив мои сборы. «Да так, поеду гляну, что там и как», — ответил я неуверенно. «Еще не хватало, чтоб тебя там подстрелили!» — воскликнула она, представив, судя по всему, своего мужа умирающим в какой-нибудь подворотне. Надо сказать, что моя жена весьма невысокого мнения о моих воинских доблестях, но вместе с тем уверена, что я непременно полезу туда, где убивают. Впрочем, мы оба всерьез происходящее не воспринимали, и когда видение умирающего в подворотне мужа оставило ее, она махнула рукой: поезжай, мол, если тебе так хочется умереть. И мы поехали. Но перед этим зашли в аптеку, купили на полторы тыщи бинтов и ваты. Вышло не много, но не идти же потом самим с протянутой рукой. Может, кому и дадут, ио не нам.

Понедельник, 4 октября, выдался таким же чудесным, как и вчерашнее воскресенье. Всю светило солнце, на небе — ни облачка, на школьном дворе ребяташки занимаются физкультурой, в детском саду напротив мальчишня водят хоровод, молодые мамы и немолодые бабушки дремлют над колясками, по кольцевой дороге (а мы живем рядом) в обе стороны с гулом снуют машины, на остановке автобуса народ равнодушно глазеет по сторонам. Право, и куда это меня несет? Что я там не видел? Какая стрельба, какие раненые, тем более убитые? Вот ведь люди, вот же они! — полнейшее равнодушие и спокойствие. А мне после завтрака на работу, отпуск кончается, почти месяц лило как из ведра, холода гигантская ужасная, пару дней если и светило солнечко, так и то не в Москве. А как вчера было славно в лесу, как было бы хорошо повторить это сегодня! Нет, черт меня несет «морально поддерживать», а там, поди, и за версту не подступиться к театру военных действий, ежели таковые ведутся. Ведь не до такой же степени наши правители идиоты, чтобы позволить зевакам пугаться под ногами у солдат. Странка какая идет — и то глухим забором огорожена, надписи всякие висят с черепами, а чтобы тут не предусмотрели, не может того быть.

На «Курской» мы с женой расстались: она поехала в Склифосовского, а я дальше. Какого-то плана у меня не было. Решил, что надо сперва посмотреть, что делается вокруг Кремля, а там видно будет.

Вышел на «Площадь Революции». Зажмурился, привыкая к яркому солнцу. Поглядел туда-сюда. Народу поменьше, чем обычно, но палатки торгуют, никто никуда не бежит, никдега не толпится. В подворотне реставрируемой церкви троица в строительных спецовках считает деньги: в самый раз помянуть вчерашнее воскресенье. Ни омоновцев, ни милиционеров.

Вышел я на «25 лет Октября». Ага, вот оно: на подступах к ГУМу — баррикады. Помнится, в августе 91-го ничего подобного здесь не было. Одну баррикаду я миновал беспрепятственно, во вторую уперся — стоп! Непускают. В узком

проходе у стены дома решительные парни с обрезками арматуры и труб, иные со щитами. У прохода толпится несколько зевак, о чем-то приспираются с решительными парнями. Над баррикадой — российский флаг.

Вышел на Манежную площадь. Половина ее огорожена забором, идут какие-то работы. Тверская, бывшая Горького, перекрыта грузовиками. С правой стороны от Манежа — длинная разноцветная цепь автобусов. Тут как раз из-за гостиницы «Москва» высыпала колонна демонстрантов с триколорами, зарысика к Манежу, но там, перед автобусами, застопорила, сбилась в кучу. Несколько человек отделились от толпы и направились к Красной площади. Посередине дородный мужчина лет 45 несет российский флаг. Вид у него важный, можно сказать, трагический: вот, мол, иду с флагом, меня, может, сейчас убьют, а вам — хрен по деревне.

Смотрю, народ жиденькой струйкой течет и течет к Красной площади, а там вроде пускают. Да и туалет там рядышком — пора навестить. Подошел ближе — точно, пускают. Хотя и здесь тоже баррикада. Снял я баррикаду и почесал в затылке: почему там не пускают, а тут — пожалуйтесь? Кого охраняют эти баррикады? Ельцина, Кремль, ГУМ? За баррикадой толпится народ, человек тридцать. Слышишь, как поминают Хасбулатова, Ампилова, Руцкого. Женский голос: «Я бы этого Руцкого... своими бы руками удавила». Бабы — они от любви к ненависти легко переходят. На приступках Исторического музея двое дюжих зарненей принародно и примириционерно (один стоял невдалеке, позевывал) пьют водку. Какая-то тетка что-то продаёт (или раздает) из съестного. Но народу возле нее нет: то ли все ссыты, то ли стесняются. Я тоже постеснялся и не подошел, хотя и не был ссыт.

На самой площади все, как всегда: немного народу возле усыпальницы вождя, немного возле храма Василия Блаженного. Над входом-въездом Спасской башни попрыгивают телепропагандисты, чего-то ждут: то ли Ельцина, то ли нападения. Прощуршила «Волга», разумеется, черная. На башне часы пробили десять, сменился караул, народ начал расползаться в разные стороны. Я спохватился, сделал пару снимков: черт его знает, что завтра станет с Мавзолеем!

За Василием Блаженным стадо автобусов и тоже что-то вроде баррикад. Неинтересно. И тут вдруг со стороны Манежной площади, и даже дальше, что-то застучало-застучало, торопливо и зло. Все головы повернулись в ту сторону. Я тоже замер на месте... «Вы не знаете Баркашова? Вы не знаете Баркашо-ова?» — донеслось до меня. Я обернулся и увидел мужчин, весьма респектабельных, с «дипломатами». Человек пять. А среди них молодого, с портфелем. Удивленное восклицание явно принадлежало ему. Он смотрел на своих собеседников так, будто встретил инопланетян. Признаться, я тоже не знал, кто такой Баркашов, решил просвещаться на сей счет и подошел к мужчинам. «Вы тоже не знаете Баркашова?» — обрадовался мне мужчина с портфелем. «Я знаю Мария Алексеевну», — ответил я, чем поставил респектабельную компанию в тупик. «Товарищ шутит», — догадался самый пожилой и заторопился. Они подали друг другу руки и разошлись в разные стороны. Надо думать, на службу. А правда, кто такой Баркашов?

Все время, пока я бродил там и сям, меня не покидало чувство чего-то излишнего в обычных звуках центра Москвы. Я не сразу понял, в чем тут дело. Видимо, потому, что больше смотрел под ноги, а надо бы иногда и чусть повыше. И когда я задрал наконец голову, то увидел источники этих необычных звуков: два вертолета на приличной высоте описывали круги, центр которых находился явно не на Манежной площади, а значительно дальше. И я поспешил в метро.

Полупустые вагоны, жидкие цепочки людей на эскалаторах. На «Арбатской» в вагон вошел мужчина, и я, не зная, где лучше выйти, спросил у него, что там, наверху. Он пожал плечами: «Нормально, ничего особенного». Я вышел на «Смоленской». Садовое кольцо было, пожалуй, чусть помалолюднее, чем обычно. Какого-то целенаправленного движения не наблюдалось. Транспорт не ходил. Я потопал к «Белому дому», со стороны которого доносились редкие потрескивания и постукивания.

Вот здесь, в подземном проезде под Калининским прос-

пектом, в августе 91-го погибли три человека, ставшие символом сопротивления народа путчистам. Здесь через несколько дней потом все было устлано цветами, горели свечи, лица у людей светились торжественной печалью. Тот августовский день тоже был притож, как и нынешний октябрьский, и всем казалось, что самое худшее позади, что теперь надо лишь чуть-чуть что-то переделать, а дальше уж покатится само, потому что себя-то мы уж точно переделали за эти три гэкачепутческих дня. То были дни народного единения, дни всеобщего братства и просветления, когда народ был просто народом, и лишь потом он разделился на русских, татар, чеченцев, евреев и... несть им числа. Враги же выглядели жалкой кучкой полутрезвых прихвостней окончательно запутавшегося в целях и средствах Горбачева...

Как разительно нынешний день отличался от дня, давно канувшего в Лету. То же солнце, тот же город, те же люди, но на лицах полнейшие равнодушие и апатия. И дело не в том, что люди устали от политики, а в том, что они поняли: на нынешних политиков народ влиять не способен, те давно занимаются не политикой, а интригами, интересы народа, государства для них не просто на втором месте, а как бы не существуют.

С Нового Арбата на Садовое кольцо выплеснулась нестройная толпа демонстрантов и потекла вниз, отбрасывая подземный проезд. В их суетливости и поспешности было что-то от опаздывающих к началу спектакля в столичном театре организованно привезенных на него провинциалов. Не исключено, что именно их собирали для «моральной поддержки» воинов и они боялись, что не успеют эту поддержку оказать, что воины обойдутся без нее.

И тут со стороны Смоленской площади раздался грохот, показались две несущиеся на предельной скорости БМП. Обе машины, глухо задраенные, вырнули в тоннель и грохот их гусениц затих в подземелье. В том самом... Я успел сделать пару снимков и всплыл в массу демонстрантов, в основном молодых людей — от 25 до 35 лет, которая молча, под шорох собственных шагов текла по Проточному переулку к набережной Москвы-реки.

Краснопресненская набережная до самого Новоарбатского моста была забита легковушками и толпами людей, и демонстранты в них сразу растворились. Отсюда открывался вид на «Белый дом» и здание-книгу, принадлежавшее когда-то СЭВу. Теперь это Московская мэрия, и в ней, поговаривают, большие чиновников, чём водилось здесь раньше. Известно, что засилье чиновников заставило некогда Горбачева пойти на гласность, чтобы с ее помощью взять под контроль эту раковую опухоль российской государственности. Но она, как всякая раковая опухоль, от хирургического вмешательства только разрослась, подавив собой практически всю жизнедеятельность большого организма. Теперь этот организм работает исключительно на раковую опухоль и ее многочисленные метастазы, каждый из которых норовит стать вполне самостоятельной опухолью. И так везде, вплоть до заводов и даже цехов, провозгласивших себя то ли малыми предприятиями, то ли кооперативами, то ли товариществами с ограниченной ответственностью. «Обогащайтесь, как можете!» — вот лозунг современного чиновника, а если перевести его на язык обывателя, то он звучит несколько по-другому: «Воруйте, что плохо лежит!» И воруют. Чиновник по нынешним временам — это прибыльно.

Было начало одиннадцатого. «Белый дом» еще не горел, лишь в левой его части из одного окна тянулась черная струйка дыма, да в здании-книге окна примерно двенадцатого этажа были выбиты и черны, сочились ленивым дымком. Стреляли. Стрельба велась спорадически, то затихая, то разгораясь. Иногда вдруг ухнет где-то совсем близко, и люди непроизвольно втягивают головы в плечи, иные приседают, прячутся за чью-то спину. Владельцы машин наблюдают за происходящим, не вылезая наружу; из окон торчат бинокли, подзорные трубы, чусть ли не телескопы. Кто-то жует, кто-то пьет из бутылки пиво и кока-колу. Чуть в стороне, на зеленой лужайке, юная мамаша покачивает детскую коляскую. Балконы жилого дома, выходящего на набережную, пусты, в окнах тоже никакого движения, но на крышах иногда показываются мальчишки, заглядывают вниз.

Опять шарахнуло, но снаряд угодил в простенок, и густое белое облако окутalo половину «Белого дома» и поплыло в сторону мэрии. Вдруг застучало, затрещало, в воздухе что-то пискнуло, дзиньнуло — и по спуску от моста кинулись люди, пригибаясь и даже петляя. Часть народа на пустыре отпрянула под прикрытие жилого дома, кто-то присел за машины, сгрудился за осветительными столбами, с десяток человек укрылись за большущей трубой, лежащей на пустыре. Я тоже пристроился за чугунный столб, хотя страшно совсем не было. Но большинство даже не шелохнулось, а кто-то как шел куда-то, так и продолжал идти. Беспечность, фатализм, рисовка? Трудно было прочитать что-то определенное на сосредоточенных, хмурых лицах. В таких случаях лучше всего спросить самого себя, что чувствуешь сам, о чем думаешь. Признаться, я ничего не чувствовал и ни о чем не думал. Какое-то отупление поразило меня с ног до головы, будто я — это и не я вовсе, а нечувствительная оболочка, внутри которой все выгорело дотла. Потом все кому не лень назовут меня и мне подобных зеваками, которые мешали войскам и милиции делать свое благородное дело, зазря подставляя себя под пули. Что у меня других дел нету, как прятаться за столбом? И наконец, что такое зеваки? Это человек, который (по проф. Ушакову) «праздно, с тупым любопытством на все глазеющий, разиня, бездельник». Точно, тупость я в себе обнаружил и любопытство тоже, но тупость и любопытство никак между собой не были связаны. И рот я не разевал. И никого с разинутым ртом рядом не заметил. А чтоб бездельничать, так этого за мной не водилось. Так ведь и не вся Москва сюда пришла. Кое-кто сидит сейчас перед телевизором (из бездельников — день-то рабочий), и получается — тоже зевака? А все эти теле-, фото- и прочие корреспонденты? Они, простирайте, кто? Профессиональные зеваки, удовлетворяющие тупое любопытство непрофессионалов? Ну уж, милостивые государи, врите, да не завирайтесь.

Конечно, есть случаи и... случаи. Но этот — особый. Я почему-то уверен, что в душах большинства тех, кто пришел утром к «Белому дому», какой-то рычажок сдвинулся. Пусть не сразу, потом, когда прошел шок, потому что они стали свидетелями потрясающей человеческой трагедии. Я видел: люди сопререживали, но сопререживали молча, ни словом, ни движением не выражая своих чувств. Отсюда не было видно ни чьей-то крови, ни чьей-то последней агонии, но, быть может, это-то и было самым страшным, потрясающим, потому что внутреннее зрение безгранично, проникает не только сквозь стены, но и за окном. «Народ безмоловствовал», но не из «тупого любопытства»; а потому, скорее всего, что никак не мог повлиять на ход и исход событий. Но ведь так бывает не всегда. Если народ безмоловствует, то это не означает, что политики, или считающие себя таковыми, могут творить все что им заблагорассудится. Пружина сжимается — и каждое вранье, каждый случай хамского пренебрежения интересами народа воздействуют на эту пружину народного терпения.

Омсиянныи всеми и вся обыватель занят собой и своими нелегкими проблемами. Да, он туповат, малоактивен, но он — это подавляющее большинство населения страны, для которого вопрос выживания выше всяких политических и экономических дрязг. Но именно потому, что для него, обывателя, личное важнее всего всемирного и всесударственного, что его семья, дети, дом, работа — суть его существования, он-таки способен, когда на его маленький мирок, единственную крепость и убежище, посягнут...

А ведь обыватель не хотел ни мордобоя, ни зверств. Он сопротивлялся, отлынивал, находил для этого жалкие причины и оправдания, потому что ни на что другое, пока в нем не разбудили зверя, он не способен. Но со всех сторон все крепчал и крепчал вой, все больше тыкали в обывателя пальцем, упрекая его в равнодушии, в пренебрежении интересами общества и государства, его собственными обывательскими интересами, хотя за всеми этими воплями и тыканьем пальцем нет ничего, кроме чьих-то шкурных желаний удержаться на поверхности выгребной ямы политики. Разве в интересах одного обывателя убивать другого, себе подобного? Разве в интересах азербайджанца убивать армянина?

Абхазца — грузина? Русского — чеченца? Русского — русского? Нет! Нет! Не-е-ет! Но убивают.

Ах, не надо! Я и сам вполне сознаю, что тоже воплю и тоже тыкаю пальцем, понимая в то же время, что ни вопль мой, ни тыканье пальцем ничего не изменят, никого не остановят, и гладиаторы либо должны перебить друг друга, либо упасть в изнеможении на залитой кровью арене. При этом — вот парадокс! — я вовсе не хочу, чтобы Россия оставалась сонным царством обывательского самопогружения в собственный мирок. Я знаю, что многие мои сограждане, вкушившие от другого мира других порядков, искренне хотят, чтобы такие же порядки установились и в нашем бедном отечестве. Но... Но, начиная с Петра Великого, мы только и делаем, что гонимся и гонимся за Европой, только гонимся не по столбовой дороге, а по обочине, через пни-колоды, миргородские лужи, обдавая всех и вся грязью и помоями, а больше всего — самих себя. Дорогу бы нам сперва построить, господа, дорогу! А уж по ней с ветерком да с гиканьем, а не с автоматной и пушечной пальбой. Речь о том, что необходимо соизмерять цель и средства, интересы всех групп населения. Как бы ни были ортодоксальные коммунисты и им подобные смешны в своих потугах снова перейти на «социалистические рельсы», то есть на обочину цивилизации, но и они тоже люди, имеют право на свою точку зрения, за ними стоят не одни политические кретины, а тот же растерявшийся обыватель. И не стоит барским пренебрежением доводить эту часть нашего — НАШЕГО! — общества до истерии.

Мне помнится 74-й год, Оренбургский газовый комплекс, «французская столовая», еще не убранные столы, бутылки из-под вина, ножи, вилки и... и директор комплекса, недавно пересевший сюда из кресла второго секретаря райкома, в одиночестве жует осклизлый гуляш из сала с синеватыми макаронами и мрачно обводит глазами опустевший зал. Безотрадная картина каждый день представляла перед его глазами: вон там, за открытой дверью, — там свои, строители-уголовники, стройбатовцы, грязь и мерзость, а здесь, где только что отобедали французские специалисты, кусочек чего-то другого, мелочь вроде бы, но за ней, за этой мелочью, что-то более важное — другой мир, другие отножения и другие люди, не ему, директору, как бы он ни старался, не перенести эту мелочь в повседневную жизнь своего завода. Даже эту мелочь, не говоря о чем-то большем. Что может быть унизительнее! Конечно, он в ту пору не предполагал, что станет премьером России и события заверят его и понесут куда-то не туда, но что-то переделать в этой жизни он хотел. И теперь он спешит тоже, чтобы дети его хотя бы увидели эту, другую, жизнь, но не в экскурсиях по границам, а здесь, в России. Да и общий разор торопит, подстегивает, и, кажется, стоит лишь здесь поднажать, там придавать, как все сразу и потечет в нужную сторону. А оно не течет, сопротивляется. И не потечет. Но если очень сильно нажать, то кровь потечет — это уж как пить дать. И вот она — кровь-то, уже течет.

У меня ни малейшей симпатии к Хасбулатову и его окружению. Как, впрочем, и к его противникам. Но — видит Бог, если он есть! — что Верховный Совет тянул резину с принятием радикальных решений (а потом уж и всяких других) не только потому, что там собрались отпетые бяки, а потому, что он, как и российский обыватель, боялся нового, не знал, как к нему подступиться.

Стою я за фонарным столбом, столб, как я уже докладывал, чугунный, из-за него торчит лишь мой нос, и для снайпера ОТГУДА нос мой вряд ли представляет удобную мишень. Проходит несколько минут, я прихожу к выводу, что снайперам до меня нет никакого дела. Опять же, впереди, около моста, эвон сколько народа, а трупов среди них что-то не видно. Ну, посвистывает иногда вверху, так это первые разы в диковинку, а потом привыкаешь, как привыкаешь к чириканью воробьев. И обычная храбрость возвращается ко мне: я покидаю свое укрытие. Поначалу так и тянет пуститься бегом, петляя и пригибаясь. Но ведь женщина идет себе, а рядом с ней другая, идут себе и разговаривают о чем-то. Замедлил я шаг, прислушался — мать честная! — сапоги, видите ли, с брачком у нее оказались.

Что за сапоги, что за брачок, какое отношение имеет это к стрельбе? — ума не приложу, но опять какой-то рычажок повернулся у меня в голове, и я зашагал себе дальше как ни в чем не бывало. Конечно, женщины — они женщины и есть: снайпер вряд ли покусится на их целостность, но, с другой стороны, именно женщины вдохновляют нас, мужчин, на всякие безрассудства, и я это почувствовал на собственной шкуре.

Иду себе и иду. Прошел десять метров — жив, прошел двадцать — все еще не убили, совсем повесел и зашагал решительно в гору, к тому месту, где выход на Новый Арбат (бывший Калининский проспект) и Новоарбатский мост перекрыты машинами-поливалками. Немного народу скрутилось за этими машинами, выглядывают с опаской. Одна из машин сгоревшая, черная от копоти, кое-где уже успела покрыться бурым налетом ржавчины. Машины стоят не плотно, пройти между ними можно, никто проходы не охраняет, препятствий не чинят, ни тебе милиции, ни солдат, ни омоновцев. Даже поразительно. Иди себе, если хочешь, хоть в самый «Белый дом» в гости к Руцкому. Но люди, прячущиеся за машинами, почему-то вперед не идут, хотя впереди, на самом мосту, народу видимо-невидимо. И никто не бежит, ни за что не прячется. Будто заговоренные. Тут, знаете ли, шарики за ролики у кого угодно закатятся.

И вдруг... Нет, честное слово: вдруг! И вдруг рядом как шарахнет! Как затарахтит! Ну, примерно так, как бывает, когда у машины карбюратор засорится: ба-ба-бах! И опять: ба-ба-бах! Я хотя и стоял — по примеру других — на полуусогнутых, но тут так и присел, а голова сама по себе ушла в плечи. Инстинктивно. Посидел я малость — опять жив и не ранен. Значит, это не в меня бахахали. Огляделся: никто надо мной не смеется, пальцами на меня не показывает.

Оправившись от испуга, я спросил у одного из притулившихся за поливалкой мужчин, лет сорока, что это такое бахахнуло. «А-а, придулок один, — пренебрежительно махнул рукой мужчина и показал: — Вон за той машиной пристроился. С пулеметом».

И тут впервые с утра меня посетила мысль. И мысль эта была ужасна. Настолько ужасна, что я поначалу от нее даже отмахнулся. «Не может быть, — сказал я себе. — Не выдумай! Но мысль уходить не хотела, она царапала мозг и душу. В растерянности я поднялся во весь рост и оглянулся по сторонам: все, что видел мой глаз, говорило о том, что мысль родилась не на пустом месте...

Действительно, вот он «Белый дом», по нему стреляют, из него, судя по посвистыванию в воздухе, тоже: вот они, люди, зеваки то есть, сотни и сотни, и... и никто их отсюда не гонит. Почему?

«Во дает! Во дает!» — воскликнул мой сосед и тем отвлек меня от мрачных мыслей. Он смотрел в сторону «Белого дома» через оптику монокуляра, оглянулся на меня и, заметив мой недоуменный взгляд, протянул свою гляделку, пояснив, что надо смотреть во-он туда, где выбиты окна.

Оптика приблизила белую стену, стали различимы оконные рамы, куски стекла по краям, отбрасывающие яркие блики, полуобгоревшие лохмотья портьер, но никаких признаков жизни разглядеть в самих окнах мне не удалось. Я уж решил вернуть оптику своему соседу, но тут в черте одного из окон будто на несколько мгновений включили газовую горелку: тонкий и острый язычок пламени запульсировал и пропал. Прошло еще несколько секунд — и в этом окне всклубилось что-то белое и как бы подсвеченное изнутри, наружу потянулась слабая струйка белесого дыма. Не то чтобы я не слыхал выстрела — впереди все время будто что-то вбивали в стену тяжелой кувалдой, — а как-то не связывал один из ударов кувалды с белесой струйкой дыма. Еще через какое-то время из этого окна потянул дым уже потемнее, потом в нем всклубилось багровое пламя, завихрилось там, внутри, в бешеном хороводе и выплюнуло наружу черный клуб дыма. Я представил себе людей в той комнате — и это пекло, и как они там... заживо... Бр-р! И тут страх окончательно оставил меня. Вернув монокуляр хозяину, я снова выпрямился во весь рост и, минуя поливалки, пошел на мост. Пройдя шагов двадцать, я спохватился: хорошо бы сфотографи-

ровать этого пулеметчика-придурка, но возвращаться — не к добру, и, махнув мысленно рукой, пошел дальше.

А на мосту-то, на мосту...

Весь мост по той стороне, что обращена к «Белому дому», плотно забит людьми, неподвижно взирающими на то, как разгорается пожар в пятом верхнем ряду окон. Люди стояли ко мне спиной, и что меня поразило в первое же мгновение, так это какая-то опущенность, поникнутость неподвижных фигур. Сделав пару снимков, я притиснулся к панорапету и увидел внизу набережную, дугой уходящую влево от «Белого дома».

Сейчас на набережной не было видно ни души. Вернее, не сразу я эти души заметил. Там стояли БМП и БТРы, а души жались за ними, прикрываясь броней, иногда высывавались — раздавались треск, тарахтение, безобидные и совсем не страшные. Чуть ближе к «Белому дому» и чуть повыше спали танки, казавшиеся отсюда игрушечными, ненастоящими, в них наверняка никого не было — зеленые нелепые утюги, зачем-то забравшиеся туда и там задремавшие. Трески и стуки их не касались и разбудить не могли. Между танками и «Белым домом» сквер с высокими деревьями, слева большой жилой дом с крошечными балкончиками, тоже будто вымерший, покинутый людьми. За домом со стороны набережной вроде автобусы, какие-то машины, что-то дымится. Иногда шарахнет-шарахнет, но выстрела самого не видно, зато в ряду окон, где я несколько минут назад заметил остренький огонек, все сильнее клубилось бордовое пламя, все гуще оттуда валил дым. Кто-то, стоящий рядом, обронил: «Кожа горит. Там этой кожи...» А кто-то зло и в отчаянии, будто выплюнул накопившуюся слону: «Своих же бьют, гады!» И встречный вопрос: «Это каких своих?» Но вопрос так и остался без ответа.

Я понял: сюда пришли люди разные и по-разному они смотрят на происходящее у них на глазах. И еще я понял: ОГТУДА по нам стрелять не станут, потому что тоже смотрят на нас по-разному и кто-то в этой толпе видит сочувствующих, кто-то своих родных и близких.

Сзади послышалась торопливая английская речь и часто повторяющееся слово «вайт хауз». Я оглянулся: моложавая женщина прижимала к губам микрофон, рядом с ней мужчина обводил толпу и горячий дом оком телекамеры. Кто-то, как и я, оглядывался, заслушав чужую речь, и угрюмо отворачивался. Два года назад иностранный корреспондент вызывал прилив энтузиазма и собирая вокруг себя толпу экзальтированных дам.

Шел первый час пополудни. Но на башенке «Белого дома» часы ложились 10 часов две минуты. Ничего не менялось: все так же шарахали пушки, отбивали дробь пулеметы, только дым из окон «Белого дома» становился все гуще, пожар разгорался все шире. Здесь, на мосту, не было слышно посвиста пуль, никто не прятался, не пригибался. Было ясно, что начался последний акт трагедии.

Я направил свои стопы к Кутузовскому проспекту, туда, где на въезде на мост, перекрывая его, замерли четыре танка с орудиями, нацеленными на «Белый дом». Но стрельбы они не вели. Возле одного из танков стоял его экипаж, головы у танкистов были опущены, с ними о чем-то беседовали человек пять гражданских. Два года назад здесь бы была толпа. Я сделал снимок; услыхав щелчок аппарата, танкисты отвернулись — и это тоже примета времени: в 91-м они позировали с удовольствием.

Подошли автобусы, из них посыпали омоновцы со щитами, в бронежилетах, с дубинками — толстые, неуклюжие, напоминающие ландскнехтов времен Александра Невского. Построившись в колонну, они вступили на мост. Я подошел к группе омоновцев, стоявших особняком. У одного из них — в цивильном плаще, очень похожего на земского врача — была в руках рация. Из нее сквозь хрюпы доносился будничный голос: «Мы им предложили в 12-30 прекратить огонь и сложить оружие. Огонь с нашей стороны прекращен». Яглянул на часы: 12-25. Стрельба не только не прекратилась, она даже будто усилилась. Особенно тяжелые удары слышались с обратной стороны «Белого дома»: это уже не БТР, это танки.

Москва, октябрь 1993 года.

Память стихиста Леонида Губанова

МЕМОРИАЛ

В 1965 году на страницах «Юности» появилось стихотворение в 12 строк:

Холст 37 × 37
Такого же размера рамка.
Мы умираем не от рака.
И не от старости совсем.
Когда изжогой мучит тело
И тянут краски теплой плотью,
Уходят в ночь от жев и денег
На полнолунне полотен...

Это был отрывок из поэмы «Полина», написанной девятиклассником московской вечерней школы Леней Губановым. А потом, в ответ на каждую строчку появился по злому фельетону. Так рассказывал через десять лет мне сам Лени. Посмеялся было над чем. И изжога, которая «мучит тело» советского школьника, и то, что он уходит от «жен и денег». Но все оказалось правдой, все до последней строчки — и изжога, и многочисленные жены... И главной правдой было то, что все забыли саму цифру 37. А Лени умер в 37 лет. В его стихах часто слышится голосок надорвавшегося мальчика. И так много безысходности и отчаянной пронзительности. А холодные, нерастраченные люди слышат это и только холодно усмехаются: «неврастеник... Да нет же! Просто выбор такой, узкий, как луч света, пал на холст, а холст всего «37 × 37». А «диссидентский и антисоветский» поэт Лени Губанов со своими, отпечатанными в трех экземплярах стихами остался.

«Юность» не смогла тогда, в 1965-м, защитить своего автора. Почему бы теперь не отдать ему должное?

Лев АЛАБИН

Р. С. Пунктуация в стихах Л. Губанова — авторская.

Леонид ГУБАНОВ (1946 — 1983)

ИЗ КНИГИ «ИКОНОСТАС»

Турецкие серьги бровей
нависли над синим колодцем
Там, где частоколом колотятся
Ресницы любимой моей.
А красные лодочки губ
какой уже год перевернуты,
там сият все мои перевертыши
и жаркая страсть к очагу.
Таинственный танец тоски
все бабы пропали бесследно
и нежность встает на мыски
на цыпочки сердца бессмертия.

Оформ на серебре

Поломанные вилки и шведские полки
Полтавы полубылки, картавы саноги.
И бубенцы надели и тихий ужас спальни,
Куда века глядели, Екатерину спавшую.
Вся — ледяная скука, писалом пасярям дощатый,
Считай, секунды, суга, ...как ленестки для счастья.
За голенищем друга нож золотой наточен
Не верь печальным слухам, не верь плечам молочным,
А верь в слепые вилки и шведские полки
И щупай ва затылке рисунок от ноги.
Нагая свадьба чахнет в виновности и блуде,
И если нет вам счастья, пойми, хоть утро будет.

Еще немного подождать
Где ясли ясных глаз закроют,
где все морчины эмигрируют,
где дети выбегут за кровью
с посудою, наверно, глиняной...
Где ходят мальчики раздетые,
где бредят голосом Господним
потусторонние газеты,
журнальчики в одном исподнем...
и ясных глаз уже не надо,
я трогаю старинный меч —
чтоб прорубить всю нечисть сада
или костями в гости лечь!

Ворота — это воротник возвратиться,
арка — алкать Славы,
а калитка — это пойдем, коли так.

Переодеться в легкий скандал,
не обещая петли и свидетелей,
ярким пером я в разлуке катал
все сочиненья, которые метили
грозною тенью на полках стоять
или с кудрявым потомком смеяться,
словно за шиворот, за душу брать.
маски посмертной своей не стесняться.
Господи! Веришь ли в наше пиратство
там, в океане великой лжи,
где для бессмертия надо стреляться
или пчелою на мачте жить.

Мне бы только лист и свет,
мне бы только свет и лист,
неба на семнадцать лет,
хлеба на полночный вист.
Редких обмороков рвань,
с рифмой роковая связь,
чтоб одна лесная лань
всем наказам слушалась.
Ножницы, чтоб розы стричь,
финку, чтобы в душу лезть,
и ресницы опалых бич,
и в чернильных пятнах месть.
Марку на слепой конверт,
синий ящик в переулке,
где колотятся ко мне,
письма — пухлые как булки.

.....

На растерянной земле
там, где певчим жить прохладно
буду в бронзовой семье
а поклонницы — охраной.
Ты за плечи грусть возьми —
не заплечных дел ведь мастер,
я вернулся мир казнить
всех, кто был фальшивой мастю!

На мой ремень ложатся сплетни —
кого до боли затянул!?
как будто в омут заглянул
двойник моей красивой смерти.

.....

Я подмосковный сизый день,
я открываю ваши церкви,
я разрываю ваши цепи,
и целоваться мне не лень.

.....

Не жизнь, а трава-полынь,
но раненого не порань,
пойми: тышине аминь,
пророчествуй и шамань.

Не рубищем образ дан,
не любишь, так кой же черт...
на Врубеля смотрит Пан,
поигрывая ключом!

Кого украдкой расскажу?
Кого помилую внезапно?
По шумным улицам брошу
визитной карточкою в завтра.
Нет ни двора и ни кола,
но все равно счастливой тенью
звоню во все колокола
растерянному поколению!
Я знаю, это ни к чему,
но как в пустыне вопиющий,
из всех святых скрутив чалму,
век пьяный гонит век непьющий.
Дракон приветствует распад,
а что любить? К чему стремиться?
Когда звезда уходит спать
спать... чтобы с горя не испиться.
Ее каморка так темна,
что и найти довольно сложно,
ведет нас рюмочка вина,
дрожит, оправдываясь слезно.
И ты, не сохранивший Бога,
свою весну боготворя,
клянись на черную дорогу
глухим мечом богатыря!!!

Осень (масло)

Владимиру Алейникову

Здравствуй, осень, — иотный грб.
Желтый дом моей печали.
Умер я — иди свечами,
Здравствуй, осень, — новый грб.
Если гвозди есть у баб,
Пусть забыт, авось осилят.
Перестать ронять губам
То, что в вербах износили.
Этот вечер мне не брат,
Если даже в дом не принял,
Этот вечер мне не брат
За узду седого ливня.
Переставшие пленять
Перестраивают горе...
Дайте синего коня
На оранжевое поле!
Дайте небо головы
В изразцовые коленца,
Дайте капельку повыть
Молодой осине сердца!
Умер я. Сентябрь мой,
Ты возьми меня в обложку.
Под восторженной землей
Пусть горит мое окошко.

ВОЛЬНЫЙ СЛУГА

...Вот совпадение, лишний раз подтверждающее, что за плотной пленкой так называемой «объективной реальности» существует реальность иная, лучшая. Узнав в сентябре 83-го (от прозаика Ю. Мамлеева, принесшего эту жуткую весть в редакцию парижской «Русской мысли») о гибели Леонида Губанова, я едва ли не в одноточье написал триптих «Памяти друга».

И вот через девять лет в проникновенной книге Ю. Крохина «Профили на серебре» (издательское предприятие «Обновление», Москва, 1992) читаю, что незадолго до смерти

Губанову «привиделся закат, заливающий полнеба, солице и на фоне его — белый конь. Сон этот Леоня воспринял как предвестие смерти. Жить ему действительно оставалось меньше месяца...».

«Божьих конюшен верный слуга» — этот эпитет я теперь заменил на... вольный, так точнее. Жизнь свою, свое творчество воспринимал Губанов — в соответствии с отечественной традицией — как служение: служение Богу, истине, но служение вольное, и воля эта не знала удержу. Воля перекрывала не только лирическую дисциплину, поэтику, но и сам инстинкт самосохранения. Он жил так, что губил себя; он не хотел, не умел поостеречься, «упоение у бездны мрачной на краю» не уравновешивалось у него пониманием, что поэзия — результат не только горения, но в не меньшей степени и упорядоченности, даже и холодка. Между поэзией и жизнью, реальностью ведь существует опосредующее звено, разом гармонизирующее и жизнь, и поэзию. Поразительно, даже феноменально: Губанов писал стихи два десятилетия, если не дольше, но, кажется, ему в голову ни разу не пришла мысль о собственно таком понятии, как совершенство. Нахрап, поток слов, образов, красок делали его поэтику экспрессивной донельзя, но порой хочется приложить ко лбу стихотворца холодный компресс: успокойся. Губанов — чисто русский, национальный талант, никогда не задумывающийся об отстое поэтики: она у него, конечно, менялась, но натурально, а не за счет продуманности и совершенствования мастерства. Он не позволял своему лирическому потоку остыть, оглядеться, попросту образумиться. И это творческое свойство экстраполировалось им и на свою жизнь, которая с первых же дней нашего знакомства (в октябре 1964-го) разом и изумляла, и восхищала, и раздражала меня. Я почувствовал, что чрезмерность Губанова не только разрушительна для него, но и его соратникам по поэтическому цеху мешает сосредоточиться. Он своим талантом «преодолевал пропасть в один прыжок», но... «но жертвы не хотят слепые небеса, вернее труд и постоянство». И то, что в конце 60-х воспринималось как неотшлифованная гениальность, через десять лет стало казаться уже неудачливой, неудавшейся гениальностью. В присутствии Леонида я стал испытывать неловкость: если не жалость — жалость не к нему одному, но ко всем нам — неприкаянным «переросткам», изгоям регламентируемой реальности. Его неуемный инфантилизм слишком напоминал о несуществовавших надеждах, точней, иллюзиях: иллюзиях, что рано или поздно мы войдем на равных в состав задействованной современной культуры. Не честолюбие руководило нами в наших надеждах и, разумеется, не жажда преисполнения, но желание открыто служить словесности и читателю.

Каждый из нас как-то притерся, пообвыкся в своей деклассированности, «поумнел»; только Губанов больно напоминал мне о энергиях юности.

Губанов был самородком, он не способен был мимикрировать, менять мироощущение, степенно наращивать мировоззренческий потенциал. Самородок крупный, редкай породы, необработанный, в принципе шлифовке не поддающийся. К нему нужен особый методологический, а точней, сердечный подход, губановскую поэзию нельзя оценивать как сильную или слабую, выискивать лучшие строки, раздражаться на худшие. Надо принимать ее как целый феномен, который навсегда останется в нашей литературе.

Губанов органично опрометчив, бесстрашен:

Все в царинах и ссадинах,
В присвистах и бубницах,
Моя родина — ты гадина,
И стоишь на подлецах.

У другого столь безжалостная констатация факта вызвала б возмущение: мы знаем другую истину — «не стоит село без праведника». Но вот пишет Губанов, и чувствуешь, что написано верно, написано по праву. Ибо по праву национальному поэту дозволено больше, чем в своих упражнениях культурологу.

Но мятежно нарушая табу идейные, нельзя нарушать табу эстетические. Ибо эстетика безжалостней и самого сурового политического режима.

Юрий КУБЛАНOVСKИЙ

Дмитрий Рахматов



ХУДОЖНИК И МАСКИ

Повесть

Прокурор сидел, повернувшись спиной к письменному столу, созерцая сверхвождя, поднявшегося со стула, на картине, которая висела над его головой. Накануне на заседании в обкоме секретарь, приехавший из Москвы, говорил, что сверхвождь недоволен излишней мягкостью в борьбе с врагами народа. Многие враги народа в области еще не выявлены. Сверхвождь требовал большей активности. Прокурор искренне, с энтузиазмом поддержал эту линию. Лично ему она кое-что обещала. Опасно было прокрадываться к Любе под взглядами людей на дворе. Его морально-партийный облик мог пострадать от тайных свиданий. А желание встречаться с Любой не убывало от опасности, а, наоборот, росло. Он не мог сопротивляться ей. Оставалось одно средство — убрать мужа законным порядком. На развод Люба не соглашалась из-за Никиши. Но в связи с кампанией усиленной бдительности неужели же не найдется дела, к которому можно будет пристегнуть Николая Николаевича, старого инженера?!

Вечером прокурор отметил начало кампании, угощая у себя полезных людей. Хорош был коньяк — подарок из винного магазина. Еще в прошлом году завмаг этого магазина вызывался в прокуратуру. Он магически уменьшал концентрацию вина и размер

Окончание. Начало в № 1 за 1994 г.

порций, отпускаемых в розлив за прилавком. У прокурора собралось достаточно улик, чтобы предать замага суду. Но, увидев перед собой мудрого сына Кавказских гор, практического философа, не придававшего значения таким мелочам, он понял, что снисхождение в данном случае более уместно и человечно. Тем более что кавказец-грузин был инвалид на обе ноги, ковылял на протезах. С тех пор прокурор стал получать на квартиру вино самое лучшее, «правительственного розлива».

Умение пользоваться своим положением прокурор не считал грехом. Напротив — оно свидетельствовало о его способности к руководству, так как отличало талантливых руководителей. В высочайшей степени этим талантом обладал сам сверхвождь. Прокурор, как и девушка на картине, с умилением смотрел на решительную фигуру, энергию и резкость которой художник подчеркнул падающим за ее спиной стулом. «Да, — говорил себе прокурор, — прошло время комдраков-бессребреников, получавших максимальный оклад рабочего, время партийных чисток, когда всякий беспартийный болван мог без оглядки публично лаять на руководителя и директора треста не отдавал поношенного костюма старьевщику, чтобы было что надеть, когда идешь в ЦК... Это время прошло благодаря ему. Он поднял на должную высоту авторитет руководства».

— Узнали новое о командире со шрамом? — Прокурор повернулся от портрета к следователю, приглашая его сесть.

— Новых данных нет, но есть интересная гипотеза, предположение пока что...

— Я тоже кое-что предполагаю. Вероятно, никакого командира не было. Наврал американец. Купил шубу у знакомых и не хочет их называть. Стал бы вор продавать возле того магазина? При других условиях я бы этого американца взял в оборот, он бы у меня сознался. Но с иностранным специалистом неудобно... политика!

— Возможно... И это возможно... Но возможно и несколько иное. Возможна гипотеза, объединяющая все три случая...

И следователь подробно изложил свою гипотезу о воре-актере.

Прокурор рассмеялся.

— Детектив... Шерлок Холмс! В вашем возрасте, с вашим опытом... такая фантазия!

— В нашем деле необходима фантазия. Без творческого подхода...

— Знаю, знаю... но это уже переходит границы. И вы, значит, хотите командировку на Дальний Восток? Проверка вашей гипотезы обойдется государству недешево... Впрочем, езжайте! — Прокурор вспомнил, что до конца года недалеко, а командировочный фонд не израсходован. «Если перейдет большой остаток, — предупреждал его на днях бухгалтер, — смету на будущий год урежут». — Езжайте, езжайте! Шансы в пользу вашей гипотезы крайне малы, но в данном случае нельзя пренебрегать и малым. Такой вор социально опасен, как враг народа... Борьба с врагами народа сейчас главное. А как у вас дома дела? Супруга все в том же положении?

— Отвез в больницу. Врачи хотят испробовать новое средство.

— А к гомеопату не пробовали? Сейчас тут один

в моде... Рысаков, кажется, или Русланов... Говорят, из Тибета приехал.

— Не хватало еще тибетского шарлатана, — искрыл раздражения следователь. — Удивляюсь, почему у нас до сих пор терпят эту гомеопатию.

— Не говорите. К нему за неделю записываются и большие гонорары несут. Значит, помогает кому-то. И Землянов в него крепко уверовал. Он Землянова дочь от детского паралича вылечил.

— Если так, конечно, — смирился следователь (Землянов был секретарь обкома).

— Но раз в больнице, придется вам подождать, пока выпишут. К тому же вы уезжаете... по холодным следам. Пожелал бы вам, как охотнику, да о пухе и пере не может быть речи... давно разлетелись.

В поезде, под аккомпанемент колес, в голове следователя прялась логическая нить розыска. Если рыжебородый капитан был ролью, а не реальностью, то, несомненно, просуществовал недолго: носить долго фальшивую бороду опасно. Следовательно, преступник, живший двойной жизнью, должен был прописаться в городе в своем реальном образе как-то иначе. Надо получить сведения о всех прописанных около того времени, когда шведы купили меха. И, несомненно, вор не оставлял себя без работы все эти годы. Надо выяснить, какие преступления остались нераскрытыми...

На первом шагу следователь споткнулся. Список приезжих ошеломил его длиной. Город был в зоне повышенной зарплаты. Из разных мест приезжали сюда за рублишком. Завербовывались на срок, по договору, и, отработав два-три года, уезжали обратно. Много приезжало и без договора. А в тот ставший уже далеким год народ хлынул сюда вулканической волной. Бежали с насиженных мест вспучнутые деревенской реформой — коллективизацией — и от голода на Украине, где неурожай прибавил беды к реформе. Приезжавшие самотеком тоже не засиживались долго на месте. Многие перебирались дальше, на самый отдаленный восток и север или в более близкие города края. Чтобы проследить всех прописавшихся в те знаменитые месяцы, следователю пришлось бы потратить годы.

Но ему повезло в другом. Четыре года назад на главной улице ограбили кассу ресторана. Ограбление совершил проезжий слесарь, устроивший мастерскую в щели, отделявшей ресторан от соседнего дома. По фасаду щель была заделана кирпичом и штукатуркой. В мастерскую входили со двора через глухую, утепленную дверь (солидные стояли морозы). За дверью слышались звуки пилы, сверл, молотка, но никто на дворе не обращал внимания. Внимание привлекала больше занятная личность слесаря: пожилой еврей в очках, с бородой надвое, волосы курчавые, с сединкой, на макушке прикрыты шапочкой, которую он никогда не снимал. Говорил с акцентом, остроголовил. О себе рассказывал, что завербовался на Чукотку, да опоздал на последний пароход и ждет навигации. Поэтому получил разрешение поработать в щели до весны. Работал искусно, добротно, но нерегулярно. Бывало, полдня отсутствовал, а то и весь день. Задерживал заказы, и не прошло двух недель, как вовсе исчез. После той ночи, когда из щели разобрали стену в ресторан и взяли кассу, его не видели. Нашли вдову, у которой он комнату снимал. Оказалось, он почти

что не бывал в ней. Говорил вдове: у него знакомые здесь. А где жили знакомые, вдова не знала. По всем жезлым дорогам объявили розыск, во всех городах края — и ничего. Удивительно, как могла такая заметная личность бесследно исчезнуть.

«Не было никакого еврея, — понял следователь. — Еврей — маска, грим, как и рыжебородый капитан». Его гипотеза оправдывалась.

Больше среди нераскрытий дел не было подходящих. Вероятно, дальше вор проявлял себя в других городах. Но последним-то явлением был командир с чемоданом. Поэтому самое разумное было ехать домой. И следователь поехал обратно, захватив списки приезжих.

Поначалу Ларисе в больнице стало как будто лучше, а после — хуже. Скованность прогрессировала. Через три месяца ее выписали как неизлечимую.

Карина встретила ее радостным повизгиванием и не отходила от постели. Даже на прогулку со следователем пошла неохотно. Немного побегав и повернувшись у деревьев на бульваре, потащила его домой. Ларисе казалось, что призывают силы, когда, погрузив в густую шерсть руку, она чувствовала живое тепло. Надежда, не оставлявшая ее, сосредоточилась теперь на необычайном враче, о котором рассказывали больные в ее палате.

И на другой день она сказала мужу:

— Позови ко мне Русанова... пожалуйста. — Большие зеленые глаза умоляюще смотрели на следователя.

— Русанова?

— Да, да, Русанова... Ты не веришь, я знаю. А я верю... и все говорят...

— Все?! — Следователь презирал разговоры о чудесах, совершаемых приезжим целителем, якобы побывавшим в Гималаях и постигшим тайны тибетских врачей. Следователь признавал в науке лишь столбовую дорогу, по которой шло вперед человечество, накапливая опыт. Окольные пути обманывали слабых, малодушных. Но так просящ был взгляд русалочных глаз, что он не решился возражать.

«Бесполезно... но нельзя отнимать у нее последнюю надежду», — сказал он себе.

Позовин, гомеопат долго ждал у парадной двери. Бабка оттаскивала Карину в соседнюю комнату. Заневес, пошла на звонок и проводила гомеопата к постели больной. Больная молчала, глаза ее метались, как две пойманные светлые мыши.

«Боится, — понял гомеопат. — Родные напугали». Он посмотрел на старуху, осевшую в ногах больной, как камень во мху: древнее, неумолимое божество без искры во взгляде, без надежды.

— Дети есть? — спросил гомеопат. — Детям можно к ней приходить, а мужу не надо... пока не поправится.

Старуха недоверчиво покачала головой.

— Не поправиться ей. Нет, не поправиться. Отмучилась бы скорей. И в больнице ее не хотят. Умирать, говорят, может и дома.

— Тогда при чем я? Зачем меня позвали?

— Она просила. — Старуха кивнула на больную. — Набрехали ей про тебя, а она верит.

— Изыдите, бабушка, — сказал гомеопат грозно.

Старуха поднялась, поплелась на кухню. Отпереть дверь в смежную комнату она опасалась: как бы заперта там собака, оттолкнув ее, не бросилась на врача. А Карина недружелюбно ворчала и лаяла толь-

ко вначале. Потом затихла, словно слушала, как гомеопат разговаривал с Ларисой.

— Не верь им, — говорил гомеопат ласково, переходя на «ты», вероятно, испытав не раз благоприятное влияние на женщин этой близости. — Ни мужу, ни бабушке, никому не верь. И больничным врачам тоже. Не понимают они тебя.

— В больнице лучше было, да не стали дальше держать, — сказала Лариса неожиданно звонким голосом.

Неожиданно и Карина отозвалась из соседней комнаты радостным повизгиванием, каким встречала следователя, когда он приходил домой.

«Обозналась», — удивилась Лариса.

— Собака просится, — сказал гомеопат. — Открыть ей?

— Нельзя. Она бросается на чужих.

— Как болезнь... бросается на тех, кто боится. — Гомеопат пошел к двери, повернул ключ и открыл.

Карина не бросилась на него. Прокосчив, собака обежала комнату, принюхиваясь, ища чего-то. Потом подошла к гомеопату, стала лизать его руки и дальше, обрадованная, прыгать и лизать лицо.

— Она вас знает! — воскликнула Лариса и, забыв про боль, приподнялась на подушке.

— Умный зверь. — Гомеопат бесстрашно сунул руку в зубастую пасть. — Как звать ее?.. Карина? — Он внимательно всмотрелся в собаку. — Откуда она у вас?

Выслушав рассказ об Алешине, гомеопат взял тщущую руку Ларисы, погладил ее.

— В Бога веришь?

— Нет, — пусто прозвучал голос Ларисы.

— Правильно. Бога нет над нами, значит, и законов нет. Законы, которых люди боятся, ими же самими и выдуманы. И для тела твоего доктора установили законы, а ты им не верь. И законов их не бойся. Это самое главное. А чтоб ты не боялась, могу помочь тебе. — Он вынул из кармана пузырек, накапал из пузырька в кружку с водой, стоявшую на столике. — Держи... Не так, обеими руками. Пей!

Больная зажала кружку двумя руками, стала медленно поднимать ее.

— Ближе, ближе, не бойся. Твое здоровье тут, — подстегнул гомеопат, когда кружка остановилась, не дойдя до губ.

С лицом, искаженным ожиданием боли, Лариса решилась на последнее усилие, довела край кружки до рта и стала втягивать в себя жидкость. Боли она не чувствовала.

Обещав прийти еще, гомеопат пошел в переднюю. провожаемый Кариной, которая прыгала вокруг него.

— Колдун он! Приворожил зверя.

Старуха рассказывала следователю, как собака обрадовалась гомеопату.

«Гипнотизер — этот тибетский целитель, — решил следователь. — И лечит, должно быть, гипнозом». Удивила его, однако, такая активность в поведении собаки. Гипноз должен был вызывать пассивное послушание.

Ларису он нашел посветлевшей и повеселевшей. Она хотела видеть детей. Просила вернуть их домой. Не соглашалась теперь, что им лучше у ее родителей.

— А тебе он не велел приходить ко мне, — сказала она со вспышкой веселья в зеленых глазах. — Думает,

ты плохо влияешь на меня. Пессимист, не веришь в выздоровление.

Следователь не очень верил и сейчас. «Психологический эффект... долго не продержится», — думал он, глядя осторожно на возбужденную Ларису.

Однако перемена в ее настроении возбудила и его. Вечером он долго работал, зная, что все равно не уснет, если ляжет на ожидавший его за ярким кругом от лампы диван, на котором он стелил себе на ночь. Позже, лежа в темноте с открытыми глазами, он собирая в памяти то, что слышал и читал о гипнозе, о его целебных возможностях и силе воздействия на людей и животных. Вспомнилась опять Карина по рассказу бабки. Пришла забавная мысль: по законам следствия, не признающим исключений, он должен был бы проверить гомеопата, поскольку собака-свидетель так реагировала на него. «Взять командировку в Гималаи...» Следователь улыбнулся, представив себе, как прокурор ответил бы на такое предложение. В следующую минуту он вскочил с постели, голый, включил лампу и стал рыться в письменном столе, ища сибирские списки.

Кровь прилила к голове, когда, пробегая глазами, он нашел на четвертой странице строку: Русанов Алексей Михайлович, 1902 года рождения, врач... Он посмотрел на дату прописки... тот самый месяц, когда шведы купили меха! «Невозможно, невероятно...» — бормотал следователь. Но как легко теперь объяснялась встреча с Кариной...

Назавтра, прияя раньше с работы, он ждал дома гомеопата. Но гомеопат не пришел. А на другой день пришел много раньше установленного часа. Неделю следователю, перегруженному работой, не удавалось встретиться с ним.

За эту неделю и следующую Лариса преобразилась. Сама садилась в постели, сама ела и, наконец, сползла в приставленное к кровати кресло. Из кресла смотрела на Русанова привязчиво, живо. Глаза не бегали, страх пропал.

И каменная старуха несколько оттаяла. Наклоняясь, пристально всматривалась в узкоскулое лицо с рыжей крышей, силясь разгадать колдовство частного врача.

— А мне можешь помочь? — спросила она однажды. — У меня что-то тут начинается.

Она потрогала нижнюю челюсть. Все зубы у нее были на месте, но один начинал заявлять о себе.

Гомеопат засмеялся.

— Это, бабушка, хорошо, что начинается. У других в вашем возрасте все кончается.

Следователю гомеопат в последнее посещение сказал:

— Теперь можно и в больницу. Теперь от нее не откажутся. Вы, конечно, тем врачам верите больше?

В светлых глазах над узкими скулами блеснула насмешка, вызов даже. Следователю мерещилось, что гомеопат смеется над ним и над властью. Как убежденный материалист, следователь не верил ни в чудо, ни в божество. Но и неверующему трудно признать хомо сапиенс за высший разум вселенной. Уж очень много их, этих хомо, и слишком они несвободны и несовершены в постоянном конфликте друг с другом. Должно же быть организующее начало над ними. В сознании следователя таким началом была общественная сила, представляемая властью. Он служил власти, раньше царской, а теперь советской, как

божеству. И как служитель культа требовал ото всех признания власти и подчинения ей.

— Я по профессии не привык полагаться на веру, — ответил он, помедлив. — Я полагаюсь на знание, на науку, на факты.

— И что говорят вам факты?

— Факты молчат. Факты ждут, чтобы их объяснили.

Говоря это, следователь думал о двух фактах, ожидающих объяснения: поведение собаки и пребывание гомеопата в городе, где ограбили ресторан и где шведы купили меха. Была ли причинная связь между этими фактами или случайное совпадение? Чтобы выяснить этот вопрос, требовалось дальнейшее расследование. Но не самоубийство ли вести следствие против человека, возвращавшего ему семейное счастье? И как будет реагировать Лариса, когда узнает, в чем он подозревает гомеопата? Не поразит ли опять болезнь ее нервы?.. Личное, врываясь в служебную сферу, лишало следователя уверенности.

Резкий нетерпеливый звонок в передней разбудил Любку и Николая Николаевича. За черными стеклами шумели невидимые потоки дождя. Через глухую, обитую вьюлком дверь не сразу узнали изменившийся голос дворника: «Отоприте! К вам!»

Впереди дворника вошли трое военных, и, хотя во всех комнатах зажгли свет,казалось, что ночь вторглась в квартиру. Ворошили комнату за комнатой. С полок в кабинете брали и листали каждую книгу. Стучали по стенам. Смотрели в отдушинах. Только две комнаты обыскивали бегло: переднюю, где оставили сторожить красноармейца, и никишину детскую. Никишину не разбудили, кровать его не смотрели.

Под утро, когда уже рассвело, показали бумагу со штампом и печатью из страшной канцелярии и увели Николая Николаевича.

Всю ночь, пока обыскивали, Николай Николаевич волновался, и Любка его волнение было заметнее, оттого что он старался его скрыть. Но когда его уводили, он был спокоен и, целуя ее, улыбался. «Это — недоразумение, — сказал он ей. — Я скоро вернусь». И хотел еще что-то сказать, важное, поняла Любка, но запнулся, заметив, что к ним прислушиваются.

Однако он не вернулся ни на следующий день, ни через месяц. Любка кидалась за помощью к влиятельным знакомым, к сослуживцам мужа, но все отвернулись от нее. И только прокурор пришел и даже принес Никишину игру — бильярд. А отцу он помочь не может, так он сказал ей, дело сложное, замешаны многие, и оно ему не подследственно. Любка поняла, что он не поможет, даже если бы мог. Но он уже был ей необходим, как и она ему. Когда собирались заселить лишние комнаты, она была рада, что он получил ордер и переехал к ней. О том, что будет, если освободят Николая Николаевича, она старалась не думать.

Николая Николаевича не освободили, ему дали восемь лет лагеря.

Отправив Никишина в школу, Любка и прокурор пили кофе. Приятные утренние полчаса. Ей приятна ласковая легкость халата на теплом от постели теле. Ему приятна округлая линия ее плеч, от движения которых халат раздвигается, открывая нежный промежуток между холмами.

— Письмо от Кости, от брата.

Люба показала конверт с растрепанным краем.

— Получил посылку?

— Да, и мое письмо, в котором я ему писала о несчастье с Николаем Николаевичем. Он хочет приехать, повидаться со мной. Первый раз пишет об этом с тех пор, как в колонии.

— Вышли ему на дорогу.

— Он пишет: у него есть. Скопилась пенсия за несколько лет.

Прокурор засмеялся.

— Вот оно, значит, где накопление капитала... в колонии инвалидов. Надо учесть.

— Ты знаешь, мне кажется, ему будет у нас хорошо. С Николаем Николаевичем он не ладил, а с тобой... я думаю, вы сойдетесь. У вас будут общие воспоминания... о войне. Он не большевик, но уважает тех, кто активно сражался. Вот Николая Николаевича он не уважал... за мягкотелость, за то, что Николай Николаевич любил рассуждать о политике, ничего не испытав, не участвуя активно.

— Теперь испытает. Дадут ему жизни. — Злая радость блеснула в глазах прокурора.

— А мне жаль Николая Николаевича, — медленно вымолвила Люба.

Чтобы смягчить несогласие, она пододвинулась к прокурору, обняла его. Почувствовав сквозь тонкий халат мягкотелость и тепло ее тела, прокурор взглянул на стенные часы. «Нет, нельзя. Пора уходить».

Он хотел встать, но Люба задержала его.

— Ты знаешь, почему я еще хочу, чтобы Костя приехал? Надо показать его Русанову. Один глаз у него цел, может быть, все-таки можно отчасти восстановить зрение.

— Если затронут нерв, крышка.

— Неизвестно, что у него... Лариса, жена Круковского, была совсем безнадежна. Врачи определяли рассеянный склероз, а Русанов ее вылечил.

— Валяй, валяй... Терять твоему брату нечего. Слепее слепого не станет.

Не за мягкотелость не уважал художник сестриного мужа, а потому, что Николай Николаевич, не жалуя советскую власть, отзываясь о ней пренебрежительно в тесном кругу, тем не менее служил ей, усердно работал на нее за почет и за деньги. Из-за выгоды и карьеры он пошел на службу к власти еще в те первые месяцы, когда большинство интеллигентии ее бойкотировало. А теперь попал под колеса машины, на которой ехал с комфортом, пока она давила других. В этом художник видел высшую справедливость. Все, кто как-то содействовал революции, пострадали от нее. Никто не выиграл. Началось в войну с речей в Думе против царского правительства, потом князья убили Распутина, февральский переворот, буржуазные министры, генералы, Керенский, эсеры правые, левые, анархисты... где теперь эти деятели?

«Коварный конь — наша революция, — думал художник. — Не дает на себе долго поездить. Вот уже и ученые попутчики большевиков, интеллигенты-специалисты, летят с коня, и сами большевики, даром что заслуженные наездники, испытанные каторгой, ссылкой, войной».

В итоге — игра вничью между многими партнерами. Художник не жалел, что выбыл из этой игры

зрячих. Верно говорил тот слепой с портфелем и ореховой палкой — член правления. Многое открылось художнику в колонии. Через любовь к здешним людям пришло новое знание. Его тоже любили. Больше всех он был нужен Клаве и библиотекарше.

Клава не помнила родителей. Росла в детдоме. Бежала из него. Бродяжничала с мальчишками. Ездила в ящиках под тормозами и на крыши вагонов. Видела морскую воду, блещущую на просторе, тяжко бормочущую у берега, и горы, омываемые небом и дающие приют облакам. Спала на согретой костром земле, в стогах, в теплых асфальтовых котлах, в холодных разрушенных зданиях на пропахших пылью мягкими чердаках и на жестких скамьях в беспокойно гулких, заплеванных, засоренных вокзалах. Знала, чем какой город богат. Связывалась с ворами, сталкивалась с милицией.

На вокзале южного города дала миру нового жильца, беволосого, сморщенного, жалкого. Но глаза его, ярко-синие, были красивы, как море. Ей надо было забыть о нем. С этим условием жена бухгалтера роддома взяла мальчика в свою семью.

Неиспользованную материнскую нежность Клава дарила взрослым мужчинам. Легче всего ее сердце брали те, к кому неласкова была судьба. К художнику привязалась потому еще, что он был человек необыкновенный. Как ни много видела Клава на своем коротком веку, а ее тянуло все дальше, к чему-то, чего она еще не знала, но верила, что оно есть и что оно важнее всего.

Библиотекарша старалась не замечать взаимного тяготения между художником и Клавой. Связь их казалась ей неестественной, непрочной. Разве естественно так сближаться с тем, кто не может разделить твоих интересов к наукам, к искусству, к литературе? А себя она чувствовала близкой к художнику. Он охотно разговаривал с ней и еще охотнее слушал, когда она ему читала. Не только стихи, но и статьи из популярных научных журналов. Его, как и ее, интересовали современные открытия в науке и технические достижения. Только воспринимали они их по-разному. Библиотекарша — на веру, не сомневаясь в прогрессе. А художнику казалось, что с наукой происходит процесс, который он пережил, когда терял зрение: темное пятно расплывалось, поглощая вселенную.

В самом деле, странные это были открытия. Они отдаляли природу от человека, вместо того чтобы приблизить, сделать ее более понятной. Как своюенравленная царевна в сказке, природа предлагала своим ученым любовникам утомительные головоломки с бессмысленными решениями. Из тесного объема атомного ядра, как из кармана циркового фокусника, извлекались все новые и новые частицы с разными индивидуальными свойствами, и легчайшая из них являла себя то частицей с весом и диаметром, то безграничной волной невесомой среды. Свет, хоть и не весил ничего, а обладал способностью давления. И распространялся свет в пространстве с колдовской скоростью — измеримая, конечная, она тем не менее не складывалась с другими скоростями: не увеличивалась, когда источник света бежал навстречу земле, и не уменьшалась, когда он убегал. А млечные звездные селения, закрученные в спирали, разбегались в разные стороны с огромными скоростями, будто

вселенная охвачена последствиями происшедшего когда-то взрыва.

Незримый фокусник, забавляясь, дурачил ученых. Их лаборатории с кривой посудой и уродливыми металлическими конструкциями всегда казались художнику местом, приспособленным для демонстрации фокусов, а не для открывания истины. В материальной сфере фокусы эти находили полезное применение, и это будто бы свидетельствовало об их реальности и происхождении от истины. Однако в гораздо большей степени они применялись во вред. И вред от них рос много быстрее пользы.

— Дедукцию ад абсурдум. — Художник невесело улыбался, когда библиотекарша прочла о возможном нечаянном взрыве земного шара в результате лабораторного опыта. — Значит, где-то в начале ошибки.

— Ошибка? — Черные, как ночь, глаза библиотекарши смотрели недоверчиво. Она не допускала возможности ошибок в научной статье. Читала, чтобы понять, усвоить, а не возражать.

— Подумайте, может ли жизнь на Земле зависеть от любопытства ученого? Абсурд!

— Научно доказано, что может.

— Ошибка! В формулах не все учтено. Любовь, например... Ее нельзя измерить числом. Но разве любовь не такой же реальный факт, как световая волна, атом, хлорофилл, электрический ток?.. Она реальнее, все ее знают, а атом — только предположение.

Библиотекарша покраснела. Она всегда краснела, когда говорили о любви.

— Вы видели когда-нибудь кукольный театр? — продолжал художник. — Каждая кукла — это идея художника, а не комок тряпок, и их действие на сцене — это идеи автора и режиссера. Нельзя рассматривать кукольное представление как последовательность движений, подчиняющихся физическим законам.

— То куклы, а не настоящая жизнь.

— И в жизни может быть так. Надо искать идеи, дающие смысл всемирному представлению, в котором мы с вами участвуем. А ученые ищут физические законы. Поэтому приходят к бессмыслицам.

— Идеализм, — растерянно пролепетала библиотекарша. Она обиделась, не поверила, что художник говорит серьезно.

А он говорил то, что думал.

Кукольная аналогия увлекала его, подсказывала новые мысли. Ему представлялась ученая кукла, желающая постигнуть сущность окружающего ее мира. Не понимая человеческой речи, не зная, что она, другие куклы и все, что происходит на сцене, рождено мыслями и переживаниями автора пьесы, любопытная кукла пытается понять смысл явлений их непосредственным опытным изучением. Она исследует механику движений и физическое строение своего и других тел, структуру материалов, из которых сделаны тела, их химический состав и т. д. Чем успешнее углубляется кукла в свое исследование, открывая новые факты и законы, тем больше удаляется она от понимания источника, давшего ей жизнь, и от смысла своей роли и того действия, в котором она участвует. Законы, открываемые ученой куклой, неизвестны автору. Она создает сама свой бессмыслиценный, сумасшедший мир.

Куклы в нем двигаются, изнашиваются, стареют, омолаживаются починками, но не в этом их жизнь. Они живы только тем, что отражают идеи автора и выполняют свои функции в его пьесе. А кукла, ничего не зная об авторе, не понимая своей роли, признает реальность только материального мира, который она воспринимает физически и изучает.

«Так же и мне, — думал художник, переходя от куклы к человеку, — мир, ощущаемый пальцем, кажется реальнее того, который я чувствую сердцем. Вот в чем ошибка».

Апрельским утром, в воскресенье, библиотекарша пришла веселая, возбужденная книжкой из нового пополнения — научно-критической, о Библии. Тут все было ясно для нее.

— Разве интересно? — спросил художник, поморщившись.

— Полезно, во всяком случае. И папаша послушает.

Старый бродяга не повернулся от окна. Отболев неделю, он жадно ловил признаки ранней весны в парке, насыщенном светом, с четкими тенями сосновых колонн на нежно-зеленых лужайках. Волнуемый воспоминаниями, чувствовал, как призывают силы.

В книжке кратко, с издевкой, пересказывались библейские истории, знакомые художнику со школьной скамьи, отчасти и раньше.

Начиналось с того, как Бог сотворял мир и был по-авторски весьма доволен каждым своим творением. В завершение он отразил и себя в этом прекрасном мире, создав по своему подобию человека — мужчину и женщину — идеальное воплощение двух дополняющих друг друга начал. На этом он кончил и, удовлетворенный, отдался отдыху. А дальше как непосредственное продолжение следовал совсем иной рассказ о создании человека. Бог делает мужчину из земли, из праха, и только спустя некоторое время — женщину из ребра мужчины. Очевидно, что эти материальные создания не могли быть подобиями Бога — незримого духа. Да и сам Бог приобретает черты весьма неприятные. С жестокостью Синей Бороды предупреждает он мужчину и женщину, чтобы не ели плодов с дерева познания добра и зла, зная наперед, что они не удержатся, ибо Бог знает все. Они соблазнились запретным плодом, и Бог покарал их, лишив блаженства и бессмертия.

«Почему познание добра и зла было запретным плодом? — соображал художник. — Способность различать добро и зло есть высшее качество человека, отличающее его от животных... К тому же в раю оказалось зло в виде змеи. Следовательно, надо было человеку уметь разбираться. Кстати, откуда взялось в раю зло? Ведь Бог делал только доброе, весьма хорошее и сделал все перед тем, как стал отыхать».

— Познание зла не избавило от него людей, — продолжал художник внимать библиотекарше. — Наоборот, зло распространялось, как сорная трава, заглушая добро. Люди вырастали физически сильными, жили долго, но мораль их падала. Распространялись тирания и рабство. Кончилось катастрофой — потопом, по воле Бога. После потопа раса человеческая сильно ухудшилась, уменьшился средний возраст, но моральный облик человека существенно не изменился. Люди по-прежнему жили не в ладах с Богом, были

глухи к его голосу. Крайне редкие из них признавали его единственной властью. С одним из таких — мужчиной незлобивым, но и не героическим, со многими слабостями — Бог заключил договор. Он обещал его потомству — евреям — землю и власть над другими народами при условии, что они будут признавать Богом его и только его. По-видимому, Бог был не только жесток, но и честолюбив. Евреи то и дело нарушили договор, сомневались во всемогуществе Бога. Бог карал их за это, но договора не расторгал; не находил, что ли, людей понадежнее?

— Хватит, — возмутился художник. — Ерунда какая!.. Удивительно все-таки...

— Чему удивляться? Вздор, ясно. Поповские басни! — Библиотекарша победно тряхнула черными кудрями.

— Удивительно, что культурные народы, многие образованные умы были так долго под влиянием этих басен, столь неправдоподобных, противоречивых, нелепых...

— Потому что не было настоящей науки. Теперь наука разоблачила их... Все кашляешь, папаша. А куришь... Вам вредно.

Ушла библиотекарша удовлетворенная, будто решила трудную задачу.

— А может, темнил он? — спросил старик, оставшись наедине с художником.

— Кто темнил?

— Который писал ее, книгу-то эту... Библию, что ли? Завязал узелок на память.

— А зачем, собственно?

— Правду-то разве бы напечатали? Нынче не печатают и тогда, верно, также. Вот и завязал узелок, наследникам развязывать, кто похитрей.

Художник вспомнил, что древние жрецы действительно пользовались символами и аллегориями. «Темнили» — прятали мысли в непроницаемом тумане. Даже Иисус говорил с народом притчами и объяснял их только ученикам.

Несколько дней художник подбирал ключи к блейскому шифру. И опять помогла аналогия с куклами.

Вместо кукольной пьесы — мировая комедия. Автор ее — божество, не индивидуум, а неограниченный разум и любовь, мужское и женское начало, источник жизни. Его творения, как идеи автора кукольной пьесы, принимают на сцене зримую, ощущимую форму — материю, которая отражает их, но не содержит в себе. Так дерево может отражаться и в воде, и в стекле, но ни стекло, ни вода не содержат в себе дерева. Божество отразило и себя непосредственно в созданном им мире, сотворив человека по своему подобию — мужчину и женщину. Они (люди) свободны, как само божество, и так же способны к творчеству, к воплощению идей в материальных образах. Свобода дает им власть над собой и над всеми другими творениями божества. На этом заканчивается деятельность автора — Бог отдыхает.

Очередь за человеком — он должен действовать, играть божественную комедию. Но, чувствуя себя материальным, человек обманывается. Ему мнятся (сон Адама), что зримая, ощущимая форма — материя — составляет его сущность, что он сделан из нее, а божественное начало, душа, — только слабая часть его, заключенная в материю. Так, кукла на сцене может

думать, что изделие из тряпок — это она, а нити, управляющие ею, — это все, что связывает ее с высшим миром. Отсюда желание познать то и другое — добро и зло, душу и материю. Человеку кажется (облазн змея), что, познав материю, он получит власть надней («Будете как Боги»). Но, изучая строение и движение воды, ничего не узнаешь об отражающемся в ней дереве. Изучая материю, человек познает то, что не создано божеством. Открывает не реальный мир, а мнимый и, теряя божественную свободу, становится пленником законов мнимого мира, рабом матери. Эта ошибка и есть зло, которое вносит в мир человек и о котором божество ничего не знает. Иегова — карающий Бог — тоже мнимый, выдуманный человеком по ошибочному, дуалистическому представлению о себе и о мире. Только признавая божество единственным источником жизни, освобождается человек из плена материи и обретает свободу, которая является его настоящей природой, и тогда все созданное божеством становится его владением — договор Бога с людьми. Неудивительно, что евреи постоянно нарушили договор, понял художник. Трудно понять человеку мнимость материи. Редко кому удавалось это.

В воображении возникали еврейские пророки, Будда под деревом со скрещенными ногами, Иисус в пустыне и на горе...

Прежде художник не верил евангельским чудесам так же, как и древнееврейским. Толпа возносит пророков баснями. Но что был такой человек Иисус, учивший, как рассказано в евангелиях, в этом он никогда не сомневался. Теории не возникают из воздуха и не создаются толпой. Есть теория, значит, был и человек, открывший ее. А евангельское учение — теория новая, неожиданная, оригинальная.

Впрочем, оригинальность оспаривается, вспомнил художник. Еще когда он жил у сестры, ему попалась книжка, в которой доказывалось, что Иисус открыл народу то, что было уже известно посвященным в таинства древних мистерий — религиозных сцен, разыгрываемых между избранными. Смертью угрожали жрецы этого культа тому, кто откроет их тайны непосвященным. А Иисус открыл всем, поэтому его и убили. Однако в мистериях, описанных в книжке, художник нашел лишь неясные намеки на то, что с такой определенностью выразил Иисус притчами и проповедями. И если отдаленная связь и была, то ведь всякая теория, даже самая оригинальная, уходит корнями в прошлое.

Конечно, не всему рассказанному в евангелиях можно верить. Иисус сам не писал, объяснял устно. Даже ученики его плохо понимали его учение. Он упрекал их за непонимание. А были это самые близкие ему ученики... двенадцать. Вместе с ним тридцать... чертова дюжина! — художник улыбнулся. Несчастливое число. Не потому ли один из них предал его, а остальные разбежались, когда его взяли?

У такой аудитории теория не имела бы успеха, если бы он не подтверждал ее фактами. Значит, все-таки были и чудеса. Не чудеса, а опыты — экспериментальные доказательства связи человека-актера с автором пьесы — с божеством. Из-за этих удачных опытов Иисуса возвели в сан Бога. И тем окончательно погубили понимание его теории. Лицет Йови, нон лицет бови, не все, что возможно Богу, доступно человеку.

Нет, по его теории все люди, как и он сам.— дети божества и по одному этому свободны, как и оно. Могут открыто распространять свет, который они призваны отражать, не боясь темных законов материального мира.

— Человек для свободы рожден,— говорил и старик, прощаясь с художником, уходя к югу с мечтой о ветреных весенних дорогах в теплой степи.— Вопрос: долго ли погулять придется? Паспортами стреножат, как при Николае. Может, и за решетку будут сажать, кто свободно путешествует? И такое бывало при царе... за бродяжничество.

— Дальше назад забирай,— смеялся художник.— С Юрьевым днем у нас социализм... как при Иване Грозном.

— Истинно так. Шли передом, вышли задом. Земля круглая.

Оба имели в виду новый закон о прогулках, затруднивший переход с одной работы на другую. Он их никак не касался, но когда власть завинчивает гайки, чувствуют все.

«Змей в 17-м году соблазнил... Будете как Боги»,— думал художник.

Ему пришла мысль, что признание материи реальностью ведет к многобожию. Как древний язычник, современный человек верит во много богов — в законы природы. Инерция, тяготение, наследственность, борьба классов... Страшные, неумолимые боги — без души, без любви! Идолы, сделанные людьми, их разумом... Язычники приносили своим рукотворным богам жертвы, убивая живое. И современные люди приносят в жертву богам-законам самое ценное, что у них есть,— свою свободу. Взамен получают страх перед неживым, страх смерти.

И художник старался не думать о законах материи, чтобы успешней преодолевать страх.

По вершинам елей и сосен сигали легкие, быстрые белки. Художник слушал их, отыкая на поваленном бурей дереве. Сквозь хлещущую, колючую чащу знакомая тропка с поворотами, запруженная валежником, вела к небольшому озеру. Тонко звенели комары, сладко пах ландыш. Шупая, художник находил цветы и видел гладкие длинные, как лезвия, листья и упругий ярусный стебелек с мягкими нектарными чашечками. Он видел все, по-своему.

Ели мохнатой семьей подходили к самому берегу, мягкому, мшистому. Вдоль воды художник добирался до высокой поляны с цветущей травой. Стрекозы, выбирия, буравили горячий воздух. Озеро лежало внизу, неподвижное, как зеркало.

Кроме художника, никто не купался в нем. Жутко холодна была вода, глубокая, черная, с опрокинутым в нее небом. И худая слава оберегала озеро.

На дне его нашли трупы двух сестер, живших в избе, когда-то стоявшей на поляне, где летали стрекозы. Сестры жили в достатке, с коровой и огородом. Осенним утром в военную заваруху попросил у них воды прохожий, назвавшийся беглым солдатом с фронта. Сестры напоили и накормили солдата. В благодарность помог он им по хозяйству. Остался на ночь, а после ночи и насовсем. Два года трое жили в согласии и вдруг, продав корову, исчезли. Долго искали их, пока не нашли в озере трупы женщин, зарубленных топором.

Место, где стояла изба, художник узнавал, нащу-



пывая палкой разбросанные в траве кирпичи. Бревна растаскал народ из ближней деревни.

— Чертова чаша!

Голова художника с впавшим глазом отражалась в зеркальной поверхности среди нераскрывшихся лилий, напоминавших Клаве змеиные головы. Ей мнилось, что лилии опутали его своими тяжелыми стеблями и тянут ко дну. Но он улыбался, посвященный в тайны дикого места. Услышав ее, легко выплыл на чистую воду и поплыл на звук ее голоса к берегу, к одежде.

— Ой, зябко! — воскликнула Клава, глядя на антично красивое тело с дрожавшими, как бриллианты, яркими каплями.

— Хорошо! Обжигает. — Кожа художника краснела от крепких прикосновений полотенца. — Бог создал эту красоту, а человек сделал ее купелью дьявола.

— Тебе письмо, от Любови.

Клава стала читать вслух письмо, с которым прибе-

жала к озеру, чтобы скорей обрадовать художника. Но в голосе ее не было радости. Письмо звало, и если художник уедет, — думалось Клаве, — то вряд ли вернется: без сестриного мужа, которого он не любил, ему будет хорошо у сестры. И в дому у нее теперь свободно. «Ну, и я уйду куда-нибудь, здесь не останусь». — Клаве надоела колония, она давно бы ушла, если бы не художник.

— Значит, зовет Любовь! — весело воскликнул он. — Поедем к ней?

— Меня она не зовет.

Клава покраснела. Она запрещала себе думать, что художник может и ее взять с собой. «Куда мне в их семью. Сестра стыдиться будет».

— Глупости. — Художник понял, о чем она думает. — Ты не знаешь Любу. Она будет рада. Николай Николаевич создавал в их доме обывательскую атмосферу, а она другая...

Художник забывал, что сам-то он переменился в колонии.

Поезд пришел рано утром.

На звонок входную дверь открыл прокурор. Увидев художника, отшатнулся, будто его ударили.

«Нервный начальник», — подумала Клава. — Слепого испугался».

Люба, взвигнув, кинулась обнимать брата.

И, догадавшись, кто приехал с ним, возбудилась еще громче, целуя Клаву.

Потом спохватилась.

— У меня, Костя, есть тоже новый близкий друг... Я не писала тебе. Познакомься...

Она обернулась, чтобы соединить брата с прокурором.

Но прокурор исчез из передней. И в комнатах она его не нашла.

— Ушел... Не понимаю. Еще не так поздно. И ведь ждал твоего приезда.

Клава удивилась еще больше: «Ждал и... сбежал!»

Она заметила, как прокурор, сняв с вешалки плащ, проскользнул на лестницу. При этом он оглянулся на художника опять с тем же странным, непонятным ей выражением ужаса.

Широкий коридор с деревянными стульями, с портретом сверхвождя был тих и страшен своей тишиной. На белых шероховатых стенах резко чернели гладкие прямоугольники — двери, оббитые войлоком и kleenкой, не пропускавшие звуков. За дверьми вершили дела те, кому власть давала право насилия. С трепетом следили ожидающие на стульях, как то один, то другой начальник отпирал свою дверь своим ключом и запирал ее всякий раз, как отлучался, хотя бы ненадолго.

В самом конце была дверь в кабинет прокурора. Каждый день поворачивая в ней ключ, прокурор спина чувствовал робкие взгляды и наслаждался. Смолоду власть и насилие притягивали его как порок, как тайная страсть.

Но сегодня он чувствовал так же, как те, что ожидали в коридоре. Мысли путались в прошлом — в гиблом далеком прошлом, о котором молчали его анкеты.

«Прaporщик Смирнов...»

Вспоминалась растерзанная ночь, когда он, Клешнев, молодой солдат, вязал прaporщика Смирнова,

своего взводного, издеваясь над ним: «Потерпи, ваше благородие, скоро будет развязочка... большевики развязнут».

Было это у полузамерзшей реки, на самой границе. Неокрепший лед разбивала красная артиллерия. Отступать белым было некуда. Солдаты взбунтовались, связали офицеров. Отправили к красным делегацию: «Переходим на вашу сторону». Неожиданно красное командование отказалось: «Кто честный, давно к нам перешел. У вас самая сволочь осталась. Нам таких не надо. Безоговорочно сдавайте оружие. Каждого солдата и офицера будет революционный трибунал судить, в индивидуальном порядке».

В ту ночь Клешнев спустился к реке, ушел незамеченный по льду. Огромен был риск, но трибунал для него был верный расстрел. На его счету были убийства пленных красноармейцев.

По риску вышла и удача. Добрался-таки допольского берега. А через неделю опять перешел границу с бандой украинских кулаков. Теперь он понимал, на чьей стороне сила. Связавшись с красными, выдал им бандитов. Для того и пристал к банде — так сказал он красным. Службу в белой армии утаил, конечно.

Стал служить в красной милиции и пошел в гору. Приняли в партию. Послали учиться на юриста. И, как начали арестовывать старых большевиков, выдвинули его.

Он был теперь честно за советскую власть. С ней была сила, значит, и правда. Так он верил.

Без малого двадцать лет прошло, и не встретился ему никто из той белой роты. Решил, никого не пощадили тогда, некому и свидетельствовать против него. Поверил в себя, в свой успех, в свой талант. Успех в обществе — дань таланту.

Прокурор посмотрел на портрет с падающим стулом. Большая белая рука сверхвождя внушала мужество, укрощала страх.

«Чего, собственно, я так испугался? Побоялся выдать себя голосом... Да ведь изменилось это все... голос, речь, пожалуй, и произношение. Ничего не осталось от того крестьянского парня, каким я был когда-то. Мне тогда и двадцати не было... Смирнов пошел к белым по происхождению, по убеждению, а я просто не разобрался тогда. Многие не понимали. Не все, как Он, — прокурор опять взглянул на портрет, — сразу попали в точку... А что в Нем главное?.. Идейность? Прямолинейность? Нет, не по прямой оншел и не идейностью берет, а талантом. Идейных-то он немало туда отправил...»

Рука сверхвождя представилась теперь прокурору карающей.

«Зря я растерялся, не заговорил. Могло показаться подозрительным...»

Ему хотелось скорее вернуться домой, чтобы исправить впечатление, произведенное его неталантливым поведением. Он вспомнил, что Люба надеется вернуть брату зрение.

«Вздор... Чудес не бывает. Все врачи отказались... Но Русанов — колдун. Когда-то на костре жгли таких».

Вспомнив про жену Круковского, прокурор взял телефонную трубку. Он был суверен. Встреча казалась ему не случайной. Чья-то враждебная воля протянулась из прошлого, чтобы схватить его. Бывает, и мертвые хватают живых.

— Ну, как же ваш вор-актер? Ушел со сцены совсем? — начал прокурор разговор со следователем, чтоб перейти незаметно к тому, что его интересовало.

— Гипотеза есть гипотеза, — глухо ответил следователь.

— Именно... А факт есть факт... Ничего, не смущайтесь. Все мы ошибаемся... кроме хозяина. — Прокурор молитвенно посмотрел на портрет сверхвождя. — Мое предположение, что американец наврал, наверное, ближе к истине.

— Возможно, вы правы.

— Наверное, прав... Главное в этом деле, что государство не потерпело существенного убытка. Почем весь товар найден.

— Потерпели убыток иностранцы. Так им и надо, — согласился следователь и мысленно добавил: «Приехали помочь нам строить, чего не хотят у себя».

Не напомнил он также и о том, что есть еще пострадавшие: Алешин и его семья.

— В общем, порядок... А как у вас дома? Я слыхал, Лариса Дмитриевна поправляется? — как бы неизчай спросил прокурор.

— Спасибо. Поправилась.

— Как? Совсем?

— Здоровее нас с вами.

— Значит, Русанов творит чудеса?

— Если хотите, можно назвать это чудом. Современная наука ведь тоже признает возможность необычайных, весьма редких, маловероятных событий.

— Да... но с Русановым они случаются чересчур часто. Дочь Землянова, например... Это факты, а не гипотезы. Как вы их объясняете?

— А я не компетентен объяснять медицинские факты... Впрочем, врачи часто ставят неверные диагнозы. Этим пользуются частные целители. — Как большинство людей его поколения, следователь был материалистом старого толка, и такое объяснение было ему ближе, чем ссылка на современную науку.

— Значит, если диагноз верный, то чуда не происходит.

Красивое лицо прокурора, как маску, искривляя постоянная усмешка. Временами она исчезала, сейчас была резкой. Объяснение следователя ему нравилось.

Но им опять овладел страх, когда, возвращаясь домой, он увидел художника с Дарьей у распустившейся сирени. Прошел мимо, будто удав угрожал ему из кустов. Прошлое было страшным удавом.

В комнатах Люба и Клава расставляли скульптуры. Глядя на их веселые лица, на их увлечение работой — они вынимали скульптуры из ящика и откручивали от мха, — прокурор почтвовал себя, как смертельно больной, завидующий здоровым, не подозревающим о его состоянии. Пугали и скульптуры, сделанные слепым.

Люба громко восхищалась каждой вещью. Женщина с коровой в особенности пленила ее.

— Это ты, Клава? Как ему удалось, не видя, передать так тонко выражение? И какая сила в любви! Животные понимают ее, как и люди.

— А вот еще. — Клава раскнула торс женщины с приподнятой грудью.

— Кто это? Опять ты? Нет, не ты.

Смотря на Клаву, Люба дивилась, как могла эта молодая женщина с веселыми глазами, крепкими руками и полными губами полюбить слепого? Ей, Любке,

брать казался конченым человеком, когда она отвозила его в колонию.

— Значит, нерв не разрушен? Оставшийся глаз еще видит? — спросил прокурор, силясь не выдать своего беспокойства.

— Константин видит не глазом, — объяснила Клава. — Он сам не знает как. Говорит, мыслью вижу. В лесу понимает, где поляна. Даже в газете буквы иногда узнает.

«Сверхъестественная чувствительность». — Прокурор потрогал на груди амулет, чувствуя себя во власти гибельного колдовства.

— У нас теперь в городе замечательный врач, — сказала Люба. — Надо непременно показать ему Костю. Может быть, оставшемуся глазу можно еще вернуть зрение.

— Он врачам не верит.

— Это не просто врач, а гомеопат.

— Он раньше лечился у всяких. Теперь не хочет.

— А ты не можешь на него повлиять?

— Нипочем. У него убеждение. Он говорит: с болью не надо бороться. Надо не бояться ее. Тогда боль сама пройдет.

— Глупости! Само ничего не проходит... Ну, вот что, мы тогда иначе... — Люба обратилась к прокурору: — Пригласи к нам Русанова запросто, к обеду. Покажем ему Костины скульптуры. Он сумеет уговорить Костю, если захочет.

— Он не захочет... Да и не пойдет он в незнакомый дом.

— Пригласи также Ларису с Круковским. Тогда он придет. Он к ней неравнодушен, я точно знаю.

О чувстве Русанова к Ларисе Люба знала от Екатерины Саввичны, своей давней знакомой. Екатерина Саввична, энергичная, красивая дама с басовитым голосом и с усиками над губой, была влюблена в медицину. Без специального образования она знала симптомы всех болезней, всем знакомым давала советы и могла даже разобрать рецепт по-латыни. За эти качества какой-то из больных рекомендовал ее гомеопату как сестру-секретаршу для приема.

С первого же раза, оказавшись в приемной с пациентами, Екатерина Саввична уверилась, что это место давно ждало ее. Уверенностью и громким голосом она немало способствовала успеху шефа. Говорила всегда «мы» и «у нас», подразумевая себя и его, и ревновала шефа ко всему, что могло отвлечь его от их общего дела. Поэтому всегда находила предлог зайти в кабинет, когда там задерживалась молоденькая пациентка.

А Лариса, встав на ноги, продолжала лечение у гомеопата на дому и задерживалась в кабинете все дольше и дольше.

Художник ехал с мыслью помочь Любке в беде. Оказалось, помочь его не нужна. Да и беды-то особенной будто не было. Бедовал где-то там далеко один Николай Николаевич. Любимец его, Никиша, переходивший уже в шестой, учился на «отлично», как и при отце, слушался матери и признавал авторитет прокурора. Любка повела так, что прокурор, как прежде Николай Николаевич, был главным лицом в доме. И еще больше, чем при Николае Николаевиче, основой воспитания была покорность власти. Враги народа считались реальностью. Любка позволила себе только сохранить у Никиши уважение к отцу. Она объясняла

сму, что отец осужден по ошибке. Но о том, что это ошибка, не следует говорить громко, тем более в школе. Опасно обвинять власть в ошибках. На этом особенно настаивал прокурор. Таким образом, Никиша мог думать об отце хорошо, но не мог защищать его.

— Гадко у Любы. Даже много хуже, чем прежде, — признавался художник Клаве, как бы извиняясь перед ней.

Клава замечала, что ему тяжело. И ей было противно смотреть, как Люба каждый день гладит Никишу красный галстук.

— Она меня как свою, как родную приняла, а я не могу сочувствовать. Как волка ни корми... Я вроде волка. — Клава смеялась. — Хотя начальник тоже не овечка... Смотрит он на тебя чудно. Будто промеж вас чего-нибудь было прежде. — Клава рассказала, как прокурор испугался тогда художника у парадной двери.

— Показалось тебе.

— Может, и показалось. А вроде он узнал тебя.

О роли прокурора в деле Алешина Клава узнала от Дарьи, с которой быстро соплялась. А с художником Дарья была сдержанна. Ей было неволко с ним из-за его родственной близости к прокурору. Художника это мучило. Он сочувствовал Дарье в ее беде больше, чем Любе.

Зато Дарьин Толька, ровесник Никиши, охотно общался с художником. Толька любил рисовать и не отрываясь слушал рассказы об искусстве. По его интересу к живописи художник, не видя его рисунков, понимал, что это настоящее увлечение.

Порывистый Толькин голос с хрипотой переходного возраста был часто слышен на дворе. Речь, как и у большинства подростков двора, соревновалась с жаргоном уголовников. Но ни художник, ни Клава не смущались ею.

По утрам любимое место художника было у пролома в стене, декорированной сиренюю. В ароматных кустах спорили веселые воробы. Звенела по кирпичу, шуршала по листьям поливная струя, освежая воздух. У многомачтового дома, похожего на корабль, отчетливо звучали ранние голоса. Волны любви — колебания вселенной — пробегали по телу.

Позже звуковой пейзаж менялся. Во двор второграна хаос ближней стройки. Со скрежетом поворачивался атлетический кран, завывал мотор, грохотала бетономешалка. Не орудия строительства, а древние тараны, разбивающие крепость, представлялись художнику, не видевшему воздвигаемого здания.

— Приезжай скорей. Не тормозись здесь, — говорила ему Клава, прощаясь с ним у пролома в последний день. Кончался ее отпуск, и, понимая, что им не жить у сестры, она решила пока ехать обратно в колонию.

— Если появится перспектива реализовать часть работ, придется задержаться. Что мне завтра в Союзе скажут?... — Художник надеялся, так как в Союзе с ним говорили, казалось, благожелательно и просили принести работы.

Грузовик, сбросив груз, отъехал, стреляя бензиновым перегаром.

— Хорошо в колонии, что война не напоминает о себе, — сказал художник, вдыхая отравленный воздух. — В городе война кажется ближе. — На Западе опять воевали, рвались бомбы, рушились здания, стад-

но, как животные, гибли люди.

— А страшно, когда танк ползет на тебя? — спросил незаметно подошедший Толька.

— Убивать — вот что страшно на войне. — Выскававшись, художник тут же подумал, что не убивать на войне еще страшнее: ждать безответно смерти, когда кругом ад.

— Фашиста убить не страшно.

— Откуда будешь знать, который немец — фашист. Многие идут не по охоте... Это, пожалуй, и есть самое страшное на войне, вообще в армии, то, что движает людьми чужая воля.

— Отец служил на границе, с басмачами сражался... И у нас есть чужая сволочь в начальниках, маслины просит, — заключил неожиданно Толька.

Клава поняла, кого он имеет в виду. Толька ненавидел прокурора.

В Союзе художников пахло пылью канцелярского стола и окурками, переполнявшими пепельницу. Кто-то энергичный и звонкий рассказывал, как редактор в издательстве отверг его рисунки:

— Представляете, вынимает том с иллюстрациями Доре... Вот, так рисуйте... Я говорю: так нас не учили... Забудьте, говорит, ВХУТЕМАС...

«Всюду поворачивается к старому», — подумал художник, почувствовав зависимость от чуждой, враждебной силы.

Резкая, как свисток, девушка пошла доложить о нем секретарю правления. За неплотно прикрытой дверью послышались голоса:

— Здравотдел, хоть не богатый заказчик, а кормит. — Узнал художник голос секретаря правления и его речь, торопливую, как ручей. — Не жирно, а кормит. Надо считаться с указаниями врачебного персонала.

— У них каждая нянька указывает, — ответил другой голос, взъерошенный, сердитый. — Общественный просмотр.

— Совсем неплохо. В содружестве работников производства с работниками искусства рождается социалистический реализм. Вам бы надо было...

— Знать, сколько весит ребенок? — Сердитый голос, как тяжелый камень, плюхнул в ручей. — И как мать должна его держать? Плевал я на эти частности. Мой плакат выражает идею счастливого материнства.

— Вы высоко витаете и чересчур щепетильны. Не Рафаэлева мадонна у вас младенца держит. В социалистическом реализме важны частности, производственные детали. Спуститесь к повседневности родильного дома. Разиньте шире глаза, как сказал Маяковский.

«Дьявол может цитировать Евангелие в свою пользу», — вспомнил художник читанную когда-то фразу.

— Глаз совсем не нужен. Глазами няньек может слепой писать.

— Тот слепой пришел... принес работы, — вклинилась в разговор резкая девушка.

— Слепой?

— Представьте, — подтвердил секретарь. — Какой-то бывший художник. Давно бывший, плюскувамперфектум. Ослеп и теперь лепит. Воображаю, что он там лепит. Но нельзя было отказать посмотреть.

Взъерошенный голос хрипло засмеялся:

— Вот и рекомендуйте его здравотделу.

Поднесенный к столу и стулу, художник развернул из ящика одну, потом другую скульптуру. Щупая, поставил их осторожно перед секретарем и съежился, будто ожидая удара.

— Гоголь, — определил секретарь, рассмотрев одну из скульптур. — Из ваших прежних работ?

— Последняя.

— Последняя? По памяти?

— Я много думал о нем, и он приходил ко мне.

— Гоголь!?

— Да... Напряжением мысли видел его наяву и в снах.

— Интересно... Личное знакомство с давно прошедшим, с плюскумперфектум... А это? Современная доярка?

— Если хотите.

— А вы что хотите от нас, от Союза?

Художник мечтал о многом. О выставке своих работ, если труд его будет одобрен. Но такое он не мог высказать вслух.

— Пришел к специалистам, показать работы.

— Понимаю. Хотите консультацию. Мы всегда готовы помочь советом, в особенности начинающим. Но в вашем случае могут быть затруднения. Обычно помогает сравнение с выдающимися произведениями нашего современного советского искусства. А ведь вы их не видели, не знаете?

— Я не думал о консультации. Мне просто хотелось знать непосредственное впечатление профессионала. А сравнение... если нужно сравнение, вы можете сами сравнить.

— К вашей работе возможен разный подход. Если с художественной точки зрения, то от художника требуется созвучие с современностью. Он должен быть руками и глазами в сегодняшнем дне, в нашей эпохе... а не в плюскумперфектум.

Художник, вспомнив Доре, улыбнулся.

— Я чувствую себя в эпохе, — сказал он.

— Но это не чувствуется в вашей работе. Гоголь трактуется вами в том же плане, как и известный памятник на бульваре, в Москве. Мистик с ночной душой, летучая мышь. Такая трактовка теперь решительно отвергнута. И памятник скоро уберут с бульвара. Заменят другим.

— Чудесный памятник! — Художник понимал, что вредит себе, но не мог удержаться.

— Чужая идеология... Сегодня нам нужен другой Гоголь. Жизнерадостный, крепкий, с юмором Тараса Бульбы и хуторян Диканьки. Смех сквозь слезы теперь не котируется... И ваша доярка тоже... На первом плане у вас корова, а не женщина. И смотрит она, как индусское божество. Сильно сентиментальное отношение к животному в наши дни неестественно, надуманно. Сегодня в колхозных и совхозных условиях корова — производитель молока, и доярка-ударница доит по сто коров на дню. Ей не до сентиментов...

— Ну вот и консультация. — Художник усмехнулся. — Вероятно, я должен быть благодарен?

— Вы не обижайтесь. У вас есть определенное умение, не отрицаю. Я бы сказал, талантливая рука. И глаз. Да, и глаз. — Секретарь несколько секунд смотрел на открытый глаз художника, будто ожидая, что в нем что-то появится. — Но глаз ваш лишен возможности видеть новое. А мы, Союз художников, — профессионалы, не имеем права делать поправки на физические дефекты. Нам нужно высокое совет-

ское искусство, и кто претендует на высокое звание советского художника, не может рассчитывать на снисхождение.

— Меньше всего я думал о снисхождении.

— Однако в вашем случае может быть и другой подход. Самая возможность делать скульптуры вслепую, так сказать, алавэгль, должна быть интересна с точки зрения физиологии. Может быть, павловская теория дает объяснение. Но тут мы не специалисты. Мне кажется, вам можно посоветовать обратиться в Институт физиологии. Они, возможно, заинтересуются. Возможно, организуют у себя выставку ваших работ. И мы тогда приедем посмотреть. У вас есть еще, конечно?

Художник не ответил. Он укутывал и укладывал обратно в ящик свои скульптуры.

«Ты сам свой высший суд» — слова Пушкина о поэте равно относятся ко всякому творчеству. Однако слепой художник не мог судить свою работу, так как не видел ее. Поэтому он был особенно чуток к отзывам зрителей. И у Любы, так же как в Союзе художников, волнуясь, ждал, что скажут гости.

Пришел-таки гомеопат. Правда, вначале он отнекивался от приглашения, но согласился сразу, когда узнал, что жена прокурора хочет показать ему брата — слепого художника из колонии. Скульптуры произвели на него впечатление. Он восхищался ими, и голос его поразил художника — где-то раньше слышал он такой голос. Женщина с коровой в особенности заинтересовала гомеопата.

— Живая! Кажется даже, что где-то встречались.

— С кем? С коровой или с женщиной? — сострил прокурор, безразлично относившийся к искусству.

— Вам нравится эта вещь, а в Союзе... — Художник рассказал о своей неудаче в Союзе.

— Не та тематика, — отозвался гомеопат. — Вы бы им вождей предложили. Это — товар.

— Вождей не могу. Чтобы сделать портрет, надо сильно полюбить человека или видеть его, хотя бы на фотографии.

— Зачем видеть? Словесный портрет.

— Словесный? — не понял художник.

— Да, со слов. Впрочем, кажется, не только со слов. Вот кто может объяснить, как это делается. — Гомеопат обратился к следователю.

Отказавшись от служебного дознания, следователь не запретил себе интересоваться Русановым. Поэтому был рад приглашению прийти вместе с Ларисой.

— Вы, значит, тоже немного знакомы с криминалистикой? — спросил он Русанова и, не дождавшись ответа, стал рассказывать, как на основании улик и показаний очевидцев рисуют портрет преступника и иногда действительно находят его по такому портрету.

Художник улыбнулся гомеопату.

— Предлагаете изображать вождей, как преступников?

— Разве нельзя? Вожди тоже переступают через законы.

Женщины невольно подняли взоры к портрету сверхвождя, повешенному и здесь прокурором.

— Глупое сопоставление! — возмутился прокурор.

— Почему? — Художнику гомеопат был уже близок пониманием его работ, и вольностью мысли, и этим знакомым голосом, и манерой речи, возбуждавшей память. — В Германии, например, вожди сожгли рейхстаг.

— То в Германии.

— И революционеры переступают через законы. Иначе не было бы революций.

— Переступают через устаревшие, реакционные законы, заменяют их новыми, прогрессивными.

— Прошу к столу, — громко объявила Люба. Она боялась взрыва скрытой вражды между братом и прокурором. Ее мечта об их дружбе разбилась с первых же дней знакомства. Отношения стали хуже, чем с Николаем Николаевичем.

Художник сел против солнца. Оно отразилось в его открытом глазу, как и на бутылках с вином. Не реагируя на солнечный луч, взгляд, казалось, уставился во что-то далекое. Под косой черной повязкой пряталась пустая впадина от другого глаза. Бледное лицо выделялось одухотворенностью. Нервные пальцы перебирали предметы прибора, знакомясь с их расположением.

— Предлагаю тост за гомеопатию! — Усмешка резко искривила лицо прокурора, поднявшего рюмку. — Крепкая наука, на спирту настоящая. Все гомеопатические лекарства с градусом.

— Не можешь без шуток? — Люба вспыхнула, испугавшись, что Рusanов обиделся. — Не слушайте его.

— Прокуроры и следователи любят шутить. — Казалось, что в горле гомеопата сжата пружина и только часть ее энергии расходуется на произнесение фраз. — И под высшую меру шутя подведут.

— Приходилось иметь с нами дело? — спросил следователь.

— Вы теперь самые заметные люди в нашем отечестве, — уклонился гомеопат от прямого ответа.

— Мы, работники розыска, часто пользуемся помощью медицины. Но гомеопатия далека от нас.

— Вы же не для лечения пользуетесь, — возмущенным колокольчиком прозвенел голос Ларисы.

— Мы сами лечим. — Прокурор засмеялся. — Лечим общество, как хирурги.

В сознании художника разговор отражался изломами красочных полос, смятением пятен. Неторопливая речь следователя отсвечивала прозрачно-черной вордой. Радужным пятном упала в нее реплика Ларисы. Прокурор был неполноценно контрастен, какой-то краски не хватало. В упругом голосе гомеопата чередовались стущения и разрежения красного цвета.

— Здесь на дворе есть жертвы вашего лечения, — сказал художник после минутного молчания, когда за столом звучали только металлы и посуда.

— То есть как это жертвы? — Прокурор зло глянул на художника, поняв, кого он имеет в виду.

— Костя говорит об Алешине, о его семье, — вмешалась Люба, беря под защиту брата. — Я тоже уверена, что Алешин не виноват.

— Ты уверена? — Прокурор покраснел. — И суд был уверен. У суда были факты, данные дознания.

— О ком спор? — полюбопытствовал гомеопат.

— Магазин мехов на Пушкарской, знаете? — Следователь обрадовался возможности повернуть разговор по интересному для него руслу. — Лет пять назад случилась там крупная кража... Может, слыхали, если жили тогда в нашем городе?

— Был тогда далеко от вас.

— Да, ведь вы к нам, кажется, из Тибета прибыли?

— Тибет — это слишком далеко... Я жил... — Гомеопат назвал далекий сибирский город.

— Хороший город... Мне случилось недавно побывать там... по интересному делу. — И следователь рассказал о краже из ресторана и что совершивший ее вор, вероятно, гримировался под пожилого еврея-слесаря.

— Вы еще не расстались с вашей гипотезой?! — неодобрительно проворчал прокурор. — Представьте, — прокурор обратился к гомеопату, — он и кражу мехов, и продажу их приписывает этому одному вору, игравшему якобы разные роли.

— Знак Зоро! — Гомеопат смеялся.

Художнику его смех показался ненатуральным, и он ясно представил себе того, у кого он помнил такой же смех и такой же голос. Припомнился также и разговор о возможности совершать кражи под грифом.

— А что, если правда? — молвила Люба. — У Кости был такой актер в колонии. Помнишь, ты когда-то писал мне о таком воре?

— Работал под грифом? — Следователь быстро повернулся к художнику.

— Нет... просто увлекался театром, — не сразу ответил художник.

— Как его звали?

— Не помню... Он все собирался организовать в колонии любительский спектакль, но не получилось... И, вы понимаете, это было не для слепых. Поэтому я с ним не соприкасался.

Люба, удивленная, смотрела на брата. Ей в письме он рассказывал иначе. Дальнейшее еще больше удивило ее и остальных.

— У меня к вам предложение, — сказал гомеопат художнику. — Продайте мне скульптуры.

— Женщину с коровой?

— И ее, и другие. Куплю все... для моих больных. Очень поднимет их настроение, если будут знать, что это сделал слепой.

— Будут думать, что вы его вылечили! — Прокурор смеялся.

На другой день гомеопат пришел и купил все работы художника.

Партию лагерников перегоняли по тундре дальше на север. Среди холмистой равнины с разлившимися речушками, озерцами, болотами одиноко торчали скальные идолы, изваянныет ветром, влагой и временем. Кричали птицы, взлетая со скал, пролетая над оттаившей землей и над полой водой. Собаки беспокойно следили за их полетом. У конвоя в руках тяжелели ружья. Стрелять в птиц нельзя. На этапном пути ружья не для охоты. Стрелять надо в людей, если кто побежит.

У Николая Николаевича и мысли не было о побеге. Едва тащил ноги в высоких хромовых сапогах. Эти сапоги, переданные Любой в тюрьму после приговора, — все, что осталось на нем от прежнего. Они висели на его среди лагерников. Остальные шли дальше в лаптях, кто и босой — развалилась обувка. И сапоги хотел отнять уголовный с красным пятном на щеке. Да вступился Алешин.

Встреча с Алешином в лагере была нечаянной радостью Николая Николаевича. Помня его былой вес и влияние, Алешин и в лагере продолжал уважать инженера. Главное, верил в его невиновность, так как сам был осужден ложно. Сильный, как буйвол, он защищал его от уголовных. Воры не любили пятьдев

сняг восьмую статью — политических. Слабый интеллигент был им мишень и жертва.

Да если бы и достало сил, разве отважился бы Николай Николаевич на побег? Страх перед властью всегда был сильнее его. А следствие, приговор и лагерный режим окончательно сломили волю. Бывало, в лагере ночью поднимали с нар заключенных, чтобы среди длинных шатающихся теней зачитать преисподний, дьявольский список — имена казненных лагерников, с которыми два дня назад Николай Николаевич делил хлеб, лежал рядом на нарах. Будто здесь среди них был заговор. Николай Николаевич знал: не было заговора. Разнудившись, злобствовала власть. В душу, как уж, вползал ужас.

Одно только держало его еще на земле: мысль о жене, о сыне. Мучился, что в свое время из осторожности не посвятил Любовь в важную тайну.

На ночлеге десять шагов от костра — побег! Конвой стреляет. А ночи светлые. Край солнца виден над горизонтом.

Лежа у дозволенной границы на мокрой земле, Николай Николаевич смотрел в небо, распльывавшееся нежными потоками красок. Много цвета у северных лучей, да мало тепла! Дрожь скручивала тело.

На скальных идолах лежала кровь утомленного светила. Раскоряченные низкорослые березы и сосны, взобравшиеся на склоны холмов, изображали движение — фигуры священного танца. Стойко стояли ели — стрельчатые темные свечи в призрачном свете храма. Божеством в этом храме было Ничто. Оно — чувствовал Николай Николаевич — примет скоро и его в свое лоно.

Надо позвать Алешина, пока не поздно. Для того и лег поодаль.

— Ухожу... без возврата... сапоги тебе оставляю. — Сдерживая дрожь, Николай Николаевич через силу улыбнулся Алешину.

— Небось отлежитесь. — Алешин с сомнением глядел на опавшее лицо Николая Николаевича, посиневший лоб и вспотевшие виски.

— В земле отлежусь... Не о себе тоскую. Сына и жену без средств оставил. Пропадают, наверное, без работника.

— Промаются помаленьку. За мной двое, окромя жены.

— Слушай, что скажу. Нагнись... сядь около. Дома у меня тайник в передней. Не сразу под обоями, а на полкирпича. Сам пробил. Не знает жена, никто. Метр от потолка, метр от косяка входной двери. Николаевские золотые, валюта...

Алешин покраснел, отвел глаза. «Прятал от советской власти, а говорил, без вины взяли».

— Не хотел волновать жену, потому скрывал, — продолжал инженер, торопясь, волнуясь. — Вернешься, объяснишь ей. Пополам разделите, на совесть...

Алешин помрачнел, молвил сердито, почти против желания:

— Ищите других в долю. Из шпаны кого-нибудь. А я не рука. — Он мотнул головой в сторону костра, где ближе всех сидел бандит с красным пятном.

— Пойми, не ради себя, ради наших детей, — волновался умирающий.

Алешин промолчал. Отошел к костру.

Быстро бежала мутная вода, подрывая обрывистый



берег. Над обрывом конвойный с винтовкой и собакой засыпал стоя, встрихивался, прохаживался, останавливался опять. Пес с острыми ушами дремал, одурев от птичьего гомона. Вокруг дымных костров валялись лагерники в подневольном сне.

Алешин не спал. Вспоминалось, как и он был такой же солдат с винтовкой и собакой. Однако поспокойнее и подобнее. Стражники эти — нервный народ. Чуть что — прикладом тычут или дулом грозят. Нервность — от страха. Не лагерников боятся, а начальства. Ответственность перед начальством страшнее всего. И Алешин знаком этот страх. Охраняя границу, он не так боялся шпионов и бандитов, нарушавших ее, как боялся сам нарушить какой-нибудь пункт инструкции, не угодить начальству. Во врага можно стрелять... борьба... он тебя, ты его. А с начальником нельзя даже спорить. Весь ты тут беззащитный перед ним... Вспомнилось Алешину, как контрабандист совал ему четыре сотни за то только, чтоб не заметил,

дал перейти границу. Вполне можно было не заметить, никто бы не узнал. Но у Алешина и мысли не было тогда, чтобы взять. Служил власти честно. Верил ей. А она-то ему не поверила... Обидно теперь. Инженер поумнее его. Играли с властью втемную. Видно, он, Алешин, один честный дурак во всем лагере. Может, за его честность посыпает ему судьба клад — тайник инженера? Отказаться от своего счастья? «За ради чего? Однаково буду считаться вор. С пятном анкета».

Из-за анкеты многие и после срока остаются в лагере, по-вольному, на зарплате. Но Алешину хочется домой. Свой срок он почти весь отбарабанил. Кто сверх совести вкалывает, тому год за два считают. Придет партия в этот полярный угольный лагерь, его должны отпустить. В голове колокольчиками звенит завещание: «Выйдет срок, разделите пополам». Если бы так — конечно. При деньгах можно с семьей покойно жить, пока не сыщется место.

Конвойный уставился лицом к реке. Алешину, лежа, не видать воды за обрывом. Слышино только, как всхлипывает на повороте. Потише стало, птицы угомонились. Одна какая-то кричит с перерывами. Далеко в стороне, за спиной конвойного, что-то шевелится в низкой редкой траве. Птица, зверь?

Алешин ждет, что конвойир обернется. Но конвойир все смотрит на реку. На чего это он так загляделся?

Поднялся Алешин будто в костер подбросить. Но прошел дальше, за кучу хвороста, собранного лагерниками. Взошел на кочку. Теперь видно: лебеди плывут по реке, двое. Передний изогнулся змеиную выно, объясняет что-то отставшему. Отставший вперед вытянулся, понимает, догоняет. Бойко несет их река. Совсем не те ленивые, важные птицы, которых Алешин помнил в городском парке, в пруду. Те скучали, кругом все чужое им — неволя. А эти — дома. Свои они здесь у пустынного полуузатопленного берега, среди изрезанной равнины с приземистыми, как кусты, деревьями, с болотами, с вольной водой. Весело нестись им по быстрой реке, поворачивающей к широкому плесу. На секунды Алешину представилось, что и ему эта природа родная. Не суровая вовсе, а трогательная, как в сказке, красивая. И он будто свободен, как лебеди, а солдаты с винтовками и заключенные в лохмотьях, раскиданные у костров, терзаемые паразитами и комарами, — сон, дурной сон.

Красивые птицы взмахнули крылами и, сливаясь в розовое облако, полетели к низкому дымному солнцу... Оклик конвойного вернул Алешина от сказочной правды к кошмарному арестантскому сну. Конвойный шел к нему, сгоняя его с холмика выразительным движением винтовки.

Каморку, в которой когда-то жили собаки, осветил окном и побелил каменщик, попросившийся к Дарье на постой. Спокойный попался мужик, заботливый о семье. В воскресные дни ходил по магазинам — городскую продукцию, выстоянную в очередях, посыпал домой, в деревню. Выпивал только с полушки, и то на стороне, с артелью.

Одно не нравилось Дарье — подозрительность жильца. Опасался, что обкрадут его. На дверь в каморку навесил замок с подковой. И не любил, когда к нему наведывался любопытный Мишутка, меньшой сынок Дарьи.

— Не разевай глаза на чужое. Иди на двор гулять.

Думалось Дарье, не доверяет им жилец, потому что мужу дали срок за кражу. Однажды, не вытерпев, сказала ему сердито:

— Не у воров живешь. А сомневаешься, ищи другого угла.

— А знаешь ты такой угол, чтоб не сомневаться? — возразил каменщик в оправдание. — Нынче кругом сомнение.

Неожиданный ответ умигнул Дарью. Она тоже жила в сомнении — в тени обвинения, упавшего на ее мужа. И сама изверилась в людях. Внутри они были иными, чем казались. Прокурор на суде о народе говорил, о родине, а влез в дом к любовнице заместо мужа, которого в лагерь сплавил. И Люба живет без нужды, уважают ее. Выходит, обманом жить легче. «Я своего не обманывала, а какая награда за это?»

Воскресным утром каменщик, поднявшись пораньше занять очередь в универмаге, только вышел, как вернулся назад, взволнованный.

— Это кто такой?

Он показал на кусты сирени. Возле них на проломе садовой стены сидел художник с черной повязкой.

— Знаешь, что ли, его? — удивилась Дарья волнению своего постояльца.

— Было такое...

И каменщик рассказал, как много лет назад привезли они с женой в районный центр, в Шиши, мясо зарезанной коровы. Стояли с возом на рынке, как упал неподалеку слепой, вроде с голоду ослаб. Пожалели они его, взяли в сани, дали хлеба и после в чайной угощали еще вином. И там же хватились — нет денег, и карман подрезанный.

— Не слепой же украд?

— Сперва на одного малого подумали, платок у него нашли, каким деньги были укутаны. Малый не признавался. Зачали бить его. Тут женщина вбежала, кричит, видела, как он платок поднял, у саней платок валялся. Вор, значит, бросил. И еще одна старуха вступилась. Знает малого, честный он. Заведующий чайной подтвердил: «Не мог он так ловко вырезать. Тебя на рынке ширмач вспотрошил». Кто-то слепого помянул, что вышел. И мне странно вдруг показалось, зачем ушел слепой. Должен был бы обождать до выяснения, посочувствовать, а он ушел. И ведь видел я, как его высокий рыжеватый парень уводил, да ни к чему мне тогда было, раз у малого платок нашли.

— Стало быть, не слепой он был?

— Прикинулся. Или для отводу внимания сыграл, а деньги рыжий срезал. У них там колония недалеко. Слепые и жулье в одно лукошко собраны. Коммуна!

— В милицию заявлял?

— Нельзя мне было. На мясо я молочную корову зарезал... перед колхозом. За это по головке не гладили. И малому два ребра сломали. Могли за самосуд под ноготь взять.

— Вот и мой через воров пострадал, — посочувствовала малому Дарья. — Постой-ка... Уж не примнилось ли тебе, что он тот слепой? — Дарья показала в сторону кустов.

— Точно. Он самый и есть.

— Ополоумел ты! — Дарья засмеялась. — Или глаз твой косит. Кого за вора посчитал! Брат инженерши, во флигеле живет. Мы его давно знаем.

— Он, точно! И повязка на одном глазу, и улыбка

изнутра идет... мой глаз — фотограф. Увидел, как отпечатал.

В городе стало много транспорта, и мотор легковой машины часто бывал не слышен среди уличного шума. Но художник приучал себя ходить без опаски. На хаотической улице отдавался гармоническому началу — божеству, создавшему в шесть непонятных дней вселенную, в которой было все весьма хорошо. Божество не производило болезней, смерти и зла. Следовательно, не надо было их бояться. Из-за его уверенности шоферы и пешеходы часто не доглядывали слепого, хотя он шел с палкой. На тротуарах на него наталкивались, на мостовой под боком взвизгивали тормоза. Нужен был сигнал заметней, чем палка. Он стал закрывать повязкой оба глаза. Шел, как бы играя с улицей в жмурки. Прохожие останавливались, следя за ним с суеверным страхом. Редко кто предлагал ему теперь помочь.

Он в ней и не нуждался. В игре с улицей вырабатывались новые рефлексы, разрывались старые связи. Перемены плотности и влажности воздуха оповещали о воротах, подъездах, арках. Запахи — о пивных, столовых, булочных, молочных, аптеках, табачных и газетных киосках, о машинах, ожидающих у тротуара... Даже киоск с галантерейным товаром узнавался по запаху кожи и шерсти.

Однажды его задержал на улице ливень. О приближении тучи оповестили порыв ветра, отдельные тяжелые капли и запах пыли. Ударил гром. Улица быстро теряла пешеходов. Кто-то бежал, будто от погони. Из хляби над головой обрушились незримые потоки, шумя по желобам и крышам. Пронеслась машина, обдав художника фонтаном из лужи. От проема, мимо которого он шел, терпко и возбуждающе пахло вином. Повернув на запах, он укрылся от ливня. В глубине помещения звякала посуда, булькала жидкость. Люди у прилавка пили молча, смотря в окно, слушая дождевую симфонию. В этом влажном оркестре сухо, как кастаньеты, простучали шаги будто бы скелета, приближаясь к художнику. Но рука, схватившая его, была живая и мягкая.

— За кассой пришел? Нехорошо кунака грабить.

По яркому акценту и голосу художник узнал грузина — былого соседа по койке в колонии. Они обнялись.

— Ходишь, как интернациональный налетчик, в маске. Хорошо палка в руке, а не наган.

— А ты, кажется, освоил технику. — Художник помнил, что скелетный стук производят протезы.

— Для людей надеваю. Перед людьми, понимаешь, держу себя на высоком уровне. Как римский император, терплю. А дома — на руках... как обезьяна.

Художник улыбнулся.

— Чему смеешься? Нехорошо над предками смеяться. Кто человечество на свет произвел? Обезьяна!

Веселый скелет повел художника куда-то за дверь и вниз по ступенькам, оставив гостям Беллу, девушку с низким, притягательным, как магнит, голосом. Вином запахло еще терпче и кислее. Художник представил себе погребок с низкими сводами со средневековой таинственностью. Черная повязка на глазах и скелетный стук усиливали впечатление.

Грузин, откупорив бутыль, стал расспрашивать. Оживился, узнав, где живет художник.

— Под крылом у правосудия... Знакомый адрес...

А когда художник рассказал, что занялся скульптурой и продал свои работы врачу, грузин спросил:

— Какому врачу?

— Русанову, гомеопату.

— О, о! Старая дружба крепкая, как старое вино.

— Дружба? Я с ним раньше не был знаком, — сказал художник, подозревая, однако, правду.

— Значит, он и тебе не открылся... Помнишь вора в колонии, с тобой дружил? Штопор, кажется?

— Шуруп?

— О, о... Шуруп! На языке у меня винтился. Недели три назад, понимаешь, набежал этот Шуруп на меня здесь. Солидный зверь стал, важный, как академик. Меня не узнает, как на бревно смотрит. Осторожно ставлю ему вопрос: «Может ли быть, что мы с вами встречались?» «Может быть, — спокойно, понимаешь, отвечает. — Напомните где». Напоминать при посторонних мне как раз не хотелось. Неважная репутация у колонии, и какая мне прибыль вору в знакомство навязываться? Не узнает, а я и подавно. Вижу, говорю, что ошибся. А тут, понимаешь, еще человек вошел. Увидел его, просиял, будто сто тысяч на займе выиграл. Доктор, я вам жизнью обязан... Это он-то доктор. На врача переквалифицировался...

— Обознался ты... Бывают же, говорят, двойники.

— Художник верил, но не хотел подводить Шурупа.

— А почему у тебя скульптуры купил? По дружбе. Он тебя всегда уважал.

Художник молчал, возбужденный тайной и атмосферой уединенного места с бормотанием дождя и далекими перекатами грома. В углу шуршала мышь.

— Переменил профессию. — Грузин приглушил голос до шепота. — Теперь кто половиной в профессора идут или в писатели, премии получать по сто тысяч...

— Для этого нужен талант, — возразил художник больше по инерции, ибо думал иначе.

— А что, мало у него таланта? Самый талантливый народ такие воры, как он. Они и в торговле, и на производстве свое место находят. Риск меньше, а прибыли больше.

— И твое место прибыльное? — осторожно спросил художник.

— Нет, понимаешь... Заметное слишком. Снабжать многих приходится... Никак дачу достроить не могу...

Грузин еще долго рассказывал и на прощание завернул художнику две бутылки коньяку.

— Одну тебе, другую правосудию.

«Стало быть, действительно он! — Художник больше не сомневался. — Гомеопат?.. Оригинальный выбор главной роли. И как удачно он играет ее! Актеры играют только на сцене, а он — всегда. Шарлатанство? Нет... Say not my art is fraud, all live by seeing...»

Вспоминая эти стариинные стихи, художник стал перекладывать их на свой лад. Придя домой, записал:

«Нет, я не шарлатан. Все успевают

Очковтирательством. Им жалкий нищий

Вымаливает подаянье, и придворный

Стяжает власть, именье, чин и титул.

Притворствует священник. Храбрый воин

Перед начальством робок, как овечка.

Все в масках ходят. А кто хочет скромно

Самим собою быть, не жди успеха

Ни в армии, ни в церкви, ни в суде.

Невместно нагишом гулять на маскараде!»

«Однако его игра на этом маскараде не обходится без жертв...» — Художник покраснел, вспомнив кражу в чайной у деревенской четы (он всегда краснел, вспоминая ее).

Вслед за этим ему пришла мысль, что и кражи мехов — дело тех же артистических рук, если верна гипотеза следователя. И тут пострадавшие — Аleshин, его семья. Решил часть денег, полученных за скульптуры, отдать Дарье.

В тот же вечер художник пошел к ней.

— Что-то вашего Анатолия не слышу на дворе. И ко мне перестал приходить, — начал он, опускаясь на предложенную Дарьей табуретку. Нащупав незаметно ногой ножку стола, прислонил к столу палку.

— В деревне Толька. Обои в деревне.

Объясняя, что отвезла своих мальчиков к родным на лето, Дарья одновременно спрашивала себя, зачем пришел к ней художник. Не подослала ли его Люба, чтобы позвал ее убирать их квартиру. С тех пор как прокурор переехал к Любе, Даша отказывалась от всяких поручений, исходивших из флигеля.

— В деревне? Это хорошо... А я долг принес.

Художник положил на стол упругую пачку. Лицо его озарилось выплывшей из глубины улыбкой.

— Долг? — изумилась Дарья. — Вы у меня не брали.

— Старый долг. Мне сестра писала, как вы для меня в очередях продукты доставали. Нет, нет, не отказывайтесь. Я теперь могу. Я свои работы хорошо продал. Только пусть это будет между нами. Никому не рассказывайте.

Дарья, озадаченная, не знала, что и сказать. Вид бумажек, обладающих чудесным свойством без труда давать то, что желается, все, что ей нужно, обворожил ее.

«Ни за что ни про что... подарок! Сколько же их у него? Откуда? Говорят, продал работы...» Мысли сталкивались в голове у Дарьи, когда после ухода художника она прятала деньги под белье в ящик комода.

На комоде стояла фигурка подростка, рисующего в тетрадке. Это Толька недавно принес от художника и рассказывал, что дядя Костя хоть и не видит, а лепит из глины портреты, похожие, будто живые. Дарья заметила, что и подросток этот смотрит так же, как Толька, когда рисует. Но не придала значения. Не о том были ее мысли тогда. А теперь...

«Прикинулся», — вспомнились слова жильца, и под сердцем у Дарьи екнуло. «Может, и правда видит... по комнате шел, ни обо что не задел. Что если в самом деле связался там с ворами? Голод понудил, а может, со зла на людей. Деньги легкие, ему их и не жаль... Сколько мне нужно окон перемыть, чтоб столько заработать! Потому и молчать велел. Скрытое дело!»

Нести такую опасную тайну одна она не могла и, когда пришел жилец, поведала ему.

— Чего-то им от тебя надо, — решил жилец. — Даром они не дадут. Тоже счет деньгам знают, хотя б и легкие. Может, задумали ограбить контору, которую ты убираешь. Ключи велят принести. Вполне возможно.

Перед сном Дарья переложила деньги из комода под матрац. А ночью ей приснилось, что пришли из милиции с обыском. И Люба с ними. Милиционер

роется в комоде, а Люба идет прямо к ее постели и говорит милиционеру: загляни-ка под матрац, товарищ.

Как милиционер достал деньги, Даша не видела. Проснулась в поту.

Утром отнесла деньги следователю и рассказала, что слышала от жильца. Следователь заинтересовался. Оставил деньги у себя. Но через два дня вызвал к себе Дарью, отдал их ей обратно:

— Можешь тратить, раз подарили.

Вернулся Аleshин.

День в ионе долгий. Косое солнце еще освещало верхние этажи стройки за проломом, когда он вошел во двор. Под мягким розовым облаком шевелились люди. Работали каменщики. Выложив кирпичный ряд, лили на стену молочно-серый раствор из ведер, которые подносили женщины. Казалось, стена вспотела от их труда.

«Обосали стену, — подумал Аleshин, глядя на подтеки раствора, просочившегося через швы. — Поверх нормы вкальвают... здесь, как и там».

Он поднялся по двум пролетам железной лестницы многомачтового дома и, нагнувшись под веревкой с бельем, прошел по коридору к знакомой двери. На звонок никто не отозвался. Дверь открылась, когда он толкнул ее.

Не так уж много было переставлено в комнате, но ему показалось, что все по-другому. В особенности поразил его большой блестящий замок на двери в каморку. Не успел он подумать, что тут может храниться, как вбежала Дарья: инвалид-портной видел на двере человека, похожего на ее мужа.

Дарья тоже изменилась, скромнее стала, не такая звонкая и быстрая на язык. Отпустив его после долгого объятия, она отвернулась, вытирая слезы.

— Будет, — сказал Аleshin. — Вернулся, видишь, целый.

Он спросил про детей, про замок, потом про жену инженера из флигеля.

— Сука она! — вскинулась Дарья с быстрой энергией. — С врагом живет при живом муже! — Она рассказала о враге-прокуроре.

Будто тень изменила лицо Аleshina.

— Не живой ее муж... свободная она...

Он скрупульно поведал о конце инженера, зарытого в мокрую почву тундры, и дальше, к удивлению Дарьи, слушал нехотя, без интереса о таком важном событии, как подарок художника, о том, как по совету жильца она относила деньги следователю.

Ночью, лежа около нее на кровати, он долго не мог уснуть. Все о чем-то думал.

— Отощал-то ты как! Христос воскресший, — шептала Дарья, прижимаясь к нему. — Завтра Тольке напиши. Враз примчится. Все о тебе болел.

Стройка за проломом внезапно замолкла. Художнику объяснили, что ее законсервировали. Угроза близкой войны заставила власть менять планы, переключить труд на оборону. Тем более потянуло его в колонию, к великанам-соснам, к Клаве. Люба не перечила, узнав, что у него уже куплен железнодорожный билет. В душе она была даже рада. Понимала, что он не одобряет ее поведения, ее быстрой измени Николаю Николаевичу. Когда известие о смерти, привезенное Аleshinym, подтвердилось бу-

магой из страшной канцелярии, открылась возможность официально оформить ее отношения с прокурором. При этом прокурор предлагал усыновить Никишу.

— Он очень рискует, сближаясь сейчас с нами, с родственниками «врага народа», — объясняла Люба сыну. — Ты понимаешь, как это благородно с его стороны... И твой отец одобрил бы. Папа считал, что надо применяться ко времени, и хотел, чтобы ты, как и он, был большим инженером...

Никиша понимал, что для карьеры полезна чистая анкета. Отец, умерший в лагере, был бы в ней черным пятном.

— Расхлюпанный Гамлет, — говорил о Никише Толька, видевший Гамлета в городском саду на открытой сцене. — Курва-прокурор его отца угрибил, как тот гундовый король датский. А он его папой будет звать. Я б ночью не заснул от страха. Думал бы: вот мне сейчас настоящий отец покажется.

А художник размышлял о том, что человеческое общество — это мир преступлений, больших и малых. «В наш век в особенности. Недаром Шекспир так прочно овладел сценой. Повсюду ставят его. Массовый, народный автор».

Поезд из Москвы запоздал, поэтому мало стоял на станции. После толчка, когда ожили под ногами колеса, пассажиры еще долго размещали вещи на тесных полках. От суеты и разноречия сумеречный вагон казался художнику пестрым.

— Ай в Шиши? — Женщина, колупавшая у окна крутое яйцо, с любопытством поглядывала на художника. — На том краю вам попутчик. Тоже слепой в Шишенскую колонию. С Москвы едет. Аккуратный мужчина, с портфелью.

«Люди живут на одной планете в разных мирах, — думал художник, пробираясь в другой конец вагона. — Живя у Любы, в городе, ни разу не встретил слепого, а только двинулся в колонию, и...»

Слепой с портфелем оказался знакомым членом правления Всероссийского общества слепых. Он ехал по делу. Предстояла реорганизация колонии — объяснил он после того, как художник, поменявшийся местами со зрячим пассажиром, устроился рядом.

— В Шиших останутся только слепые. Прочих распределят по другим угодьям. В освободившиеся корпуса будут переводить слепых из городов...

— Много места освободится. — Художнику было жаль расставаться со зрячей частью колонии. Он думал с опаской, что получится, как у Уэллса, «страна слепых».

— Много и надобно... война на пороге.

В голосе члена правления не было беспокойства. Вероятно, война не пугала его. Война убивает зрячих, но рождает слепых. Трудоустройство этих детей войны было его делом. Организационные задачи занимали его голову, не оставляя места для беспокойства.

«Так же спокоен, — вспомнил художник, — как в тот год острого голода, когда мы беседовали в парке... помог мне тогда, однако». Ему захотелось рассказать о своей работе и как он продал скульптуры гомеопату.

Член правления слушал внимательно.

— У частных врачей непомерные заработка, — заключил он неожиданно. — Многим несознательным гражданам еще кажется: если врач большие деньги

берет, стало быть, хорошо лечит. А в бесплатном враче из амбулатории сомневаются.

— В амбулатории больше в карточку смотрят, чем на больного, — вмешался порывистый голос, прервавшийся кашлем.

Вокруг слепых собирались пассажиры, заинтересованные их разговором. Художник чувствовал близость многих дыханий и водочный аромат.

— А куда ему смотреть? — сказала прежняя соседка художника, принесшая с собой запах крутого яйца. — Некогда ему на тебя смотреть. У него дневная норма сто душ с объездом. По конвойеру пропускает.

— Ну, и гомеопаты тоже, — поглотил женщину солидный бас. — У гомеопата в приемной, что в этом вагоне набито. Побывал я у одного по случаю язвы желудка. Он на меня времени много не тратил. Не выслушивал, не щупал. Сюю ему рентген из амбулатории. Без этого, говорит, обойдемся. Записал фамилию, адрес в книгу и флакончик дал... «Позвоните через неделю, как будете чувствовать»...

— Против язвы в желудке есть избавление, — скогоровкой вклинился высокий тенор. — Живого ежа в ржаном тесте запечь и скушать зараз.

— Навязался с ежом! Дай досказать человеку, — запротестовали пассажиры. Они слушали напряженно, словно и их здоровье зависело от результата, полученного от флакончика.

Художник слушал рассеянно. Его огорчали темнота людей и то, что он не находит слов, чтобы объяснить им свет, который открылся ему, когда он расшифровывал начало Книги Бытия.

— Принимал я, значит, семь дён из флакончика, — продолжал бас, поощряемый общим вниманием, — ни чуть не полегчало. Звоню гомеопату: такой-то, мол, я, был у вас на прошлой неделе, велели вы мне к вам позвонить. «А где вы живете?» — спрашивает. На Дзержинского пять дробь четыре, говорю. А он: «Помни, помни. Ну как?» Да все так же, говорю. Болит в животе. «Ничего, — говорит, — принимайте дальше, через неделю опять позвоните». Звоню опять через неделю, опять же называю себя. «Где живете?» — спрашивает. На Дзержинской, говорю. Он опять: «Помни, помни. Как теперь чувствуете?» Плохо, говорю, почти что хуже. «Ничего, — говорит, — пройдет. Принимайте еще». И опять велел через неделю звонить. А мне невмоготу, ноет живот. Позвонил ему допрежь, не дождался недели. Называю фамилию... на этот раз, думаю, запомнил меня. А он опять: «Где живете?» Зло меня взяло от такой волынки. На Карла Маркса, говорю. А он, мать твою такую: «Помни, помни, как себя чувствуете?»...

Дружный смех увенчал выступление баса. И художник смеялся, и член правления.

— Люди нынче слишком много лечатся.

Продолжая разговор с художником, член правления закурил папиросу. Запах пирожков с капустой путал мысли. Художник, ощупывая, выкладывал из рюкзака то, что Люба приготовила ему в дорогу. Поезд замедлял ход. Станция! Около слепых стало свободно. Пассажиры готовились бежать за кинятком. И художник попросил налить ему в его чайник.

— Бюллетень заставляет. — Он приблизил пирожки к руке члена правления. — Хочешь не хочешь, зови врача или иди в амбулаторию.

— Это само собой. А больше причинна нынешняя вера в науку. И старики лечатся... На что они могут надеяться? Перед иным гроб разинул пасть, чтоб проглотить его целиком, а он все об одном каком-нибудь органе своем печется. Тратит на лечение время, которого осталось-то ему так мало.

— Дум виво, сперо. Покуда живу, надеюсь. Шиллер говорил, не зря эта надежда. Внутренний голос нас не обманывает. «Und was die innere Stimme spricht, das täuscht die hoffende Seele nicht», — мысленно процитировал художник.

За чаем и после он несколько раз вспоминал этот стих, вдохновляясь им.

С глубокой ночной тьмой пришел утомон. Народ на лавках задремывал, убаюкиваемый грузной вагонной качкой. Но для слепых ночь еще не наступала. Они не заметили, как над ними погасла лампочка. Художник видел кузнецов, остервенело стрекотавших за приятно прохладным окном. Он представлял себе их летящими рядом с поездом. А может быть, они качались на травах? Может быть, весь луг стрекотал? Звук этот наполнял ночь, поглощая подспудные стуки и погромыхивание колес. Что-то отмыкалось, что-то становилось доступно художнику. Хотелось делиться с провиденциальным спутником не только пирожками, но и тайными думами.

— Этой весной я узнал кое-что из книги, которую в наше время никто не читает, — начал он.

— Уж не Евангелье ли?

— Библия, Книга Бытия.

— Все равно. Чтение и для зрячих не рекомендуемое, а когда слепой берется за Священное писание, конченый он человек.

— Я за нее не брался. Случай натолкнул... Собственно, это была не Библия, а критика Библии.

И художник рассказал, при каких обстоятельствах он весной познакомился с первой главой Книги Бытия. Рассказал, как он понимает слова «и Бог увидел, что это весьма хорошо», повторяемые после каждого акта творения.

— Божество создает только хорошее, только доброе и здоровое.

— А кто же создал зло и болезни?

— Человек... своей ошибочной интерпретацией явлений.

Художник рассказал о кукольной аналогии, о сне Адама и о том, как вторая глава Книги Бытия противоречит первой главе.

— Болезни, как я их теперь понимаю, — это условные рефлексы, образуемые мышлением без участия любви. Результат способности человеческого рассудка связывать явления причинно-следственной зависимостью.

— Животные тоже болеют, — возразил член правления.

— По той же причине. Павлов основал свое учение на опытах с собаками. Причинно-следственные связи образуются в мозгу собаки так же, как в человеческом. У собаки их несравненно меньше, чем у человека, и болеет собака реже... Если связь, обусловливающая болезненный рефлекс, обрывается, происходит мгновенное выздоровление. Это, мне кажется, и есть одна из основ учения Иисуса, которую он подтверждал практикой, так называемыми «чудесами». Чаще же связь ослабляется, болезненный рефлекс угасает по-

степенно, под влиянием иных воздействий, например, веры в искусство врача, в лекарство. Тогда выздоровление длится какое-то время. Гомеопат, лечивший по телефону, вероятно, понимал это.

— И вы желаете все так объяснять? Все зло? Все болезни? А если кому отрезал ногу? Нога не вырастет.

— Тоже можно объяснить условным рефлексом. С отсутствием ноги связано вкоренившееся в нас представление о необратимости этого явления. Если бы человек мог затормозить этот рефлекс, оборвать эту связь, нога выросла бы у него, как у ящерицы.

— Оригинальная теория... Удавалось вам применять ее в жизни... в вашем положении? — В голосе члена правления художник услышал иронию, намек на то, что всякой теории грош цена, если нет ей практического применения.

— Я гораздо увереннее чувствую себя в лесу и на городской улице, перестал бояться. А еще... стал различать буквы в печатном тексте, когда приближаю к ним пальцы... Не по рисунку отличаю, а по какому-то цветовому эффекту. Слова представляются мне различными спектрами красок. Часто ошибаюсь, но надеюсь на постепенное угасание рефлекса слепоты.

Художник ожидал недоверия и возражений, но член правления, казалось, даже не удивился.

— Вы второй известный мне случай, — сказал он просто. — В Москве слепой мальчик различает на расстоянии краски и читает напечатанный текст, но не может объяснить, какими он их видит... Конечно, в мире многое необъяснимого. Однако две тысячи лет прошло со времени Иисуса, а нынче обращаются к врачу, вероятно, еще гораздо чаще, чем в его время. Мир не принял его, если предположить, что он жил в действительности.

Художник долго молчал, сопротивляясь давлению этого довода.

— Вы правы, — согласился он наконец. — Учение Иисуса так же плохо понимают теперь, как и тогда. А верят еще меньше... Но за эти две тысячи лет не найдено никакого другого пути. Поэтому слова «Я есть жизнь, истина и путь» остаются в силе.

Он встал и, нащупав ремни, стал подтягивать вверх раму окна. Переменился ветер, сильно дуло. Кузнецики замолкли. При поднятой раме, как галерные рабы, тоскливо пели колеса: не найдем, не найдем, не найдем...

— По этому пути звал Толстой, — заговорил снова член правления. — Но, уходя от семьи, он взял с собою домашнего врача.

— Толстой не все понимал в учении Иисуса. Но многое он понял.

— Мы пошли по другой дороге. И опять на пути войны. Партийный лектор к нам приезжал... немцы сосредоточили на нашей границе пятимиллионную армию. Хозяин говорил, ни вершка своей земли не дадим, будем бить врага на его территории... Немцы тоже обожают воевать на чужой территории. Если начнут, могут прийти к вам в Шиши.

Вероятно, война все же беспокоила члена правления.

Первой жертвой реорганизации была библиотекарша. Она бродила по колонии, как музыкант из оркестра, потерявший свой инструмент. Слепым нужны книги только по Брайлю. Куда переведут основную

библиотеку, никто не знал, и никого это не беспокоило, кроме нее. Ее тощее лицо грустно смотрело из черных кудрей, как лицо Тамары, обманутой Демоном. Художник тоже грустил. Ичезало то, с чем он смылся и сблизился. В организуемую страну слепых его не манило.

Больше, кажется, никто не огорчался. Жизнь научила колонистов оптимизму: хуже не будет. Клава оставляли на кухне, но она думала о городе.

— Уедем сейчас, — говорила она художнику. — Летом самое время. Каморку какую найдем... может, в Дашиной. Конечно, если война, на кухне прокорамишься. Но не для того ж живешь, чтобы жрать,

Они лежали в высокой траве у озера с змееголовыми лилиями. Художник прислушивался к пчеле, сопиравшей мед. Пчела, тяжело жужжа, летала от цветка к цветку. Когда она замолкала, он представлял себе ее самозабвенно прильнувшей к сладостному источнику. «Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет...» — приходили стихи, любимые в юности. Призрак войны стущевывался в медовых запахах и теплых токах земли.

— Здесь бы поселиться нам с тобой, как те сестры, — промечтал он вслух. — В избушке на курьих ножках... или с каменным фундаментом... вот там под сосновой кирпичи валяются.

— Ой, нет! Не согласна. Ночью сестры будут в окна стучаться. — Клава засмеялась, но она действительно не доверяла озеру из-за его страшного прошлого. И в зной не лезла в глубокую зеркально-черную воду.

— А к Даще нельзя. Алешин вернулся... Но мы в другом месте найдем, при нашем богатстве... Я тебе еще не рассказал, кто этот гомеопат, который нас благодетельствовал... Шурупа помнишь?

— Мне о нем недавно легавый напомнил.

— Какой легавый?

— Сюда приезжал... турист с тихим подходом. Всем будто интересуется, да меня не обманешь. Вижу, с какого города хрен.

«Не следователь ли?» — встревожился художник, вспомнив о неудачном замечании Любы.

— Начал от царя Салтана. Давно ли работаю в колонии. Откуда продукты получаем на кухню, какая норма, а потом карточку вынул из этажа: «Не знакома вам случайно такая личность?» Гляжу: солидный же-них — директор треста или главный инженер... И вдруг узнала: Шуруп! Вбок смотрит, не замечает, что на мушку взят... Вроде знакома, говорю, а может, и не он...

— Сказала ему?! — Художник обмер.

— Погоди... Вроде, говорю, знакома. «Кого же он вам напоминает?» — ласково спрашивает, а с настойчивостью. Да, может, и не он, отвечаю, а сходство есть. «Ну, с кем же, с кем сходство-то?»... Не терпится ему, видит себя уже близким к цели. Ладно, думаю, сейчас ему дурочку склею. Давно это было, заливаю ему, в Крыму, в санатории я работала, тоже на кухне. Рядом дворец. Когда-то царь в нем стоял, а тем летом ответственные товарищи отдыхали. Одного я часто видела в машине. И на пляже случалось. Вон он тут на портрете как живой или, может, брат родной. Скис легавый. «А из тех, кто здесь в колонии находился, он вам никого не напоминает?» Что вы! — удивляюсь. — У нас не Крым, слепые да шпана одна. Высокие товарищи до нас не опускаются...

— Хорошая моя! — Художник крепко обнял Клаву.

Сладко жужжали над ними пчелы, долго жужжали... «Я люблю, как араб в пустыне припадает к воде и пьет, а не рыщарем на картине, что глядит на звезду и ждет...»

Когда отжужжали пчелы, художник поведал Клаве о встрече с грузином, о преображении Шурупа и о подозрениях следователя. Клава развелась.

— А ведь он после с библиотекаршой беседовал.

— Надо узнатъ у нее, о чём.

— Интересовалась я. Она от меня по-партийному язык на замке держит. Тебе-то, пожалуй, скажет.

Но и с художником библиотекарша была не откровенна.

— Меня предупредили, что разговор секретный. — Теперь крыло Демона осеняло Тамару.

— Я не из любопытства... До сих пор вы мне доверяли.

— Всегда доверяла и доверяю... Неужели вы сомневаетесь? Если бы вы слышали, что я говорила о вас тому товарищу (представляете, откуда он), вы бы не сомневались. Я ему объяснила, что у вас не могло быть никаких отношений с этим человеком. Каково бы ни было дело, в котором этот человек замешан, вы тут невиновны.

— Какой человек?

— Тот, который интересовал его.

Все стало ясно художнику: следователь добился своего, библиотекарша опознала Шурупа на фотографии.

Из колонии на станцию пробирался грузовик за материалом для щеточной фабрики. Переваливая через ухабы, поднимал пыль выше сосновых крон. В кузове подпрыгивали Клава, художник и их багаж. Рядом с шофером сидел член правления. Он уезжал удовлетворенный. Реорганизация проходила гладко, без сопротивления. Сказывалось преимущество строя, не стесняемого традициями. Со временем колективизация народ как в центре, так и на местах привык к коренным переменам, принимает все без протеста. «К сожалению, — соображал член правления, — не все перемены ведут к лучшему. Успех определяется умами тех, кто вершит перемены, а человеческий ум весьма ограничен... скован условными рефлексами», — вспомнил он разговор с художником. Но об этом нельзя было говорить на собраниях, поэтому он решил, что бесполезно и думать об этом. Как человек волевой, деятельный, он умел управлять своей мыслью.

А художник, держась за борт, думал об Эдгаре По, американском поэте-аналитике, сочинявшем прекрасные стихи и рассказы, распутывавшем преступления и разгадывавшем сложнейшие ребусы и шифры. Эдгар По говорил, что все, что зашифровано и загадано человеком, может быть расшифровано и разгадано другим человеком. И художник пытался понять, как следователю удалось расшифровать гrimировавшегося преступника. Еще больше беспокоил его вопрос, успеют ли они предупредить Шурупа.

Поеzdка следователя в колонию была всего лишь проверкой его гипотезы. Как Эдгар По, он увлекся аналитической игрой без мысли о статьях закона, о наказании преступника. Возможно, и остановился бы на том, если бы не письмо.

Оно пришло на службу в лиловатом конверте с волнистым обрезом, изящное по-дореволюционному. Некто узким женским почерком, грамотно, литературно даже, уведомлял его об интимном сближении Ларисы с гомеопатом...

В первые секунды он не поверил. Сущность письма отталкивала, казалось чужой, хотя касалась его. Потом аналитический ум принял ассоциировать факты. Лариса стала часто приезжать в город, оставляя детей на даче с бабкой. А проникающий, теплый взгляд, которого раньше не было в русалочных глазах?.. Следователь до письма приписывал его внезапной перемене, выздоровлению... но его могло также рождать тайное общение с этим... вором. Воображению представился банально-рековской треугольник: он, Лариса и вор. Следователь почувствовал, будто уже принадлежит к презираемому им уголовному миру. Будто и на него уже готовится папка, какие хранились в ящике его стола...

— Я знаю, кто написал, — покраснев вымолявши Лариса, когда он показал ей письмо. — Это Екатерина Саввична, сестра у него на приеме. Она ревнует к нему всех... пациенток. — Лариса чуть не обмолвила: «Молодых пациенток», — но удержалась, чтобы не обидеть мужа, вспомнив разницу в возрасте между ними. — Меня она в особенности не любит.

— Тебе надо перестать бывать у него. Ты ведь теперь здорова.

— Мне хорошо, когда я у него бываю. Он чудесный человек. Неужели из-за этой старой девы... Ты всегда говорил, что стоишь выше сплетен...

Следователь почти уже верил письму. «Влюблена в вора, и нельзя открыть ей, что не врач он, а вор. Даже если и не зашло у них так далеко, она считает себя обиженной ему и предупредит его...» Следователь не был больше склонен к прощению. «Надо разоблачить его как можно скорее... для ее же блага», — говорил он себе.

Теперь это уже была не расшифровка ребуса, не аналитическая игра, дающая чистое наслаждение. Это была борьба.

— Я не вижу сходства на фотографиях. — Прокурор сличал профиль и фас вора Шурупа, полученные из регистрационного бюро, с фотоснимком, сделанным следователем тайно из автомобиля, когда гомеопат выходил из своего подъезда.

— Пропорции лица те же. Но главное — дактилография. — Следователь показал на отпечатки пальцев, зафиксированные им с пузырька, который гомеопат дал Ларисе. — Сравните с отпечатками этих же пальцев у вора. Совершенная идентичность!

Прокурор пожал плечами.

— Допустим, случайное совпадение.

— Совпадение? Вы допускаете, что отпечатки пальцев у разных лиц могут совпадать?

— Вообще-то говоря, конечно, нет. Но сами вы недавно говорили, что современная наука допускает исключительные случаи... чудеса, так сказать.

— Теоретически. А наше дело — практика. И в криминалистике ни одного такого чуда по сей день не зарегистрировано.

— Ну, а случаи, когда вор становится гомеопатом, зарегистрированы в криминалистике? Это тоже практическое чудо... Квит на квит! — Лицо прокурора

смялось в улыбку. — Я знаю, вы противник гомеопатии. Однако Русанов спас вашу жену.

Следователь покраснел. Прокурору вспомнилось, что, по сведениям Любы, Лариса влюблена в Русанова. «Ревнует ее, наверное, к гомеопату, потому и ополчился на него», — подумал он.

— Не может шарлатан спасать, — возразил следователь, сдерживая себя. — Ее выздоровление было, по-видимому, последствием больничного лечения... так говорят специалисты в больнице.

— Они-то, конечно. Они не любят Русанова. Завидуют ему.

— Если бы только шарлатанство, то и тогда странно было бы не разоблачить его. А он не прекратил своей воровской деятельности. — Следователь объяснил, что подозревает Русанова в краже мехов и кассы ресторана. Рассказал также и про собаку.

— Ах, опять ваша гипотеза!.. Но где доказательства? Хотите, чтобы я привел в суд собаку?

— Вероятно, найдутся и другие улики, если поискать в его квартире.

— Обыск? На каком основании? Обвинение за подложный диплом не дает оснований для обыска. Ваша гипотеза кружит вам голову. Советую опомниться. Вы замахнулись на врача, который пользуется доверием народа. — Прокурор показал рукой на потолок, давая понять этим жестом, какой народ он имеет в виду. — Землянов покажет вам обыск, долго будете помнить, — прибавил он для ясности.

— Есть еще одна улика. — Следователь, обычно гибкий и осторожный с начальством, на этот раз решил идти напролом. — Как вы полагаете, почему он купил скульптуры у вашего шурина?

— Ради рекламы. Он их поставил в приемной.

— А может быть, по дружбе? Я, конечно, только предполагаю, но... — И следователь поведал прокурору, что говорила Дарья о подозрениях жильца, когда приносила деньги, подаренные художником. — В колонии мне подтвердили, что ваш шурин был близок с Шурупом, а у вас за столом он отрицал и скрыл имя вора. Вор и отблагодарил его покупкой скульптур. Обоюдная сделка, а перед нами они разыграли незнакомых.

Прокурор опешил.

— Почему вы мне раньше не сказали?

— Не хотел впутывать вашего родственника.

— Никакой он мне не родственник. А если бы и был, тем более. С этого надо было вам начать... Дам вам ордер на обыск... Но сперва я должен информировать Землянова.

Следователь с удовлетворением отметил, что прокурор как будто бы даже обрадовался неожиданному повороту дела. Отчасти следователь предполагал такую возможность, так как тогда за обедом ярко проявилась его ненависть к художнику.

«Убью двух зайцев», — радовался прокурор, возвращаясь домой. Была суббота, канун выходного, Люба ждала его на даче. «Интересно, что она скажет, когда узнает, что брат ее магарычит с ворами». Он был рад унизить художника в ее глазах и одновременно показать всем, что преданность народу, служебный долг для него дороже родственных связей.

По пути он заходил в магазины, покупая большие обычного. Утомленный толкотней и стоянием в очередях, вспотевший, алчущий, завернулся к инвалиду-

грузину. У прилавка темноокая Белла встретила его долгим взглядом.

— Он там,— сказала она магнитически притягательным голосом, указывая вниз.

Прохладный погребок был убежищем от зноя. Под стук протезов и живой грузинский акцент, отчетливые в глубокой тишине, прокурор с наслаждением поглощал возбуждающую, темно-красную, как густая кровь, влагу.

— На Кавказе долго живут, больше ста лет живут... от такого вина,— говорил грузин, увязывая прокурору в дорогу скрипучую корзинку.— Тут и моему другу бутылочка, вашему шурину. Не уехал еще от вас?

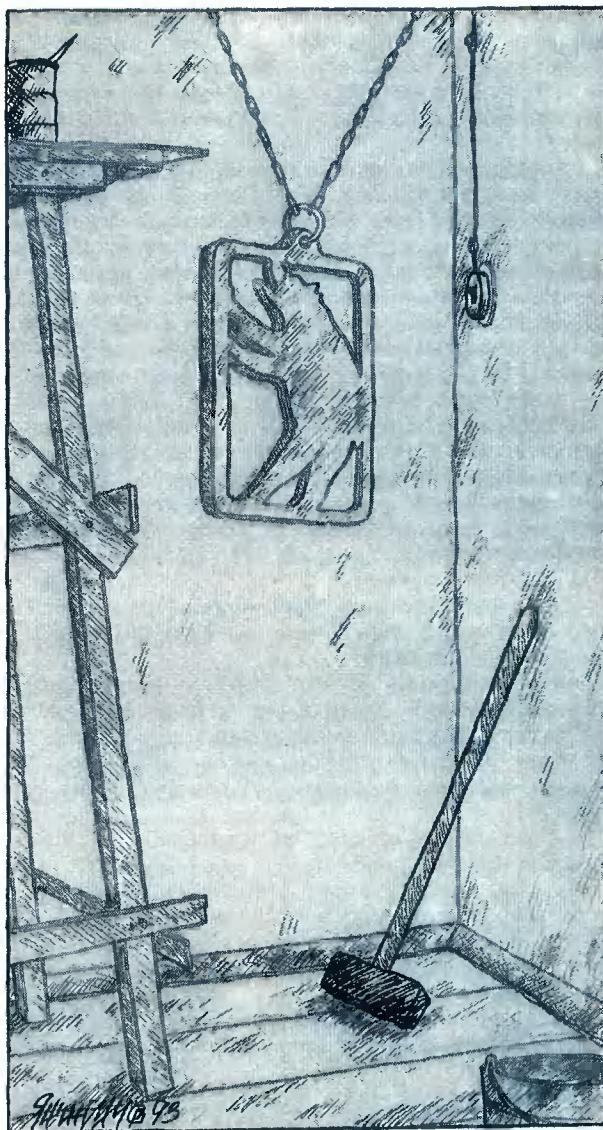
«Мой шурин — друг всем мошенникам»,— подумал прокурор, и вместе с этой мыслью пришла другая, страшная: не осталось ли у его шурина друзей из той белой роты?

Эта мысль не раз тревожила его за последний месяц, пока гостили художник. Поэтому он вздохнул свободно, когда художник уехал. Теперь опасность неожиданно возросла в сто крат. Когда Круковский дознается до службы художника в белой армии, оттуда, из гиблого прошлого, могут явиться свидетели... зрячие, помнившие в лицо солдата, бежавшего от ревтрибунала. Прокурор хорошо знал, как легко при следствии обнаруживаются новые факты, привлекаются новые лица. И приостановить следствие уже невозможно. Его обвинят в том, что он покрывает врагов народа, родных жены. «Круковский, ревнивый бес, ничего не упустит в трудной борьбе с гомеопатом... упоминание о шурине было скрытой угрозой мне».— Прокурор чувствовал теперь страх перед следователем вместо начальнического превосходства.

Тело его обмякло больше от страха, чем от зноя, когда он притащился домой с покупками и с корзинкой грузина. Во флигеле было так же прохладно, как и в винном погребе,— от свежей побелки, от сырых обоев. Полы были замусорены и забрызганы. В прихожей, раздвинув ноги, стояла стремянка. Ведра и кисти ожидали до понедельника маляров, не окончивших ремонта.

В большой комнате с обеденным столом, застланым старыми газетами, портрет сверхвождя был прилонен лицом к стене. Прокурор повернул его бережно, как икону. Душа прокурора тянулась за помощью к уверенной фигуре с тяжелым взглядом, красивой, сильной рукой и воинственными усами. Он вспомнил разговор в этой комнате перед этим портретом о том, что не только воры, но и вожди переступают законы. Да, сверхвождь убирал всех, кто становился ему попреком дороги. «Значит, так можно, так надо... Преступление в обществе закономерно, как в природе — молния, обвал, извержение. Бывают положения, как мое сейчас, когда...» — Убеждая себя, прокурор пришел к выводу, что и для него есть один простой выход — убрать художника.

Он вспомнил про озеро, о котором рассказывала Клава. «Если подкараулить его, когда он купается... хороший удар, и пойдет на дно, не зная даже, кто его ударил».— Прокурору представилось, как он подпрыгивает к художнику с топором. «Нет, топор может стать уликой... надо найти камень на месте...» Но как ни легко подкрасться к слепому и оглушить его, чтоб утонул, а страх сжимал сердце прокурора, словно предстояла охота на тигра. «Загrimироваться, по ги-



потезе Круковского, чтоб ни в поезде, ни на станции не запомнили... А алиби? Как я объясню свое отсутствие в течение нескольких дней, может быть, недели?» Это был сложный вопрос. Прокурор путался в нем, когда зазвенел телефон.

Взял трубку, он обмер, услышав голос своей жертвы — ненавистный ему голос художника.

— Откуда звоните? — Голос прокурора звучал хрипло, потерянно.

Художник звонил из автомата. Он и Клава решили ехать к Русанову немедля, прямо с вокзала, и уже созвонились с ним. Прокурору же художник сообщил только о своем приезде и предупредил, что придет поздно, после двенадцати. О том, что с ним Клава, пока умолчал. Узнав, что прокурор едет на дачу, попросил положить ключ в условленном месте.

— Не пугайтесь. На сей раз не буду долго злоупотреблять вашим гостеприимством.

Прокурору казалось, что тигр, на которого он

охотился, сам подкрался к нему. Рука его дрожала, когда он опускал телефонную трубку на рычаг.

Отдаленное не так страшит, как близкое. От акта на озере его отделяло несколько дней. Было время обдумывать и готовиться. Теперь надо было решаться сразу.

Ему представилось уже не озеро, а длинный коридор вдоль неоконченной стройки. Этим коридором проходили в их двор. Другого пути не было, стройка перегородила улицу, для населения был оставлен узкий проход. После консервации забор, ограждавший проход, в одном месте проломали, на обезлюдевшей стройке днем иногда играли ребята, а ночью только кошки шныряли между кирпичей и ржавеющего металла.

«Если схорониться за забором у пролома и кирпичом его или куском железа... наповал... так, чтоб не крикну...» — Прокурора потянуло на стройку, осмотреть место, заранее облюбовать тяжелый предмет для удара. Но едва дошел он до прихожей, как у парадной двери раздался звонок, резко прозвучавший в пустой квартире.

Прокурор вздрогнул. Примнилось — передумал художник и стоит здесь за дверью. Несмело открыл ее и увидел... Алешина.

Лицом исхудал Алешин в лагере, и живот подобрался, но руки и плечи были по-прежнему толстые и слитно переходили в короткую шею. В этой медвежьей слитности была угроза прокурору. Он сделал много зла Алешину, поэтому боялся его и ненавидел.

— Ко мне? — спросил он, отступая и уже догадываясь о причине, приведшей к нему Алешина. Хотелось ему, чтобы Алешин убрался подальше вместе с семьей. Поэтому закулисно влиял на милицию, чтобы не прописывала вернувшегося из лагеря, хотя статья, по которой был осужден Алешин, не запрещала прописки в их городе.

Алешин неловко шагнул по мусору, озираясь на сырье стены. Смотрел странно — показалось прокурору.

— Чего ж молчишь? Говори, зачем пришел, — спросил он, скрывая беспокойство.

— В отношении прописки, — выговорил наконец Алешин.

— Это ты не по адресу. Пропиской милиция ведает.

— Не по закону они.

— Милиция закон знает. И зачем тебе непременно здесь жить? Страна наша велика... и обильна. Ты, если подальше уедешь, вдвое больше здешнего заработкаешь.

— Известно, если завербоваться подальше. — Алешин посмотрел через открытую дверь в большую комнату и, заметив на столе рюкзак с покупками, понял, что прокурор, как обычно, уезжает под выходной на дачу.

— За чем же дело стало? Вербуйся на восток либо на север.

— Можно и на север... Только не по закону они.

— Не по закону, не по закону. Говорю, милиция знает закон. Да какая польза тебе, если оставят?

— Пользы действительно не предвидится... А отдохнуть бы после лагеря по справедливости. Ударником был... документ имеется.

— Отдохнуть? — Прокурор обрадовался. — Хорошо, я поговорю с начальником милиции. Сколько тебе надо? Неделю, две?

— Лишнего не прошу, а ежели, может, месяц...

— Поговорю... хотя не ручаюсь за месяц.

Алешин ушел удовлетворенный... но не обещанием прокурора, а тем, что видел во флигеле. Прихожую только утром оклеили, стены мокрые. Если сорвать полосу обоев и наклеить обратно другую (в прихожей стоял такой же рулон), никто не заметит, даже рабочие, когда придут в понедельник. А тайник он заложит кирпичом. Этой же ночью решил сделать дело. Любое нельзя сказать, прокурор узнает, ничего не получишь. Да не обязан Алешин с ней делиться, раз она изменила мужу. А муж о ней как беспокоился! Алешин казалось, что, доставая клад для одного себя, он тоже как бы исполняет последнюю волю Николая Николаевича.

На покинутой рабочими стройке время остановилось, стало вечностью, и мертвое жило, как живое. Сквознячки ласкали кирпич. Скрипел, покачиваясь, оторванный лист фанеры. В глазах Тольки, взиравшегося по стремянкам, оживали и перемещались оконные столбы и перемычки. В оконных проемах менялись архитектурные пейзажи.

Толька поднимался выше и выше, переходя по доскам опасные пролеты. Высота манила, вызывая в памяти стихи, которые он слышал от художника:

Я мечтою ловил уходящие тени.

Уходящие тени угасавшего дня.

Я на башню въходил, и дрожали ступени,

И дрожали ступени под ногой у меня.

И чем выше я шел, тем ясней рисовались.

Тем ясней рисовались очертанья вдали,

И какие-то звуки кругом раздавались,

Вокруг меня раздавались от небес до земли.

Внизу, на дне глубокой улицы, автомобильные гудки тревожили пешеходов. Под тополями сгущались тени. А крыши домов были светлы и тихи. Слышно шумели крыльями голуби, устраиваясь на ночлег у неоконченного дымохода. Переход от теней и суеты к покою и ясности волновал Тольку. Вот бы показать это красками! Но он понимал, что пока не сумеет.

Он лег животом на стену и глянул вниз с высоты пяти этажей. По строительной площадке, среди мусора, носилок, ящиков из-под раствора и штабелей кирпича, бродил мужчина, сокращенный расстоянием до большого муравья. Мужчина что-то искал. Нашел что-то, рубанул им по воздуху. Присмотревшись, Толька узнал своего врага — прокурора. Прокурор спрятал находку в мусор, подтащил к этому месту ящик, накрыл. Снял что-то с рук и тоже сунул под ящик.

Когда прокурор исчез за проломом в заборе, Толька спустился на землю. Притопняв ящик, тяжелый от приставшего раствора, он узрел увесистую кувалду и истрапанные, с красной пылью рукавицы, какими рабочие хватают кирпич.

Тени художника и Шурупа шевелились на шелковом ковре, освещенном высокой стоячей лампой с голубым абажуром. Вверх по ковру вилась тень от папиросного дыма. Колдовской голубоватый свет едва достигал открытого окна, за которым сумеречное небо струилось, как вода, маня вдаль. Мир странно-

стей и чудес открывался Клаве из глубокого кресла, обнимавшего ее с трех сторон. Изумлял ее рассказ Шурупа о том, как он стал врачом в далеком сибирском городе... ради вывески, чтобы занятость показать. Неожиданно показная профессия оказалась много выгодней той, на которую он рассчитывал.

— Ту пришлось завязать. Рабочего дня не хватало. Больные одолевали.

— И не побили они тебя?

— Уважали, как Бога. Главное, настроение поднять... — Тень подвижной руки с длинными пальцами прыгнула по ковру. — Из лагерного опыта я хорошо запомнил: как заскучает заключенный, смотришь, через пару дней в морг на носилках поплыл. Так же и больному нельзя скучать. С надеждой же по первому разу обязательно полегчает. Бывает, и совсем выздоравливают. А если потом хуже станет, больной опять же врача редко винит... вначале-то я помог ему. Винит себя: капли пропустил принять, понадевшись на улучшение, либо иначе не поберег себя. И каётся мне в этом.

— Отчего ж уехал оттуда?

— Слишком меня в городе узнали. Ждал, заинтересуются, где я раньше работал, а прошлого у меня не было. Общество не терпит такого. Закон природы — чтобы у всякого предмета имелась тень, закон общества — чтобы у каждого было прошлое. Вот теперь оно у меня имеется. Тот сибирский город — мое прошлое. Да здесь и познанье слух пустили. Будто из Тибета я. У гималайских мудрецов курс прошел... Людская молва, что морская волна.

Шуруп вздохнул. Он глядел невесело и говорил словно по принуждению. Клава не понимала, слава, что ли его утомила, молва в тягость или что другое? К известию о поездке следователя в колонию — самому важному теперь событию, думалось Клаве, он отнесся безразлично.

— Гомеопатия неabortы, считается, невинное занятие. Да у меня высокие заступники найдутся. Землянов сам... Прищемят лапу Круковскому. Зря старается.

— У него могут быть еще и другие подозрения, — осторожно заметил художник.

— Подозрения есть, а улик нет. Были б улики, он бы тогда за обедом своей гипотезы не выдал. На психику ловил.

Клава смотрела на полированную мебель, поблескивавшую из темных углов. Ей казалось невероятным, что эти дорогие тяжелые вещи приобретены таким легким обманом. Она верила во врачей, в медицину, даже в народные средства. И ей мнилось присутствие тайны в этом гомеопатическом кабинете с голубым светом, со стеклянным шкафом, полным пузырьков и баночек. Тоже и художнику обман казался слишком простым объяснением успеха. Действовало еще что-то. Он сказал об этом Шурупу, сославшись на случай с Ларисой.

Пальцы Шурупа задвигались, взгляд стал напряженнее. По-видимому, упоминание о Ларисе затронуло его глубоко.

— В трудном случае одной надежды мало, — ответил он после долгой паузы. — Надо, чтобы больной понял, что нет такого закона, чтобы ему болеть. Что нет над ним никакого закона, что он свободен, совсем свободен. Откуда эти законы, которых человек боится, что они во вред ему? Сам же человек их и создал.

Прежде богов создавали, а нынче законы... Лариса Дмитриевна, — Шуруп бережно произнес это имя, — поняла, что свободна.

Клава заметила, как просветлел открытый глаз художника. Это была как раз та вера, к которой он принадлежал.

— Верно, — подтвердил он, обрадованный. — Я это тоже понял. Человек свободен, как божество, созданное его. Божество не создает вредного, не может создавать вредного по своему существу.

— Божество? — В глазах над высокими скулами блеснула насмешка. — С божеством не доводилось встречаться.

— С ним все встречаются, — возразил художник с конфузливой улыбкой. — Божество — это любовь, разум, добро...

— Добро оно со злом пополам. И дураков больше, чем умных.

Шуруп помрачнел. Не желая продолжать этот разговор, пошел на кухню. Принес коньяк, посуду, закуску.

— Ты что ж, так один и живешь? — спросила Клава.

— А кому я могу открыться?

— Кому полюбишься.

— Он же говорит, божество — это любовь. Потому мне и любовь не встретилась.

Толька едва успел домой, попрощаться с матерью. Дарья уезжала в деревню за Мишуткой. С ней был тяжелый багаж гостинцев для родных. Вместе с отцом они проводили ее на вокзал.

Вернувшись, после ужина, отец снова растопил плиту, поставил ведро с водой, достал пакет муки.

— Клей будешь варить? — спросил Толька.

— Вон. — Отец указал на отставшие обои над дверью.

«Ведро на пустяковину?» — удивился Толька, но промолчал. И о прокуроре не рассказал, заметив, что родитель не расположен беседовать.

Как всегда в эти теплые вечера, он отправился на сквер, где парни и девки плясали под гармонику до рассвета. Но, проходя вдоль забора стройки, остановился у пролома и нырнул в него.

В лунном свете неоконченное здание было еще живее, чем днем. Стены высился, как легкие декорации, напоминая Тольке шекспировскую драму: та же таинственность под голыми балками в темных проемах, как и в замке датских королей. Волшебно сиял мусор с бочкой извести и с опрокинутым ящиком. Рядом лежала зубчатая тень забора. Луна одалживала окрестности свою притягательную силу. Поднявшись по двум стремянкам, Толька остановился перед доской, перекинутой через непроглядный мрак. Над головой, сквозь пересечения балок, просматривались дрожащие звезды. Путь к ним был опасен. Толька обернулся к оконному проему измерить на глаз высоту. И на сияющем мусоре увидел огромного жука — прокурора. Прокурор, нагнувшись над ящиком, вытаскивал спрятанное.

Тольку не пугали темные углы воображаемого замка, но шекспировский злодей, перешедший со сцены в реальный мир, внушал трепет. Толька следил за ним, замирая от страха.

Взмахнув несколько раз кувалдой, прокурор перешел к пролому в заборе, но не ушел в него, а стал

около. Тень забора скрыла его. Только казалось, что он растворился в темноте, исчез, но он появлялся снова всякий раз, как по деревянному настилу за забором слышались шаги. Дав пройти пешеходу, он просовывался в пролом, смотрел вслед и опять возвращался в тень.

«Поджидает кого-то, бандюга!» — понял Толька.

Если короли совершают преступления, казалось естественным, что и прокурор может быть бандитом.

Ожидая характерного, с остановками, шага и стука палки, прокурор, волнуясь, выглядывал из укрытия и на другие шаги. При этом, попадая в свет луны, отворачивал рукавицу, смотрел на часы. Он стал на пост позже, чем рассчитывал. Задержался за преферацом у начальника милиции. Преферац этот был его алиби, нельзя было выказать торопливость. Все же успел до полуночи, а художник сказал, что придет позже... Однако мог прийти раньше. «Может быть, он уже там», — беспокоился прокурор, но не шел домой проверять. За то время, что он будет ходить, художник может пройти деревянный проулок.

В теплую лунную ночь прокурор дрожал от нетерпения и опасности, как от холода. Одна мысль лейтмотивом перемежалась с другими: как, развернувшись ловчее, ударить сильнее, чтобы враг не вскрикнул. Художник был враг ему еще в молодые годы, в армии. «Он бы застрелил меня тогда, если бы не Маруся», — вспоминал прокурор столкновение из-за еврея. — А нынче еще опаснее, хоть и ослеп... Не мне только, советской власти опасен. Не зря сдружился с деклассированным элементом, с ворами». Унимая дрожь, прокурор убеждал себя, что его личный интерес совпадает с государственным.

Стрелка приближалась к половине. Решимость прокурора слабела. Оставив в тени забора кувалду и рукавицы, он скользнул в пролом и пошел по настланным доскам к дому. Во дворе за темной громадой с отсвечивающей крышей и антенными сочли свет на маслянисто-яркую темно-зеленую листву и жирную черную землю одинокое окно флигеля. «Опоздал!» Прокурор съежился, судьба помогала художнику.

Светило окно прихожей.

«Зачем он свет зажег? Все равно не видит», — подумал прокурор. Ему не хотелось сейчас встречаться с художником.

Он тихо взошел на крыльцо. Повернул ключ в замке, еле лязгнув. В мрачном свете прихожей увидел Алешина, обмершего, неуклюжего, с металлической шкатулкой в руке. «Мстит, бомба!» — молниеносно решил прокурор и сунул руку в задний карман.

— Клади на пол, гад! И руки на голову! — Прокурор наставил на Алешина пистолет.

Опуская медленно шкатулку, Алешин не увидел, как позади прокурора взметнулась кувалда. Вслед за шкатулкой прокурор глухо стукнул о пол. Кровь из его виска пунцовыми цветком украсила замусоренный, закапанный побелкой паркет. Над ним неловкие, еще не осмыслившие происшедшего, стояли лицом к лицу Алешин и Толька с кувалдой.

— Убил... никак убил ты его, — потерянно произнес Алешин.

— За гада ему... падло! — Лицо Тольки было безумно от ненависти.

Алешин опустился на колено, оттянул кверху веко у лежащего.

— Покойник и есть.

— Хрен с ним. Ведро возьму. — Толька узнал ведро, в котором отец варил клей. — А ящик его не надо.

— Не его ящик. После скажу.

Алешин погрузил шкатулку в ведро. Они уже вышли на крыльцо, когда Толька, сообразив, что свет в запертом флигеле может утром привлечь внимание, вернулся и повернул выключатель.

Тьма хлынула в комнату, поглотила формы предметов. Ненадолго. Рождался самый длинный день лета. Свистело окно. Тьма сжималась и разрывалась, образуя тени. Обозначались очертания вещей. Раздвинутая стремянка стояла в ожидании. На полу отдохала кувалда. Создания человека отражали отчетливые идеи. Но непонятно было, какую идею отражал труп человека, лежащий на мусоре с пистолетом в руке. Он казался мертвее кувалды, мертвее лестницы, хотя в нем еще происходили процессы, изменившие его: холодела и твердела кровь, сравниваясь с температурой воздуха, разлагались ткани, росли волосы. Труп принадлежал хаосу, а не миру идей.

Клава испугалась его. Она вошла первой.

— Начальник застрелился! — Пистолет ввел ее в заблуждение.

Нагнувшись над лежащим, художник нашупал кисть тяжелой окочневшей руки. Пульса не было.

Клава расстегнула рубашку, послушать сердце. От неожиданности ей стало еще страшнее, когда она узрела серебряную пластинку.

— Иконка?.. Верующий начальник. — Разглядев изображение, повеселела. — Медведь! Вон кому советский начальник молился.

— Медведь?! — Художник вспомнил красивого солдата из далекого, будто чужого, прошлого.

Он долго ощупывал пластинку.

— Интересно, почему он убил себя?

— По службе чего-нибудь... Врача вызвать? — предложила Клава.

— Перенесем его сначала на кровать.

Ох, и тяжело же было упитанное, гладкое тело прокурора!

«Божество — приманка для слабосильных», — бормотал Шуруп, оставшись один. Он не задержал гостей, когда побелело окно. Не терпелось скорее наедине разобраться в своем положении. Известие, привезенное ими, значило для него много больше, чем он показал. Не Круковского он испугался — это он им правду сказал. Но он солгал, что не встретилась ему любовь. Встретилась Лариса. Ее большие зеленоватые глаза и короткая прическа, как у мальчика, были с ним неотступно. И сейчас его мучило, что не открылся он ей в тот бездонно-глубокий вечер, когда она рассказала ему об анонимном письме и не поехала на дачу, а пробыла у него до утра. Он побоялся потерять ее любовь, ее уважение... Теперь, когда Круковский начнет против него дело, ему придется отрицать кражи, и Лариса поверит ему, а не мужу.

«Но правда-то будет Круковского, хоть и не сможет доказать. А я перед ней буду вечный обманщик, хоть она и не будет знать. Поганая получится жизнь...»

В первый раз Шуруп боялся обмана. А открыться теперь Ларисе значило каяться перед ней в том, что он ее обманул. Стыдно и поздно. Утаив от нее свою игру

и что был вором, он признал свою вину перед обществом. Выказал слабость, трусость. И теперь уже не мог предложить Ларисе быть соучастницей его лжи.

«Да она бы теперь и не согласилась, скорей утопилась бы... Божество?.. Нет ничего такого. Жизнь — игра. Есть игроки сильные и слабые. И один над нами Господь — случай. Всё. Точка!»

Шурупу, проигравшему игроку, оставалось одно — уйти из игры по правилу сильных. Он открыл письменный стол и вынул револьвер.

«Меня не будет, и следствия не будет. Ларису не опозорю... Слава за мной останется, а барахло, — Шуруп оглядел кабинет, — государству пойдет. Власть, как хозяин майдана, не бывает внакладе. — Он вспомнил о большом чемодане. — Нет, его нельзя оставлять. С ним Круковский, пожалуй, и против мертвого заведет дело... докажет свою гипотезу».

В спальне Шурупа, открыв чемодан, с грустью обозрел гримировочный реквизит: мастер расставался с любимым инструментом. Достал еще из стенного шкафа гимнастерку с нашивками, фуражку с красным околышем, потертый костюм, короткие штаны, мягкую шляпу... Уложил все в чемодан. Туда же втиснул двухпудовую гирю, с которой по утрам упражнялся.

С этой тяжестью и с резиновой лодкой, сложенной в чехле — взял лодку в чулане, — он вышел из подъезда. Бледный свет, незаметно прибывавший из невидимого источника, расширял улицу. Один был на ней Шуруп и будто бы не один. Его шаги повторяло эхо на другом тротуаре. Город был словно полый. Спящие за распахнутыми окнами временно отлетели в иные обители. Река, когда он, потный от ноши, подошел к ней, текла медленно, как воды Стикса.

Надув лодку мехом, он разделся на берегу. Выгреб с чемоданом на стрежень. Ни души кругом. Только вдали спина рыболова, следившего за поплавками. Близко над водой пролетела выгнутокрылая чайка. Шуруп быстро вытянул нипели из секций лодки. Зашипев, съеживаясь, лодка накренилась, чемодан скользнул с нее, за ним и лодка пошла книзу и исчезла в черной воде. Шуруп поплыл к берегу. И ему бы на глубокое дно, да нельзя. Если не оставишь после себя трупа, Круковский подумает, сбежал, и начнет розыск.

Воздух порозовел, когда он подходил к дому. Кровь зациркулировала по жилам города, переходящего от небытия к жизни. В сквере бегала лохматая собачонка старого профессора. Профессор, квартировавший над Шурупом, худой, высокий, неразговорчивый старик, по утрам часто сиживал в сквере с немецкой книжкой. Сейчас профессора не было. Собачонка подбежала к Шурупу, но он не стал ее гладить. Некогда. Черный блестящий холодный предмет ожидал его в ящике стола. Он сконцентрировал на нем мысль, чтобы не ослабить воли и честно отдать последний долг игрока. А собачонка бежала за ним, требуя внимания к себе, требуя ласки.

Из подъезда показался профессор, непривычно неодетый, в полосатой пижаме, похожий на больного, убежавшего из психиатрической клиники. Он странно озирался кругом. Узнав гомеопата, кинулся к нему.

— Доктор, доктор, немцы... Немцы напали на нас. Фашисты! — Профессор задыхался. В расширенных глазах блуждал ужас, будто кошмар поднял его с постели. — Радио передает из Берлина. По всей границе

наступают. А ведь пакт о ненападении? А? Бумажка. Разорвали. Вся Европа под ними... континентальная. Двунадесять языков, как у Наполеона... А наш народ спит. — Он указал на пустую, тихую улицу.

В тишине профессор горел ожиданием, как взрывной фитиль. И, в самом деле, стал слышен рокот, накатывающийся на тишину. Шум приближающихся моторов. Высоко, из бледно-голубой дали, летели к розовой заре безликие птицы. «Пять, шесть, семь, — считал Шуруп. — Два бомбардировщика и истребители». Через минуту он увидел, как отделяются бомбы. По взорванному ударом воздуху прокатился гром.

— Молниеносная война... как во Франции, — лепетал профессор. — Их вожди обещают молниеносную...

— Обещать можно. Власть на обещания не скучая. Ихня, как и наша. — У Шурупа над высокими скулами блестели глаза. — Поживем, увидим.

Да, ему можно было еще пожить. Во всеобщей беде растворялась его личная неудача. Власти будет теперь не до него. Как приговоренному к смерти, ему вышло помилование.

Он поднял лохматую собачонку и приласкал ее.

С лучами солнца во флигель прибыли врачи и оперативники гормиции во главе с начальником. Начальника гормиции поразило известие о самоубийстве прокурора — накануне он играл с ним в карты. Все же его, как и остальных, больше волновала бомбардировка немцами аэродрома. Но эти два факта сразу же связались вместе после того, как врач установил, что смерть прокурора последовала не от выстрела, а от удара кувалдой, вероятно, той, которая валялась в прихожей. Возникло подозрение: не диверсионный ли это акт? Оно усилилось, когда приехала Люба и засвидетельствовала, что ни одна вещь не пропала из дома. Подозрение упало тенью на Клаву и на художника. Слепой не мог ударить, но женщина... Удар кувалдой был не силен, вряд ли сделан мужской рукой. Пришелся по виску, потому смертельный. И главное, самоубийство подсказано ими. Не подложили ли пистолет? Почему перенесли тело? Ничего не полагается трогать...

Подозрение в их причастности превратилось в уверенность, когда по телефону с вокзала ответили, что поезд, на котором они, по их словам, приехали, прибыл вчера с небольшим опозданием, в 19.20. А перед тем они утверждали, что пришли прямо с вокзала, когда рассвело. Что они делали на вокзале весь вечер и ночь? На этот вопрос Клава и художник дали неуверенные и несовпадающие показания.

Начальник милиции приказал задержать их.

Их увили уже, когда приехал Круковский, вызванный с дачи.

— Диверсия? Вряд ли. Возможно, ссора, — сказал он начальнику гормиции, помня вчерашний разговор с прокурором и проявления его жестокой вражды к художнику за обедом у Любы еще месяц назад. — Впрочем, посмотрим. — Он вдохновенно приступил к делу.

Начальник гормиции остался, ожидая, что скажет гроза уголовных — самый опытный следователь области.

Осмотривая труп, Круковский долго, с лупой, исследовал руки прокурора — ладони и тыльную сторону. Задержался и на брюках, переложив труп на бок.

Спросил Любу, не производились ли каменные работы при ремонте квартиры. Стал тщательно осматривать и выстукивать стены в комнатах. В прихожей осмотрел стремянку, кувалду и долго изучал выключатель. Спросил, горел ли свет в прихожей, по показаниям Клавы; когда она вошла сюда на рассвете. Услышав, что не горел, осмотрел еще раз свежеоклеенные стены прихожей и, приблизив стремянку, стал сдирать полосу обоев снизу доверху.

— Вот разгадка! — Он показал начальнику гормилиции место в стене, выделявшееся желтоватыми швами. — Глина, а не известка, и совсем сырья еще.

— Гениально!.. А что это значит? — спросил восхищенный начальник.

— Сейчас увидим.

Следователь легко расшатал и вынул кирпичи из глиняных швов. Кирпичи были тоже более свежего оттенка, чем остальная обнаженная полоса стены.

— Что-то было здесь спрятано у Клешнева. Ночью он вынул и заложил дыру кирпичами.

— Как вы узнали?

— Очень просто. На его руках и на брюках кирпичная пыль. Очевидно, осталась после этой работы.

— Но кто же убил его?

— Тот, кто унес то, что хранилось в этом тайнике. Вероятно, его сообщник. Следы кирпичной пыли заметны и на выключателе. Мертвый не мог встать и выключить свет. Значит, кто-то другой, у которого руки тоже были в кирпичной пыли. Этот другой и убил его. Что-то произошло между ними... скора, или один заранее хотел убить другого. Можно предположить, что Клешнев... конечно, это только гипотеза. По-видимому, он вынул пистолет из заднего кармана брюк... там тоже следы пыли. Но тот, другой, успел ударить кувалдой... и на рукоятке кувалды кирпичная пыль. Удар слабый для взрослого мужчины, потому что не было времени для размаха.

— Вы предполагаете, что Клешнев хотел убрать сообщника выстрелом из пистолета? Но выстрел услышали бы в соседнем доме.

— На это он и рассчитывал. Сказал бы, что к нему забрался грабитель, вооруженный кувалдой. Он защищался. Ведь в это время они уже снова закрыли стену обоями. Если бы он убил его тайно, скажем, сзади той же кувалдой, то пришлось бы прятать труп. А так никто бы не сомневался. У Клешнева было достаточно солидное положение.

— Значит, вы полагаете, что Клешнев... Кто бы мог подумать?! Хотя, с другой стороны... его моральный облик. Сошелся с семьей врага народа. И вы, конечно, заметили медальон на шее? Медальон... может быть, опознавательный знак, паспорт шпиона... Да, пятая колонна и у нас имеется. В войне с фашистами ослабление бдительности — самое тяжкое преступление...

Начальник гормилиции со страхом думал о вчерашнем преферансе и о других частных встречах с прокурором. Как бы и его не впутали в это диверсионное дело.

Заметно исчезал из города транспорт. Техники не хватало на фронтах. Велосипеды и те отбирались у населения. Улица притихла, непонятная, жутковатая, как на немой замедленной киноленте. Слышно стучала обувь по осиротелому асфальту. Пешеходы прятали глаза друг от друга. В глазах были страх,

забота, как спасти семью и себя от надвигавшейся катастрофы. Ночью вой сирен загонял в подвалы. Народ бежал туда в темноте, спотыкаясь, с узлами и чемоданами. Вместе с жизнью берегли от бомбы добро.

Одна забота поглотила и следователя: куда отправить Ларису с детьми и бабкой? Мысль о Шурупе стущевалась. Да и кто поддержал бы в такой момент сомнительную попытку разоблачить врача? То, что прежде могло быть сенсацией, стало пустяком перед всеобщей безликой бедой. К тому же война разлучала Ларису с Шурупом территориально и усилила у нее чувство ответственности перед семьей, перед детьми.

Шуруп сам явился к следователю, узнав об аресте Клавы и художника.

— Ведь у меня ж были... до самого утра. «Капиталом» Маркса поклянусь, если поможет... Фрицем Энгельсом, — понимая, что следователь разгадал его, Шуруп не стеснялся.

— Не Фрицем, а Фридрихом, — поправил следователь. — И вы должны знать, что у нас ни в судебном производстве, ни при следствии клятвы не принимаются во внимание. Но ваше свидетельство, лица уважаемого, — ирония в голосе следователя была едва заметна, — конечно, будет иметь значение, может быть, даже решающее.

— Могу в письменном виде, вечным пером.

Следователь запротоколировал показание.

— Считать, свободны они? — спросил Шуруп, подписывая протокол.

— Не от меня зависит... Дело передается в НКВД. Там будут интересоваться, почему они так упорно скрывали, что были в ту ночь у вас. Может, вы и это объясните? — Ирония в голосе следователя на этот раз была очень заметна.

— НКВД? — Шуруп пристально посмотрел на следователя. — У них не бывает невиноватых.

— Ну, ну, полегче! — Однако следователь и сам думал, что если не найдут действительного убийцу, то Клаве и художнику может быть худо.

— Мелочь наказываете. Чуть побольше — вышка, — сказал Шуруп, прощаясь. — А вон тех бандитов, по вине которых теперь миллионы убьют, их никто не накажет.

— Накажет история.

— История? — Шуруп присвистнул. — Как бы не так... история уважает больших преступников. Больше преступление, больше и уважение.

Он пропал за дверью.

Следователь подошел к окну.

«Вор прав, — думал он с раздражением, — бандиты, напавшие на нас, заранее обдумавшие, подготовившие эту операцию, вероятно, уйдут от наказания... еще оставят свои имена в истории. А жертвы забудутся...»

Правда вора обезоруживала следователя, так как вера в разумность общества была его опорой. С тягостным чувством неудовлетворенности смотрел он на грузовик с мобилизованными, подъехавший к дому напротив. Молодые парни, держа ружья старого образца,сыпали из кузова веселые, как на экскурсии. Не о ком было им заботиться. Война, определив их судьбу, освободила от ответственности за себя и за близких.

«Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля...» — вспомнились следователю стихи из хре-

стоматии, и он подумал, как похоже все повторяется опять. «История человечества — от войны до войны. Какой уж тут прогресс?! Разве что орудия уничтожения прогрессируют...»

Солдат, выпрыгнувший из грузовика последним, толстоплечий, угрюмый, постарше других, показался следователю знакомым. Вглядевшись, следователь обрадовался: «Алешин?! Жив, значит. Досрочно освободился... А не веселый...» На лице Алешина была тень, пропустившая как бы изнутри. Эту особенную мрачность следователь часто замечал на лицах преступников. «Тень Дантона ада, — подумал он. — Лагерная жизнь и на нем оставила след».

Ночью опять выли сирены. Высоко в прозрачной для звезд темноте с гулом, с дрожью шли на цель невидимые бомбардировщики. Снизу, как фейерверк, взлетали цветные струи огня — следы трассирующих пуль. Рвались зенитные снаряды. Осколки стучали по бульжникам тюремного двора, по крышам.

В камерах заключенные, ждали и освобождения, и уничтожения. Дважды обмирали при свисте падающей бомбы и содрогались от раската воздушной волны.

«Как у Тинторетто, сражение между силами ада и неба, — думал художник. — Только перевернули картину, ад — наверху... Впрочем, ад повсюду. Старик прав: зло пожирает самое себя».

Рядом с художником на нарах лежал беспрizорный старик, с которым он прожил не одну зиму в колонии койка о койку, душа в душу. Здесь встретились снова. Старика задержали за бродяжничество. Он часто кашлял и был по-прежнему оригинален в своих суждениях. Ничуть не поддавался атакам другого соседа по нарам — школьного учителя, осужденного за агитацию против советской власти. Агитацией посчитали учителю то, что он не скрывал перед школьниками возмущения договором о ненападении, который сверхвождь заключил с нацистским вождем. Теперь, когда немцы порвали договор, учитель со дня на день ожидал пересмотра дела и освобождения.

— Германцы презирают славян, — увлеченно втолковывал он старику. — Хотят нас рабами сделать. Видел кино «Александр Невский»?

Учитель был интернационалист по убеждениям. Но в камере были обиженные советской властью, и поэтому вернее было апеллировать к патриотическому чувству.

На его порывистую речь старику отвечал нехотя. Старику не любил спорить.

— Никто меня не может сделать рабом, ежели я себя сам освободил.

— Да ты понимаешь ли, что такое родина?

— А неужели нет... У нас своя родина, у немцев своя.

— Вот и оставались бы на своей, а они на чужую лезут.

— Землицы хотят. Землица у нас хороша.

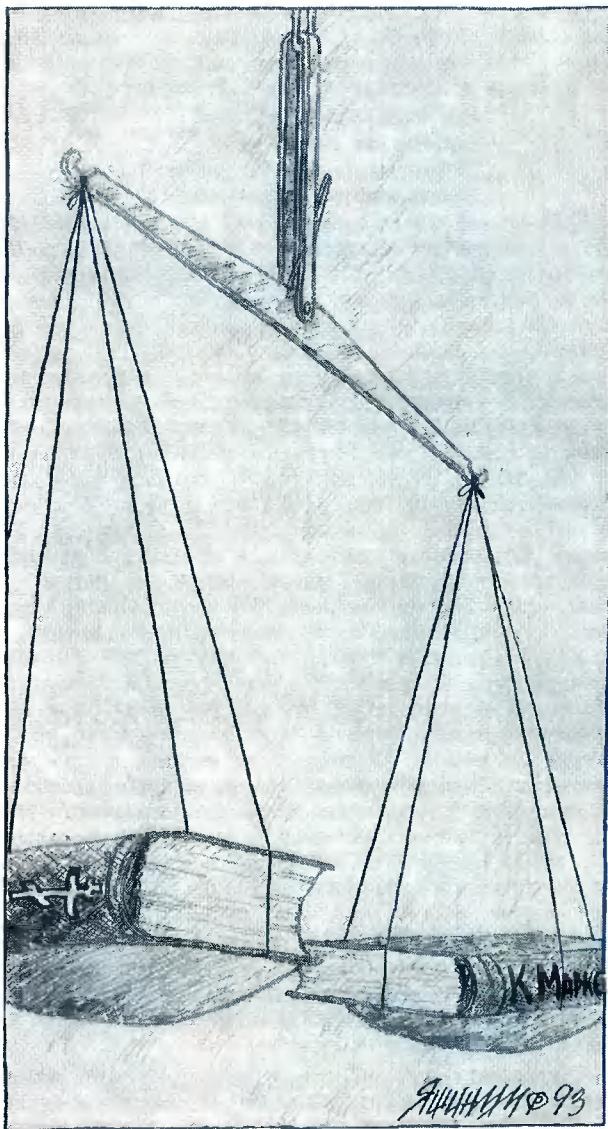
— Ну а мы свою землю должны защищать?

— А неужели нет... Только вроде не наша она.

Нам по ней и погулять нельзя.

— Социалистическая собственность... священная и неприкосновенная, — вмешался низкорослый парень, длиннорукий, с недобро сверкающими глазами.

— Корова ваша, уйдя наш, — хрюкло молвил его товарищ, высокий, грузный, налитый липовой кро-



вью, смотревший вниз, на пол, а не на людей.

Обоих парней втолкнули в камеру после полудня. Их тоже обвиняли в агитации. И они, как понял художник, действительно были враги советской власти, ждали немцев. Когда их стали расспрашивать, что делается в городе, что слышно с границы, парень со сверкающими глазами рассказал, что немцы повсюду прут и их вождь обещал к ноябрьским праздникам в Москве перед Мавзолеем парад своих войск принимать.

— А в случае Германия проиграет войну, обещал, что убьет себя.

— Худо немцам, ежели он это им обещал, — прервал парня беспрizорный старики.

— Чем же худо за таким вождем?

— А тем, что он теперь за шкуру свою будет сражаться... до последнего солдата германского.

Парни замолкли, сбитые с толку.

«Старик сильнее меня, — признал художник. — Живет без маски и находит слова объясняться с людьми».

Художник освобождался от маски, когда работал над своими созданиями. А при общении с людьми не очень близкими невольно надевал маску. Против своего желания переживал строки Тютчева:

Как сердцу высказать себя?
Другому как понять тебя?
Поймет ли он, чем ты живешь?
Мысль изреченная есть ложь...

Сейчас художник сочувствовал школьному учителю, его ненависти к нацистам, к их расистским теориям. Но он понимал также опасность борьбы с нацистами посредством военной машины, как у них. Всякая военная машина, для каких бы благих целей она ни создавалась, понимал художник, подавляет в людях человечность принуждением, страхом смерти, убийствами. К управлению такой машиной поднимаются люди с ограниченным умом и с закрытым сердцем. Власть, которую они получают, делает их кумирами толпы, массы. Властелин масс — антипод человека, отражающего божество. «Но как я объясню это учителю?» — думал художник. Учитель в божество не верит. Он верит в коллектив, в прогресс общества, в материю и ее законы. И хотя сверхвождь, вознесенный волной народного протesta — революцией, опроверг эту веру тем, что захватил неограниченную власть над народом, разворачивая народ насилием и возвращая его к прошлому, учитель продолжает верить. Учителю представляется, что виноват сверхвождь, изменивший революционной идеи, а не общество, в котором он возник. Однако, если веришь в прогресс общества, подчиняющегося материальным законам, надо принять и сверхвождя как закономерное явление. «If plagues or earthquakes break not Heaven's design, why then a Borgia or a Catiline?» — вспомнил художник другого поэта и переложил его стихи по-своему: «Когда вулкан, чума не рвут небес закон, Так почему же Брут иль Напольон?»

«Верно! — соглашался художник. — Для того, кто верит в материю, в непреложность ее законов, Брут и Наполеон, Борджа и Катилина закономерны, и он должен считаться с их силой».

Художнику вспомнилось, что не так давно приезжал в Советский Союз известный немецкий писатель, бежавший от нацистов. Писатель, умный еврей, с привычками и привязанностями буржуазной среды, в которой вырос, сочетал тяготение к гуманизму и демократии. Показное преклонение народа перед сверхвождем претило ему. Но он все же публично хвалил сверхвождя так же, как все, льстил ему, потому что видел в Советской армии единственную силу, способную противостоять нацистам. И сверхвождь принял его и говорил с ним, как с другом, хотя был тоже нелуп и понимал, что восхваления его неискренни. Но сверхвождю был важен лестный отзыв о нем видного западного писателя с репутацией гуманиста и демократа. Так две маски лгали друг другу.

Может ли фальшь родить истину? Худое дерево не дает добрых плодов. Значит, надо отказаться от силы, исходящей не от божества, как отказался от нее он, вспомнил художник Иисуса. Только двенадцать учеников выбрал он себе из народа, и этих оказалось слишком много. Он остался один в час борьбы... и победил. Это была настоящая победа, изменившая сознание людей. Если бы не было его, не было бы и гуманистических идей XVIII века, не было бы ни Маркса, ни русской революции. Ученый философ древности Ари-

стотель полагал, что общество не может существовать без рабства...

Художник вернулся к строкам английского поэта и изменил их смысл: «Вулкан, чума не рвут любви закон. Пред ним бессильны Брут и Напольон».

Закон любви незнаком Бруту и Наполеону. Они не его создания. Их создает общество, живущее по материальным законам. В таком обществе они сила, и нельзя уйти из их власти иначе, как поняв нереальность материи и признав единственным реальным законом Любовь. В этом сущность единобожья.

«Наш взрывной, самоуничтожающий век толкает нас против воли к такому признанию», — понял художник, и еще строки пришли ему на память:

В одну любовь мы все сольемс вскоре,
В одну любовь, широкую, как море...

Давно уже объявили отбой воздушной тревоге, в камере все спали. Художник слышал хлюпающее дыхание беспризорного старика. На потолке колебался зайчик. Не удивляясь, что он его видит, художник следил за тем, как веселое пятно перешло на стену. Оно стало шириться и напомнило художнику то темное пятно, которое скрыло от него мир, когда он терял зрение. Но сейчас пятно было жгуче-светлое и растворяло стену. Он видел за стеной ворота тюрьмы и улицу. На улице у открытых ворот его ждала Клава.

Дмитрий Владимирович Рахманов скончался в 1972 году. При жизни вышла одна его книга, в издательстве «Советский писатель», — «На средней линии».

Редакция благодарит Валентину Васильевну Рахманову, любезно предоставившую нам роман «Художник и маски».



Свидания у трансформаторной вышки (Предположения)

1. Мы встретимся с тобой!..

(И все сомнения

на этот счет бессмысленны, родная...
Ты просяшь позабыть? Но тем не менее
мы встретимся с тобой!)

Я вспоминаю

свидания у нышки трансформаторной,
где череп со скрещенными костями
был крупно ошарашен словом матерным
и недоволен пришлыми гостями.

2. Заводятся, ревут рок-металлисты, внимают им шпана и медалисты, перегорают лампы в 200 ватт, дымящийся гудрон уводит в ад, луну приговорили к высшей мере, роятся мрак, соседи рвутся в двери распахнутые... Баста, мне пора, и роулками крадусь на свет костра, ла реведере!

3. Мы встретимся с тобой!..

(Как наважденье,
мне снится трансформаторная вышка,
она хрипит, как человек с одышкой:
«ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ!»
И черен со скрещенными костями,
о, Йорик доморощенный, над нами
с предупреждением...)

4. Условлено, и жду тебя в предместье, на берегу, где лунное затмение, и над костром жаровня — угол жестя обутленной — мое изобретение! Лишь сторож, гоаорящий на жаргоне, да вышка трансформаторная андели, как всыхивал огонь — и на жаровне пронтыкались стаорчатые мидии...)

5. Мы встретимся с тобой!..

(Пусть череп ждет
конца надежд — безмозглый соглядатай,
чья подпись, обозначенная датой,
все время лжет,
клевещет на тебя: мол, виновата,
хрипит:
— Ова с другим... — Молчи, проклятый,
я верю, что любимая придет.)

6. Никто на знал, как часто на рассвете озибной, отрезвляющей тропой за горизонт скасозь прорванные сети я уходил

(мы встретимся с тобой!).

Я был неправ, оставив побережье,
и, озяряясь, выбившись из сил,
у вышки венавистной, как в врежде,
на берег (долгожданный!) выходил.

7. На берег выйду, все силки распутаю, ловяты чувств! Святая передышка!.. А рядом трансформаторная вышка, жуть стебанутая, доносчицей, бегущей покаяния, приходит из канникульного детства, и хоть давно забита ее дверца и стерта надпись, — снится, окаянная.

8. Как НЛО, растает давний сон, и в мореве его возникнет брезжущий

наш соглядатай, лысый купидон,
гудит на бреющем.
Бессспорно, ас
загробных агентур, уже засвеченный
спецслужбами земными... И — в анфас —
увековеченный.

9. — Ах, это вы... — Мои стихи и просматривал
заял в лиловой «бабочке» линованной,
над школьную бузой спел, как новый
(на прежнем месте) мощный трансформатор.
Поморщился (и фразу «альма-матер»
перечеркнул), сказал:
— Звучит хреново,
подумают, что матерное слово...

10. Среди трущоб, отчаяньем не сломленных,
мы встретимся (надеюсь, не забыла —
у вышки трансформаторной), как было
у нас условлено,
на берегу, где створки мидий светятся,
горят костер, шатается прохожий,
у темных врат с ощерившейся рожей
нельзя не встретиться!

11. И в дни, когда волна любви откатится,
не забывай! А если позабудешь
и выйти на условный стук откажешься —
ты этим наше детство обезлюдиши,
не забывай лиман, костер, урочища,
а если позабудешь, проклиная,
то и тогда — пазло чужим пророчествам —
мы встретимся с тобой, я это знаю!

12. Мы встретимся с тобой в метро!..

И через
день или два — среди друзей вчерашних.
Но никогда с улыбкою бесстрашной
не скажешь мне всю правду или ересь.
Мы встретимся с тобой в Крыму!..
И через
год или два — в компании случайной.
Но никогда не будет встречи тайной,
что вокруг вселенная и веерск.
В другом столетье встретимся!
и через...
Но никогда — за той открытой бухтой
у вышки, именующейся будкой,
где третий лишний прячется, как будто
не виден галстук-«бабочка»! И череп...

Москва

В оформлении поэзии использованы рисунки Ирины Гусевой



Песочные часы

Песочные часы стоят передо мною
и время ткут беспечной струею.
Песчинки ссыплются ко дну —
сосуд переверну —
и вновь струя!
А я,
дух затая
опять иду по кругу,
где обращаются друг в друга
песок и время. Только выйдет срок —
не станет и часа. Лишь время и песок.

Пушкин. «Евгений Онегин»

Не пролистать — а вслушаться в слова.
Не перечесть — а насладиться чтением.
И то, что было понято едва,
открытым станет,
Станет откровеньем.
Читать взахлеб, без пауз, все подряд —
и вдруг очнешься в бешеном цейтноте.
И побояться втиснуть в книжный ряд
живое сердце а мягком переплете.

Исследователю личной жизни Александра Сергеевича

Исследователь-пушкинист
штудирует любовное посланье
к прекрасной Натали...
Трепещет лист:
чужое оскорбительно внимание!
Ах, знал бы автор этого письма,
как будут изучать его дословно,
какая развернется кутерьма
вокруг его судьбы и родосланой,
как будут факты мелкие ловить,
как будут слово смаковать любое
и здание догадок возводить —
из точных фактов! — над его любовью.
Ах, если б знал, как шаг любой его
трактуется фанатиком речистым,
два пистолета — больше ничего —
его бы рассудили с пушкинистом!

Уж так бывает, что из года в год
непонятому закрывают рот.
Но от непонятых не отвертесь,
как не унять орущего младенца,
когда ему пустышку тычег мать,
причину плача не сумев понять.

Галатея

Богам нет дела до ее мольбы,
старухи, одряхлевшей и убогой.
Желала ли она такой судьбы —
у Гвлатеи не спросили боги.
Ей дали жизнь? Но смерть уже близка
Любовь, дитя — простая бабья доля!
А аедь могла, могла бы жить века!
Красиво и вечно молодою.
Вошла во время, будто бы в тюрьму.
Что иначе, кроме возраста, отметим?
Старик брюзжит: обязана ему!
Жизнь подарил —
и отобрал бессмертье!

Как будто совершаю воровство,
приглядываюсь к незнакомым лицам
в метро ли, в электричке — где случится —
и общность обретаю, как родство.
Чужие судьбы, словно наяву,
видны в глазах, задумчивых в строгих.
Я эти жизни с ними проживу
за несколько минут одной дороги.

В метро так быстро ходят поезда!
Еще быстрее — лиц перетасовка.
И с ними жаль расстаться навсегда,
когда моя подходит остановка.

О времени, о тебе и о себе

Ольге Тараненко

1

А женщинам не хочется рожать,
В аойну, должно быть, так же не хотели.
Несутся вниз гигантские качели,
страх разъедает душу, будто ржа.

Кто скажет, повезло нам или нет?
Мы нарожали перед самой бездной.
И счастье материинства — хрупкий свет —
нам время отпустило безвозвездно.

Но захлестнуло месиво времен:
вновь золотой телец царит над миром,
и вновь с упорством варварских племен
мир разобщился по своим квартирам.

Не топят. Мерзко, муторно лежать.
Укрою Нело, пододену Диму.
Качелям — падать.
Сквозь собачью зиму.
На взлете
будут женщины рожать.

2

Дай бог тебе жить в эпоху перемен!
(Самое страшное проклятие в Китае.)

И вот она — эпоха перемен,
Но от своей судьбы не убегу я
и не сменю эпоху на другую —
да раза б кто-то предлагал обмен?
От лихолетья нам спасеяя нет:
коль не смогу его преодолеть я,
оно помчится бумерангом вслед,
чтоб ановь настичь спустя тысячелетья.

Женщинам

Судьба рабынь — заезженной пластинкой —
в нас, как программа, вложена с рождением.
Зачем ее мы жаждем с наслаждением,
с горячей страстью нашего инстинкта?
Зачем своей праязанностью вяжем,
и, наглотавшись несвободы, мстим
упреками «рабовладельцам» нашим,
и все же прежней воли не хотим?
Но обретя свободу быть рабою
в плеину сплетенных нами же сетей,
мы словно вырастаем над собою,
над предрешенной участью своей
и тихо труд вершим неблагодарный,
растим детей... И в том не тяжкий крест,
но шанс, природой милостиво данный,
но путь на свой духовный Эверест.

Харьков

ВЕЗЕТ ЖЕ ЛЮДЯМ! (ТАНДЕМ-ПРЫЖОК НА ПОЛЮС)



Звонок. Снимаю трубку.

— Привет. Это Игорь Печников. Коля, я слетал на Северный полюс!!!

— ??? Куда, куда??!

— На Северный полюс! Прыгнул с американцами на tandemse...

— Это на велосипеде, что ли?

— На спаренном парашюте!

— А разве такие бывают?

— Бывают, бывают! Приходи, покажу видеопленку, заодно опробуешь мою собственную сауну — легкий пар и никакого угла.

На улице протяжный ветер, а может, и все семь ветров Ульяновска-Симбирска свистят и завывают, штопором бурая снег, переметая дороги и тротуары. Ноги машинально отсчитывают шаги, а память откуда-то издалека выхвачивает коренастого, черно-кучерявшего, подвижного, невысокого и молодого человека, имя которому Игорь Печников.

Могилев. 28 марта 1991 года. 7.30 утра.

...Общежитие машиностроительного института. Чернобелый «Рекорд-312». Программа «Утро» сообщает. Выбора нет. Летайте самолетами Аэрофлота! Брейтесь электробритвами «Харьков»! Кушайте вермишель! Скукота привычная. И вдруг — во весь экран — Дмитрий Шпаро! Одна его книга «К полюсу» вызывает почтенное уважение, а тут сам глядит с экрана. Аспирант Игорь Печников вплялся, чуть ли не влез в телевизор: парашютная экспедиция на Северный полюс! Вот тебе и самолетами Аэрофлота! А в экспедиции всего два вакантных места. Ого-го, американские парашюты-тандемы! На них прыгают сразу двое — профессионал и мешок-пассажир. Однако существует маленькое условие: пассажир платит 200 000 рублей или 10 000 долларов.

Дальнейшие события разворачивались по хронологии приключенческого фильма. Игорь Печников, по прозвищу Гоша, отбросил любимую электробритву «Харьков», мгновенно записал телефон клуба «Приключение» и решительной походкой вышел на улицу Могилева. Междугородных телефонов-автоматов в Могилеве — как грибов в Брянском лесу. Зашел, позвонил по московскому номеру в клуб «Приключение». Занято! 8.30. Гоша на кафедральной машинке отпечатал примерно следующее:

«Уважаемый Д. Шпаро!

Услышал о Вашем предложении участвовать в экспедиции на Северный полюс. Хотел бы подробней узнать о кон-

курсных условиях. Мои анкетные данные... Оплату гарантирую!!!»

19.00. У аппарата Дмитрий Игоревич Шпаро. Быстрый, деловой разговор:

— До второго апреля надо перечислить деньги.

— Так. Понял. Сегодня 28 марта. Условия договора? Так. Записал. Успею ли?

— Кто успел, тот и съел! Уже есть реальные кандидаты.

— Понял. Возможно ли нам встретиться?

— Да. Вполне. 30 марта в Москве.

— Хорошо. Буду. До свидания, Дмитрий Игоревич!

— Всего хорошего, Игорь Николаевич!

Глубокая ночь этих же суток. Аспирант сидит за расчетами диссертации, наверстывает потраченный день. Математические выкладки? Так, с ними покончено. Полет приключенческой мысли. Фантастические суммы денег. Погоня за временем! Время — деньги! Деньги — время. Время снов. Во сне — рыбы с чешуей из долларов, с плавниками из червонцев. Во сне — птицы с перьями из червонцев и с клювами из долларов. Подъем!

30 марта. 5.00. Утро. Вокзал — Москва. Перед Гошей — Сергей Инсаров. Парашютист-профессионал. Закончил подготовку во Флориде. Получил лицензию на управление парашютом-тандемом.

— Это ты хочешь лететь на полюс?

— Да, очень хочу.

— Садись в машину.

В руках у Гоши — договор с условиями конкурсного отбора. В руках у Сергея — баранка автомобиля.

— Прочитал, путешественник?

— Вникаю. Каковы мои шансы полететь?

— Будут деньги — полетишь. А не будут — пролетишь. Хотя до Тикси довезем. Приехали. Аэропорт. Звони из Ульяновска!

30 марта. 8.00. Автобус от аэропорта до аэропорта Домодедово. 9.50. ЯК-42 с Гошей на борту. 11.50. Благополучное приземление на родине Ильича. Суббота, так-растат! Друг Сергей Матвеев до позеленения накручивает телефонный диск. «Алло! Внешнеторговая фирма «Станимпекс»? Директора, будьте любезны...»

— Гоша, я договорился о встрече с Максимовым.

— Не может быть! Когда, где?

— Сегодня в 19.00 на заводе.

Снова кисель времени, и даже не кисель, а густой клейстер. В нем — телефонный диск.

19.00. Алло! «Станимпекс»? Приемная?

— Да. Дежурный. Александр Борисович? Он ушел в 18.00. Наверное, домой...

21.00. Дверь квартиры директора «Станимпекс». Перед дверью аспирант Печников. На что только не решишься в цыпятке! Кнопка звонка. Изумленная хозяйка дома. Неизвестный человек в такое время? Но везет же людям! Гошу пригласили пройти и подождать.

Вот наконец хозяин! Вечернее знакомство.

— Александр Борисович, как вы отнесетесь к рекламе фирмы «УНИКС» не где-нибудь, а на Северном полюсе?

— А что, вполне вероятная, хотя весьма сомнительная идея. Но станкостроительная выставка в Париже... Пожалуй, реклама «УНИКС» не повредит. Наш УЗТС (Ульяновский завод тяжелых и уникальных станков) экспортит оборудование в сорок стран мира. В понедельник я, к сожалению, улетаю. Будете работать с моим замом. Встретитесь в понедельник утром. 23.00. Ночное такси. Бесконечный, длинный, узкий мост через Волгу. Остался всего один день! 200 000 рублей!

11.00. Понедельник, 1 апреля. Проходная УЗТС. Оформление пропуска. Заместитель директора Александр Валентинович Пахмутов встречает на пороге своего кабинета. Где его видел Гоша? Когда? Нет сил вспомнить. Настороженный вопрос:

— Вы заканчивали КАИ? (Казанский авиационный.)

— Да.

И через минуту оба КАИшника представили перед приветливым взглядом директора. Тот быстро просмотрел договор, передал его Пахмутову, и пошла деловая беседа, хотя генеральный больше слушал о перспективе рекламы, о съемках фильма, но через 20 минут четко произнес, обращаясь к Пахмутову:

— Готовьте документы, я подпишу!

А было дело первого апреля, и Гоша вначале воспринял это как первоапрельскую шутку. Заулыбался, заморгал.

17.00. Документы подписаны. Деньги отправлены на счет клуба «Приключение» в Москву. А до вылета самолета всего два с половиной часа! Эх, голова кудрявая — где взять хорошую видеокамеру? Этого Игорь пока не знает, но уже гонит к дому. Моментально затолкал в походную сумку значки, сувениры, куртку-аляску, теплое белье, позаимствовал у друга унты и бросился к телефону. На сей раз чудесным образом дозвонился до Шпаро и действительно запримлился с телефонной трубкой в обнимку: старт из Москвы откладывался до третьего апреля! Ура! Можно сбегать вниз и отпустить такси! Вдруг звонок. Междугородка. Шпаро:

— Я поторопился, вылет самолета не отменяется. Старт завтра в 15.00. Вылетай. Запасной вариант — третьего апреля вторым самолетом.

Бедный Гоша! Что он может ответить?

2 апреля. 5.00. Автомашина. Рюкзак. Сумка. А в кассе, самое удивительное, свободно билетики до столичного града, но зато уже в два раза дороже, чем первого апреля!

Москва. Клуб «Приключение». 2 апреля. 16.00. Карета подана! А в ней — коробки, ящики, сумки, рюкзаки, чемоданы — чего только нет! Эх, голова кудрявая! Где же взять видеокамеру, да такую, чтоб на Северном полюсе не отказалася? За четыре часа в столице Игорь не сумел найти подходящего аппарата. Но карета подана! Автобус уже выписывает петли по Москве, уже замелькали пригороды, уже завиднелся аэропром. Борт самолета АН-12 загородил все пространство. Через сорок минут подъехало военное начальство. Коробки, рюкзаки, ящики, сумки, чемоданы, опять коробки, снова ящики. Ух, ты! Загрузились, переоделись в теплое и забились, втиснулись 18 человек в шестиместную кабину сменившего экипажа. От винта! Перелетели до Воркуты за четыре часа. Высадились.

23.00. Мороз минус 27. В гостинице, конечно, никто не ждал, но зато экспедицию поджидал полковник Резниченко и быстренько все устроил. Спите, друзья! Отдыхайте, уши, от гула винтов самолетных.

Наутро Воркута заворковала не по-голубиному, захлопала, запрчитала, давай сугробы перетряхивать, помелом мельчайшим помахивать. Полет отложили до глубокого вечера. И помчался Игорь Печников по Воркуте, где рысью, где на транспорте, но нашел-таки видеокамеру в молодежном центре «София». Уснул сном человека, который достойно спрятался с очень трудной задачей. Есть видеокамера, будет после фильма об экспедиции, будет реклама «УНИКС» на самом Северном полюсе.

...Великая это штука — кино! После бани мы с Гошей

утнездились поудобней. В креслах сидим, чаек с коньчиком попиваем. Игорь отснятый им фильм комментирует. А я как бы на Северном полюсе оказываюсь, как бы присутствую при всех событиях, и уши от самолетных турбин закладывает, и глаза от снега слезятся, в пустом брохе «АН» канатом привязываюсь, чтоб ветром не сдуло, и руки друзьям по экспедиции пожимаю... Одним словом — КИНО!

— А это Сергей Инаров, — рассказывает Гоша. — А вот это — мой экспедиционный «папа и мама» Сергей Потехин. Сергей вообще говорит мало, движения его несуетливы и точны, трудно поверить, что прыгал с парашютом 1300 (!) раз. Оба Сергея, одни на всю страну, получили во Флориде лицензию на управление парашютом-тандемом. С Потехиным я прыгал в виде пассажира-балласта, с ним ел из одного котелка. На базе разместили нас в теплом жилом помещении. От базы до точки Северного полюса рукой подать, а в комнате теплым-тепло...

Летим над самым северным рыболовецким колхозом. С одной стороны дельта реки Лены — вода пресная, с другой — океан Ледовитый, соленый. Ловись, рыбка, морская и речная! Воскресный день. На редкость солнечный, без единого облачка. Оранжевые гусеничные ведомые вас поджидает. Другие машины не пройдут по льдам — слишком много трещин. Поехали! Изредка встречаются пятиэтажные гробы айсбергов. Ослепляющая белая-белая пустыня. По неопытности я не взял с собой темные очки. Глаза начинают слезиться от несусветной полярной яркости. Норман Кент протягивает мне свои, показывая, что есть запасные. Надел очки, еще красивей стало, и глазам не больно. Появились дымки — печки в колхозе топят. Высыпались мы из тряусих оранжевых коробок, а тут как тут ребятишки на... велосипедах! Мороз минус 27, а они на велосипедах «восьмерки» крутят...

А вот Билл Бутт, изобретатель тандемного парашюта. Цену себе он знает. Типа нашего боярина долетровских времен. Бородица длинная, лопатистая. Посмотрели — подумаешь, не иначе как чин церковный. В пору шапку срывать да в пояс кланяться. А такому человеку не грех и в ножки бултыкнуться да ручку облобызать. Его тандем весит всего 8 килограммов, против нашего весом в 25! «Боливар» наш на одного рассчитан, а Бутт для двоих чудо создал. Нужна кому-то скорая помощь, бери тандем, бери с собой специалиста или груз под сотню кило и прыгай! В любую точку спланируешь.

6 апреля. Вьюжит. Прыгать нельзя. Экскурсия по Тикси — можно. Не миновали музея краеведческого. Есть на чем взглянуть задержать. И вдруг в музейной тишине — музыка. Рояль! Вот тебе белое с черным. А за клавишами Билл Бутт бородой раскачивает, играет мощно, вдохновенно, с азартом! Вот это сюрприз! Браво, маэстро!

«Я был преподавателем до того, как изобрел парашют. Я музыку в школе преподавал» — признался изобретатель.

Вышли из музея. Погодка слегка утихомирилась. Забираемся в вертолет МИ-8. Маршрут до могильного креста Де Лонга. Он погиб здесь в 1878 году. Исследовал северные широты и погиб. Приземлились. Подошли к двухметровому кресту, где Де Лонг покоятся. Билл по русскому обычаю выпил чарку, помянул соотечественника. Почтили память. Полетели обратно. Сразу иди в гостиницу не захотелось. А Нормана Кента хлебом не корми, дай заснуть что-нибудь. Но главное — дети! Дарит им маленькие смешные игрушки. Снимает тут же фотоаппаратом и кинокамерой. Смеется. Шутит на своем языке. Палец кверху показывает. Мы с Биллом горку ледяную усмотрели, скатились на картонке. А Норман среди детворы возвышается по-отечески. Ребята кричат, хохочут над дядями. Я возьму да пошучу, что он похож на отца-героя. А он изумляется. Кто это, дескать, такой? Никак в толк не возьмет. Еле растолковали всем собранием.

Вечером я вовсю отрабатываю доллары: призываю рекламу «УНИКС» сначала на свою аляску, потом на японскую куртку Такако. Утром должны были взлететь, но двигатель самолета забарахлил. Винты остановились. Тишина. Со всех сторон вопросы:

- Гоша, ты авиатор?
- Да.
- Гоша, какая муха мотор укусила?
- Гоша, пройдя талант, что с самолетом?
- Наверно, стартер отказал или с подачей топлива нелады, — отвечаю.

Экзаменаторы к техникам:

- Мужики, в чем дело?
- Стартер полетел...

Норман воспользовался заминкой и сделал из нас артистов Голливуда. Снимал подготовку к прыжкам.

Техники справились со стартером. Летим, болтаемся в брюке АН-12. Уровень шума на зависть любой рок-группе. Сердечко подпрыгивает. Еще сирена, еще лампочки, желтый свет, зеленый, люк распахнулся. Рев, гул, свист, завывание. Преисподня, дыра адская. И в нее валятся люди! Страшно. Очень страшно. До мурзик, до густой синевы под глазами на фоне совершенно бледного лица. Дмитрий Шпаро спрашивает у Такако:

— Может быть, не будем прыгать, Такако?

Японка с тревогой в глазах уклончиво отвечает:

— Надо подумать, Дмитрий.

Держусь за канат. Цепляюсь за обшивку одной рукой. В другой видеокамера. Подобрался к ним поближе, кричу изза очкуляра:

— Ну, как?

— Я вообще боюсь высоты, — отвечает Дмитрий. Сильный человек. Он может сказать о своем страхе. Поэтому сам страх, — за себя лично, как-то сжимается, уменьшается. Но страх за других остается. Остается. Вот он холодом оседает внутри фюзеляжа, хотя люк захлопнулся, хотя тренировочных прыжков сегодня опять не будет, хотя мне вновь не удалось испытать чувства полета под куполом.

Холодно в общаге на Тикси. Холодно внутри себя. Закрываю глаза, но не могу уснуть. Слух режет недавняя сирена готовности. Норман Кент. На его голове — шлем. На шлеме укреплены камера, два фотоаппарата, батареи питания. Общий вес башни на голове Нормана 12 килограммов! Пшел! Прыжок. Тело Нормана выныривает из затенения самолета. Но его резко поворачивает воздушным потоком и ужасно запрокидывает голову. Ощущение, что шея не выдержала и сломалась. Первый прыжок Нормана Кента на Севере. Первый прыжок при скорости самолета 350 км/час. Тягучие секунды. Парашют раскрывается. Ух! Все обошлось. Да... Он не просто прыгнул. Он снимал во время свободного полета! Оторвался от самолета. Развернулся в воздухе и снимал других с момента отделения от борта до приземления. Высший пилотаж в операторском искусстве! Ему, калеке от рождения, с неполноценными пальцами на конечностях, ему, известному у себя и за рубежом киношнику, ему, тридцатитрехлетнему профессиональному парашютисту, разве не было страшно? Как я заснул, не помню. Проснулся. Первым делом — хват бритву. Настроение — сегодня уж обязательно буду прыгать! Погодка из окна шикарная. Ребята, как обычно, ворчат:

— Нельзя бриться!

— Примета дурная...

Шутки-шуточки. Мне сегодня прыгать! После завтрака сообщение. Полеты отменяются. Что-что? Нет, это невозможно! Вот тебе и бритва. Вот тебе и шутки-шуточки:

— Печников, тебе повезло!

— Гоша, ты снова остался жив!

Зачем же я себя утюжил-гладил этой бритвой? Зачем вообще приятел, если нет даже ни одного тренировочного прыжка?

— Не горюй, Гоша, — вмешивается Сергей Потехин, — ты весом с мой рюкзак. Прыгнем. Не переживай, старик...

Выступаю в роли переводчика. Хотя дуо по-английски, но очень плохо. Такако Такако. Улыбчивая, симпатичная, открытый теплый взгляд. Японка! Английский для нее — семечки.

— Да. Да. Ты говоришь по-английски лучше, чем я по-русски!

Успокоила дилетанта. Скромная. Закончила университет. Путешествовала на каноэ по Амазонке. Обошла и объехала

с экспедициями Архангельскую область и Чукотку. Восстанавливала памятники в Австралии. Работала в изыскательских партиях на большом коралловом рифе и в джунглях. 28 лет. Сотрудник газеты «Японские новости». А газета английская! Куда уж мне с моими филологическими позициями. Щелкаю «Кодаком». Улыбка Такако. Сам я в фотообъективе аппарата скорее выгляжу пингвином. Так и есть — пингвин. Она смеется.

12.30 по Московскому времени. 10 апреля, 1991 год. Старт на Северный полюс! Вертолеты с десантом на промежуточной станции. Вылетают раньше основной экспедиции. В объективе арендованной видеокамеры Такако в полном снаряжении. Защитные очки во весь лоб. Дмитрий Шпаро. Закутался в куртку. Надвинул капюшон. Один нос наружу. Сидит сутулый, находленный. Норман делает зарядку для шеи. Разминает. Массирует ее. Проверяет аппаратуру. Протягивает мне свою маленькую видеокамеру. Моя в воздухе ненадежна. Шасси самолета. Отрыгивается от взлетной полосы. Сергей Потехин орет в ухо:

— Занимайся съемкой! Снимай! Не думай ни о чем. Я сам тебя вытолкну!

Лямки. Подвески. Пряжки. Замки. Карабины. Хожу вдоль борта с двумя камерами. Они обе работают. Отдаю одну Сергею Куликову. Себе оставляю малютку Нормана. Заходим на первый круг. Внизу Северный полюс. Сирена. Люк. Майор Ильченко. Радио. Приземлился точно. Второй круг. Билл Бутт и Дмитрий Шпаро. Следом Кент Норман. Край рампы. Они уходят вниз. Снова сигнал. Желтый. Готовность три минуты. В паре с Сергеем Инсаровым — Такако. Под курткой камера. Очки! Очк закрепить забыла! Сдует. Поздно. Провал люка. Они ушли. Кругом бело. Держу камеру двумя руками. За самолетом шлейф дыма. Высоты не чувствую. Наша, моя сирена. Какая пронзительная! Вот оно! Сергей Потехин сзади. Толчок в спину. Пошли! Удар воздуха по очкам. Глаза — хлоп. Открыл — летим. Очки на лоб залезли. Десять секунд. Длинные-предлинные. Заснять ничего не успел. Растился. Мягкий толчок. Шум ветра стих. Отчетливый голос Сергея:

— Порядок! Раскрытие купола снять успел?

— Нет.

— Где остальные?

— Внизу. Слева. Снимаю другой тандем!

Такако без очков. Точно, сдуло. Земля. Точка приземления. Перевожу камеру на лицо Серегино. На купол парашюта. На самолет, снова на крест приземления, на флаги.

А они как раз между нами и центральным перекрестьем. Сергей тяжело дышит. Спрашиваю:

— Все в порядке?

— Да. Где «крест»?

— Слева от знамени.

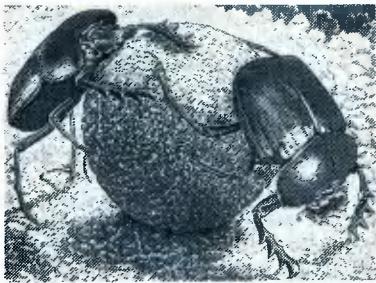
— А, черт!..

Летим прямо на флагштоки. Сергей мастерски заворачивает крыло. Слегка взмывает. Это называется «подушка». Касаемся земли. Мягче, чем прыгать со стула! Чуть-чуть не дотянули до «креста»! Все бегут к нам. Валимся в снег. Дурачимся. Наконец, отстегиваем парашют. Вертолетный десант замечательно оформил высшую географическую точку. Таблички на английском. Указатели. Москва — 3950 км. Токио — 5280 км. Деланд — 5870. Лос-Анджелес — 5520. Ульяновск?? Нет указателя! Где моя сумка? Ага, вот она, табличка! Я гордо прикрепляю указатель: «Ульяновск — 4420 км». Шампанское. Спирт. Японская водка — саке. Страганина. Наш летчик в форме Санта-Клауса. Рядом Билл Бутт. Санта-Клаус на Северном полюсе! Хитер-мудер Билл Бутт. Теперь рекламный плакат «УНИКС». Беремся за руки. Пошли в кругосветное путешествие вокруг Северного полюса. Пять раз обошли! Рассыпались. Достаю бутылку шампанского. Хочу выпасти пробку. А она не хочет! Трясу бутылку что есть мочи. Фонтан. Операторы прячут камеры и разбегаются. Легко! Весело! Сергей Потехин с Такако футбол гоняют. Целый час промелькнули. Не заметили. Пора и честь знать!

Вертолеты уносят нас на землю. Снижение. Касание. Уже земля, а не лед, под колесами. На земле все-таки надежней.

КОСМИЧЕСКИЕ ИГРЫ СО СМЕРТЕЛЬНЫМ ИСХОДОМ

(ВЕРСИЯ ВОЗМОЖНЫХ СОБЫТИЙ)



Часть I

«...12 000 лет назад суперцивилизация, существовавшая на нашей планете и во много раз превосходившая по уровню развития нынешнюю, была с чудовищной жестокостью уничтожена другой, еще более мощной цивилизацией, царствовавшей в те времена во Вселенной...»

Если читатель подумал, что перед ним выдержка из фантастического романа, вынужден огорчить: не так. История человечества столь сложна и запутана, что никакой фантастике с ней не сравниться.

Вы считаете, что наши пра-пра-... жили в пещерах и грызли кости мамонтов? Да! Так оно и было, но не далее чем 8—9 тысяч лет назад, до катастрофы. А может, вы верите в конец света? Бросьте! Он уже был, и люди превращались в обезьян. Но не наоборот. И добрые иностранные уже спускались на землю — оттуда не с добрыми намерениями... Впрочем, все по порядку.

В силу известной «загадочности обстоятельств» практически единственными носителями информации о былой суперцивилизации являются мифы древних народов. Это не что иное, как наша история, пропущенная через тысячи поколений, исказенная, расфантазированная, обросшая гирляндами нелепостей и суетерных спекуляций, перетасованная в угоду тем или иным историческим деятелям да и самим историкам, и в конце концов отданная на откуп филологии. А мифы на самом деле (их формирование по заключению этнографов относится приблизительно к VI—II тысячелетию до н. э.) — это лишь чистая информация, зашифрованная, естественно, но вкупе с данными археологии порой прочитываемая более-менее сносно.

ТАК, ЗНАЧИТ, СУПЕРЦИВИЛИЗАЦИЯ?

Свидетельств в пользу ее предостаточно. Например? Пирамиды Египта, Центральной Америки, построенные с учетом познаний в высшей математике, акустике и пр. В том же Египте наличие высокого уровня медицины: хирургические операции, включая трепанацию черепа, различные пункции. А техника мумификации? Тайны же тибетской медицины и без того у всех на слуху. А рисунки пустыни Наска? Или откуда африканские догоня узнали, что самые малые частицы мироздания пребывают в постоянном спиралевидном движении, а звезды, с которой они прибыли на Землю, двойная?

Таинственный календарь майя? Если уж мы не можем ответить на все эти вопросы древних, то не логично ли предположить, что мы сами стоим покуда на более низкой ступени, чем они? А если не логично первое, то не логично ли предположить существование суперцивилизации, погибшей, но оставившей после себя эти жалкие крохи великих знаний — в памяти жрецов и пророков древности?

Память о былой цивилизации сохранялась в легендах. Остров Атлантида — лишь первое, что приходит на ум. Отнюдь не последнее. У кельтов есть миф об островах блаженных, где время остановилось, царит молодость и изобилие. У шумеров — это остров Тильмун. У дравидов — некая прародина, отождествляемая с Лемурией или Гондваной. У народов коми — время изобилия, когда не нужно было ни пахать, ни сеять. В джайинской версии — это первые два периода развития мира, когда жизнь людей почти бесконечна, а дети рождаются близнецами, причем непременно мальчик и девочка. У этрусков — эпоха изобилия и всеобщего равенства. Короче, в памяти всех народов живет знаменитый золотой век, время боголюдей или человекобогов.

Легенды, равно как и следы материальной культуры, недвусмысленно намекают на суперцивилизацию. Об уровне ее развития можно пока умолчать, нам важно, что же могло с ней случиться, куда и при каких обстоятельствах она «провалилась», да так основательно, что и по сей день любое упоминание о ней относят к разряду фантастики.

КТО СКАЗАЛ, ЧТО ОНА БЫЛА УНИЧТОЖЕНА?

Да легенды и говорят!

Правда, в научных или окононаучных кругах поддерживается гипотеза о грандиозной планетарной катастрофе. Чаще всего это столкновение Земли с каким-либо небесным телом, в результате чего — землетрясения, извержения, пожары, потопы и прочие стихийные бедствия. Могло быть и так. Скорее всего так и было. И не раз. Но не тогда.

Мифы же настойчиво говорят об уходе предков или «древних богов» под землю, о скрытии их в пещерах или расщелинах скал. К примеру, армянский бог Михр входит в скалу, из которой выйдет назад, лишь когда старый мир разрушится и начнется новый. А ненецкий шаман тратит семь дней, чтоб добраться до железного (!) жилища хозяина земли, где — по центральноамериканским, индоевропейским и иным мифам — от семи до девяти последовательных слов...

Не от потопов же и землетрясений древние уходили под землю? Тогда от чего?

Подавляющее большинство мифов говорят в пользу своего рода «звездных войн».

Учение о противоборстве двух взаимоисключающих космических сил содержится в иранских источниках. А в Новой Зеландии отделение земли от неба носит характер бунта богов-братьев против родителей с последующей ссорой братьев. Ведийские мифы повествуют о конфликте дэвов (богов) и асур (небесных колдунов). Раскол небожителей на два лагеря с последующей катастрофой фиксируют бурятские мифы. У скандинавов — вселенская борьба между асами и ванами, у древних греков — между богами и титанами.

Интересно, что космическая борьба конкретна. В монгольском мифе Эрхий-мегрене сбивает стрелою с небес избыточные светила, а согласно калмыцким преданиям в созвездии Плеяд поначалу имелось семь звезд, да одну уничтожили.

И, конечно, наиболее красочно описываются боевые действия на земле, кои и привели, собственно, к глобальной катастрофе. Но воистину, чтоб такую устроить, одной из сторон по крайней мере надобно иметь сверхоружие!

ИЗВЕСТНО ЛИ БЫЛО «БОГАМ» ЯДЕРНОЕ ОРУЖИЕ?

В скифо-сарматских преданиях с неба падают золотые предметы, заснув подле которых, человек через год умирает. Радиация? На бурят панический ужас наводила Ухин харантгри — злое божество, посылающее болезни, падеж скота и бесплодие женщин. Облучение? Аналогичные сюжеты есть у кавказско-иберийских народов, на Тибете, в иудаизме, где злые демоны особенно губительно действуют на рожениц и младенцев.

Археологами на острове Пасха найдены статуэтки духов аку-аку. Аномалии скелета, оскол зубов, форма грудной клетки, истощенный вид и, наконец, зоб явно свидетельствуют о подвергнутости радиационному облучению.

Южная Азия поставляет иного рода свидетельства. В индуистских мифах дэвы и сурьи пахтают океан, чтоб получить Амриту — напиток бессмертия. Но побочный продукт пахтания, калакута — страшный яд, что грозит погубить всю Вселенную. Любопытно, что океан — вода, а ее составная часть — водород, при «пахтании» (расщеплении) которого рождается «страшный яд». Впрочем, в дравидских — предшествующих индуистским! — мифах упор делается еще не на «яде», а на «благой жизненной энергии». Не похоже ли это, скажите, на ядерные реакторы, с их плюсами и минусами? Добавим, что упомянутая дравидская энергия связана с божествами неопределенными, которых трудно умилостивить. Важно и то, что энергию можно накапливать и тратить. Весьмаично!

Прежде чем перейти непосредственно к катастрофе, остановимся еще на одном вопросе.

КТО ТАКОЙ ЯХВЕ?

Вспомним для начала, что Яхве — это ненастоящее имя бога. То имя — табуировано и забыто. Писалось оно четырьмя буквами — YHWH, т. н. тетраграмматон. Оно долгое время могло произноситься вслух, но — раз в году, в День очищения, иудейским первовсвященником. Причем тайна звучания со всеми предосторожностями передавалась по старшей линии первовсвященнического рода. С III века до н. э. и это имя становится табуированным. Появляется Адонай, затем — Иегова.

Для нас важно не только то, что имя бога табуируется, но и то, что впредь категорически запрещается производить магические действия с этим именем. (Книга Исхода.) Запрет же имеет под собой обычную для древних времен подоплеку: знание подлинного имени дает магическую власть над самим божеством.

Теперь вспомним, что Яхве — невидимый скиталец. «Вот он пройдет предо мной, и не увижу его; пронесется, и не замечу его» — так сказано в Библии.

А для полной картины добавим, что образ Яхве связан со стихией огня и ветра. Не характерно ли для ядерного взрыва: огненный смерч и взрывная волна?

Так что же такое: табу на имя и запрет на магические действия с ним? Реально ли предположить, что это YHWH вообще не слово, а формула расщепления атомного ядра?

Кроме того, гибель цивилизации интерпретируется как кара Яхве за неверность ему лишь после завоевания Иудеи Навуходоносором. Сие важно, ибо ставит под сомнение катастрофу как следствие наказания людей за их грехи.

Кстати, Яхве не единственный персонаж в мировых религиях, обладающий столь специфическими свойствами. Много общего с ним имеет Рудра, с санскрита — ревущий, пламенный. Он также и вездесущий властитель Вселенной. Обладает смертоносными стрелами, и тоже — скиталец.

Попробуем теперь взглянуть на катастрофу через ее последствия.

ТОТАЛЬНОЕ УНИЧТОЖЕНИЕ

Нам известно, к чему может привести масштабная ядерная война. Адская температура в эпицентрах взрывов, ураганы ударных волн, тектонические сдвиги в земной коре, густое запыление атмосферы, вызывающее практически полную изоляцию планеты от солнечных лучей. Ядерная зима.

И все это, похоже, планета уже пережила. Двенадцать тысячелетий назад. Аргументы?

Именно 12 000 лет назад имел место быть последний ледниковый период. Атлантида же погибла по свидетельству Платона 11 500 лет назад. У майя есть стеллы с указанием важнейших дат истории, на одной из них семизначное число, на другой высечено 12 042 год.

О подразумеваемом нами конце света есть великое множество мифов. Нет лишь возможности упомянуть обо всех. Но в ирландской мифологии друид Фигол обещал Нуаду, царю тутов: «Напишу три огненных ливня на войско фоморов, и отнимутся у них две трети силы и храбрости». После этого пророчества: «Не увижу света, что мил мне; весна без цветов, скотина без молока... леса без желудей, море бесплодное...» В «Авесте» борьба за власть во Вселенной приводит к глобальной катастрофе: мир погибает в огне, наступает чудовищная зима. Как сражались олимпийцы и титаны Древней Греции напоминать не стоит: кипело море, жар охватывал Тартар и Хаос, солнце скрылось за тучей летящих камней.

Есть и японский миф о сокрытии солнечной богини Аматэрасу. А у финнов огромный дуб своей короной загораживает и Луну, в Солнце. Последнее существенно, ибо говорит не в пользу конца света «на основе» солнечных и лунных затмений.

Схожих сюжетов полно во всех частях света, у разных народов и народностей. О некоторых речь еще впереди, а пока...

Старый мир, или золотой век, уничтожен. Но что же случилось с людьми суперцивилизации, идею которой мы проталкиваем? Что стяжлось с «богами-предками», или, как еще именуют их в мифах, «богами низа»? И почему, собственно, «низа»?

НЕУЖЕЛИ ОНИ ЖИЛИ В «МЕТРО»?

Вернемся к катастрофе. В «Махарабхате» описана вражда критавиев и бхригов. Первые уничтожают всех мужчин противника, но одного ребенка спасает некая брахманка, зашив его себе в бедро. Родившись, он — Аурва, то есть «рожденный из бедра», сияя ярче 100 000 солнц от переполненного его гнева, стал смертью для всех критавиев и едва не спалил весь мир.

Спрятаться от «100 000 солнц» можно только в подземных убежищах. Но сперва выясним, жил ли человек под землей вообще.

Мифы утверждают, что не только жил, но и попал туда не случайно. Так родоначальники монголов Нукуза и Киян не просто пребывали под землей, но скрывались там вместе с женами. В шумерских мифах люди росли под землей как трава, а потом вышли на поверхность через дырку, которую пробил мотыгой Энлиль. Предками коми считалась «чудь» — народ, ушедший под землю в древние времена. У американских индейцев зуки первый человек Пощейанка вывел людей через три покрова земли на поверхность. Сюда же относится и общесельский миф о происхождении людей от божеств подземного мира, и масса других свидетельств.

Напомним, что у древних народов мир делится на три части: верхний, средний и нижний, он же — подземный. Доводы некоторых ученых, что именно третий мир следует соотносить с царством мертвых, небесспорны. Действительно, в поздней, уже трансформированной мифологии, такая тенденция прослеживается, но в ранних она отсутствует начисто. У индейцев кечуа, у бурят, у грузин «нижний мир» вовсе

не соотносится с «царством мертвых», «немых». Оно как раз мыслится не в вертикальном срезе пространства, а по горизонтали — или в другом измерении, иль «где-то там», «в конце».

Ханты-мансиjsкие и чечено-ингушские предания подтверждают, что люди, живущие в нижнем мире, ведут тот же самый образ жизни, что и на земле.

Ряд мифов — хурритские, тибетские, древнегреческие — напрямую связывают подземных жителей (нижних богов) с людьми золотого века.

Итак, в момент «конца света» часть населения суперцивилизации скрывается под землей. Именно часть, поскольку другая часть могла пережить катастрофу, находясь на поверхности. Что с ним стало, расскажем во второй части нашего сочинения. А пока остановимся на описании возможных противорадиационных укрытий, «бомбоубежищ», некоторые из которых представляют собой довольно сложные системы. Сведения о них есть в разных — и различных! — легендах, повествующих о связи наземного мира с подземным, что, в свою очередь, говорит о неодновременном выходе из убежищ разных групп населения, от которых и пошли впоследствии все народы.

Подземные миры — в большинстве мифов — грандиозны. По вертикали они имеют три (у североамериканских индейцев), семь (у догонов), девять (у майя) слоев и отличаются невероятной протяженностью: мы уже говорили о семи днях, в течение которых ненецкий шаман спускается под землю, попадая наконец в жилище хозяина земли, где тускло светят свои Луна и Солнце.

Довольно многочисленные свидетельства о наличии в нижних мирах своих собственных светил наталкивают на мысль о наличии под землей возможных энергетических установок. Кстати, археологи нашли у шумеров загадочные сосуды, которые оказались не чем иным, как... аккумуляторами — стоило только вставить в них графитовые стержни.

Вероятно, под землей изготавливались также и различного рода техника. Так, древние иудеи с 17 таммуза по 9 аба опасались появления из-под земли ужасного Кетеба-Мерири с единственным глазом внутри и вращающимися рогами. Не вездеход ли с прожектором и локатором? Не на нем ли делались вылазки с целью проверить ситуацию «наверху, под открытым космосом»?

А как нам не вспомнить забавный факт, что для строительства египетских пирамид привозили какой-то песок, хотя и своего вокруг хватало? Однако тот, «привозимый издалека», песок содержал, как оказывается, элементы, препятствующие «просвечиванию» пирамиды сверху. Ни из космоса, ни с вертолетов ученые не в силах пока получить никаких достоверных данных о внутреннем устройстве пирамид: приборы не могут пробиться сквозь «фон», создаваемый этим песком. Что же это, значит, погибшая цивилизация и после катастрофы боялась атаки «с неба»?

Возвращаясь к проблеме подземных технологий, любопытно вспомнить скандинавские мифы. Эльфы (цверги), эти мелкие существа с голым черепом, красными глазами, ртом до ушей и прочими уродствами (мутаций?), — великие мастера. Живут в подземных дворцах, освещаемых теплым свечением янтаря (не вспомнить ли школьные опыты по статическому электричеству?), средь несметных сокровищ. Они сделали восьминого коня Слейпнир (букв. «скользящий»), чудесный корабль Скитбларнир («сложенный из дощечек»), кольцо Драупнир («копающийся»), порождающее себе подобных, некое ожерелье Фрейн, помогающее при родах, и т. д. А как не вспомнить Шхерезаду, сказавшую о тайных подземных убежищах где-то под пирамидами или под сфинксами, где хранятся разнообразнейшие фантастические предметы, например, мягкое и гнувшееся стекло?

Ох, была, была ядерная катастрофа, и боялись древние повторения этого кошмара! Иначе зачем возводить 3000 лет назад эти странные сооружения — жилища Чирипы («жилого холма»), 60 метров в диаметре и 25 метров высотой, расположенного в двадцати километрах от озера Титикака. Те представляли собой четырехугольные помещения, от коих до нас дошли только одни фундаменты... с двойными (!) стенами. А двери были раздвижными, вагонного типа...

Но чем питались живущие под землей? Скажем, у кельтов некоторые животные, а особенно свинья, — существа, связанные непосредственно с подземельем. Полинезийские мифы говорят о подземном происхождении культурных растений и домашних животных. У индейцев бог достает зерна маиса из горы, где они спрятаны.

Особое место занимают грибы. У греков это пища богов. У ацтеков — тело богов.

Грибы, как известно, вполне обходятся без солнечного света, для некоторых он даже губителен. Учитывая это, а также то, что грибы — это вообще-то не растения, но организмы, состоящие из клеток грибковых образований, очень близких к клеткам животного мира, можно говорить бы и о... искусственноном происхождении грибов. Не случайно ведь то, что из размножают грибницей, а белков они содержат даже больше, чем мясо. В некоторой же ситуации белок — особенно ценный продукт. Не случайно и то, что грибница прекрасно развивается на перегное, в том числе и животном. Вот вам и «тело богов».

А в московском метрополитене шампиньоны замечательно себя чувствуют...

Вспомните теперь о сложных структурах мифических подземных миров, а потом представьте под нашими городами «города метрополитенов», спроектированные не только для нужд самого быстрого и удобного транспорта, но и на случай ядерной угрозы... Есть ли связь между всем этим?

Действительно, предположив суперцивилизацию, невозможно представить, чтобы та не имела метро или чего-нибудь в этом роде. В случае же катастрофы... Однако наберемся смелости и прямо скажем: люди жили и выжили благодаря метро!

Надо думать, жизнь поначалу была ужасной. Какое-то время, видимо, до решения «продовольственной проблемы», распространялся каннибализм, упоминаемый, кстати, в египетских источниках, где конец людоедству положил Осирис, а на рисунках встречается его мумия с проросшими из нее всходами, которые поливает жрец. Здесь налицо утилизация трупов, использование их в качестве питательной среды для выращивания растений. Уместно вспомнить опять грибы.

Вообще условия для жизни могли быть различными. В одних подземельях разводили свиней, в других — нет. Где-то культивировали грибы, ставшие позже священными, где-то имелся иной источник питания и так далее. Соответственно и проявления каннибализма могли наблюдаться далеко не везде.

Здесь мы вынуждены отвлечься на время от описания жизни «богов подземелья» и прояснить один существенный момент, без которого дальнейшие факты из «нижней» и «верхней» жизни будут не очень понятны.

Вероятно, какая-то часть населения в момент катастрофы не смогла или не успела укрыться. И, вероятно, из этих людей погибли не все. Ведь и часть земной фауны смогла, очевидно, благополучно пережить и взрыв, и его последствия, продолжив затем свое существование. Да, но как и какой ценой выжили «верхние» люди? А также куда девались следы материальной культуры «нижних»? Об этом поговорим во второй части наших размышлений.

(Окончание следует)

ЧАС НОЧИ

Время убивать
и время врачевать.
Екклезиаст



лат, и недолго ждет. Распахивается дверь, и с влажным осенним сквозняком влетает в комнату запыхавшийся человек в пальто.

— Как вы быстро, Доктор! — приветствует Часовщик, поднимаясь навстречу. — Но, боюсь, он уже умер.

Доктор склоняется над Холостяком. Часовщик прикрывает дверь и возвращается в кресло.

— Он мертв, — говорит вскоре Доктор, — думаю, смерть была мгновенной.

— Тогда он мертв уже минут двенадцать, — констатирует Часовщик. — Я ложился, когда услышал выстрел. Накинул халат, вышел и, подойдя к освещенному окну Холостяка, увидел, что стекло разбито, а сам Холостяк лежит на столе без движения. Я немедленно вернулся к себе и позвонил вам. Полагаю, на все это ушло минут шесть, скорее даже меньше. Правда, вы долго не брали трубку, я уже испугался, что вас нет дома...

— Я спал, — говорит Доктор, — я спал, я не сразу услышал звонок.

— Понимаю, — кивает Часовщик, — потом я позвонил Сержанту и вернулся сюда. Дверь была незаперта, я вошел и сел дожидаться. Вы очень быстро пришли, минут через пять после моего звонка, мне кажется.

— Я спешил, — говорит Доктор, — я бежал всю дорогу.

— Понимаю, — кивает Часовщик, — вы присядьте, скоро придет Сержант; ему ходьбы сюда минут двадцать с малым.

— У него же автомобиль, — возражает Доктор, садясь. — Ах, да! Он вчера столкнулся с фургоном Лавочкина.

— Забавно, правда? — говорит Часовщик. — Единственная легковая машина в городе и единственная грузовая машина в городе сталкиваются на единственной улице города!

Они молчат с минуту.

— Вы ведь были дружны? — спрашивает Часовщик.

— Да, — всхлипывает Доктор, — я любил его, как отца.

— Верно! — восклицает Часовщик. — Я тоже припоминаю, что он как-то при мне говорил о вас ну буквально как о сыне.

Доктор закрывает лицо руками.

— Кто это сделал? Кто? — глухо вопрошает он.

— Вы не беспокойтесь, — утешает Часовщик, — сейчас придет Сержант и во всем разберется.

Они молчат с минуту.

— Даже раздеться не успел, — задумчиво констатирует Часовщик, — так и лежит в плаще и ботинках. Интересно, откуда он пришел?

— Может, он только собирался уйти, — предполагает Доктор, не отнимая рук от лица.

— Нет, нет, — отвергает Часовщик, — смотрите, как он наследил на ковре.

— Наверное, это я наследил, — говорит Доктор.

— Вы — само собой, — подтверждает Часовщик, — вот ваши отпечатки — рыжеватые такие. У Холостяка вроде бы похожие, но рубчик иной. Взгляните.

Доктор не смотрит.

Они молчат еще с минуту. Из угла блекло звякают часы. Часовщик оборачивается как ужаленный.

— Половина первого? — восклицает он, вперяясь в циферблат. — Это невероятно, часы отстают на пятьдесят минут!

— О чем вы говорите, — устало досадует Доктор, открывая лицо, — при чем тут какие-то часы?

— Да что вы! — Часовщик даже вскакивает. — Холостяк был до удивительности пунктуален во всем, что касалось времени. Его часы не должны отставать даже на пять минут, не то что на пятьдесят!

— Ну, может быть, он сначала забыл их завести, а потом завел не глядя. В конце концов откуда ему было знать точное время? У него ни телефона, ни радио... — отмахивается Доктор.

— Это, конечно, так, однако... — Часовщик вновь садится и задумывается.

— Что у вас в руке? — вдруг спрашивает Доктор.

— Что? Ах, это... — Часовщик смущен. — Этот лист бумаги лежал на столе рядом с Холостяком. Я подумал, что Холостяк как раз писал это, когда его застрелили.

— Что там, что? — интересуется Доктор.

— Ничего особенного, взгляните. Мне не следовало брать его. Сержант будет недоволен.

$$\begin{array}{r}
 1140 // 38 \\
 10 \quad 52 \\
 \hline
 30 \quad 14 \\
 \hline
 16
 \end{array}$$

— Какая-то арифметика... — разочарованно тянет Доктор. — Чепуха.

— Совершенная чепуха, — подтверждает Часовщик.

Отворяется дверь, и не спеша входит увесистый Сержант, оставляя на ковре бурье следы, подобные кирпичам. Кинув снульный взгляд на Холостяка, он скрупленно качает головой:

— Шутки в сторону. Похоже, нашего приятеля и впрямь ухайдакали. Вы не трогали тут ничего?

— Только вот это, Сержант. Доктор, отдайте ему, — торопится Часовщик, — вы уж простите великодушно.

— Что это? — удивляется Сержант.

— Мы как раз об этом говорили, — суетится Часовщик, — чепуха какая-то.

— Ну почему же, — размышляет Сержант, — несомненно, что Холостяк вел какие-то подсчеты, вернее всего денежные. Он ведь был человеком изрядно состоятельный и имел вклады там и тут? — Сержант вопросительно смотрит на

Часовщика, тот — на Доктора, Доктор смотрит на Сержанта и кивает.

— Ну, вот, — возвращается к бумаге Сержант, — берем левую колонку: некое дело принесло Холостяку сорок, предположим, тысяч доходу и десять убытку. Ниже подведен баланс — тридцать тысяч.

— Но в правой колонке тогда получается не четырнадцать, а минус четырнадцать, — на память приводит Часовщик.

— Верно. Значит, так: доход составил тридцать восемь тысяч, а расход — пятьдесят две. Результат — четырнадцать тысяч ущерба. Холостяк не написал «минус» — это и без того ясно. В самом низу — общий баланс: тридцать минус четырнадцать — прибыли шестнадцать тысяч. Все сходится.

— Да, это убедительно, — соглашается Часовщик, — и все же...

— Ладно, — ближе к телу, — обрывает Сержант, — как вы обнаружили его?

— Я уже ложился, когда услышал выстрел, — начинает Часовщик вновь, — я накинул халат...

— Вы не заметили время? — перебивает Сержант.

— Это моя профессия. — Часовщик расправляет плечи. — В моем доме нельзя, глянув куда-либо, не заметить время. А уж в данном случае это было и вовсе просто: ровно час ночи. Могу продолжать? Я вышел и, подойдя к освещенному окну Холостяка, увидел, что стекло разбито, а Холостяк лежит на столе без движения. Я немедленно вернулся к себе и позвонил...

— Ясно, — опять прерывает Сержант, — ни ограды, ни сада, окно выходит прямо на улицу, стреляли, естественно, оттуда. Больше ничего не приметили?

— Только одно, Сержант, — сипится Часовщик, — часы у Холостяка необычным образом отстают на пятьдесят минут.

Сержант смотрит на часы в углу, сверяет со своими.

— Не вижу, что бы это нам давало, — говорит он. — Все еще увлекаетесь детективами, Часовщик? Преступник переводит часы, дабы скрыть момент совершения убийства? Какой в этом смысл? Ведь часы идут; то, что они отстают, легко заметить, а время убийства нам известно. Короче. О подобных происшествиях я обязан докладывать в Управление. Мне нужно позвонить.

— А я, вероятно, могу уже идти? — поднимается Доктор.

— Нет, прошу вас ненадолго оставаться, — говорит Сержант, — вы подпишете протокол.

— Звяжите от меня, Сержант, — любезничает Часовщик, — у меня незаперто.

— Благодарю. — Сержант ступает к двери.

— Тысяча извинений! — вскакивает Часовщик. — Дайте мне еще на минуту этот листок с цифрами.

— Извольте. — Сержант удаляется.

Часовщик в кресле изучает бумагу. Из угла снова тенькают часы. Часовщик морчится:

— Час ночи! Вы только подумайте, опять час ночи! Ну ка постойте, постойте...

— Что вы? — хмурится Доктор.

— Нет, ничего. Я подумал: странно, что у такого имущего человека, как Холостяк, — столь скромный дом: ни ограды, ни сада, ни телефона, ни радио... Имея все это, он, возможно, был бы сейчас жив. Холостяк был скончав, вы не находите?

— Не нахожу, — отрезает Доктор. — И дело тут не в скучности, а, если хотите, в возрасте. Да, Холостяк был старомодно бережлив и до чудащества аккуратен, сейчас такое не принято — все и считали его слабоумным чудаком. Никто, кроме меня, не понимал его.

— Вполне возможно, — задумчиво кивает Часовщик, — однажды... — И замолкает.

— Они будут утром, — говорит, входя, Сержант, — и еще одна новость: меня окликнула фрау Вельт из дома напротив; она утверждает, что видела в окно, как Холостяк выходил от себя около половины первого ночи.

— Ага! — восклицает вдруг Часовщик.

— Что с вами? — интересуется Сержант.

— Сейчас, погодите, — отмахивается тот, вновь погружаясь в расчеты.

— При этом, — продолжает Сержант, — она ухитрилась не заметить ни его возвращения, ни тем более его убийцы. Ладно, — зевает он, — сейчас составим протокол и пусть ребята из Управления разбираются.

— Одну минуту, Сержант! — Часовщик все еще смотрит в бумагу. — Давайте еще хоть минуту порассуждаем без протокола.

— Опять вы с этой цифирью! — качает головой Сержант. — Мы же с ней разобрались!

— Мне кажется, не вполне. — Часовщик поднимает голову, глаза его блестят. — Взгляните на две эти вертикальные линии перед числом 40. Нас сбило с толку случайное совпадение суммы в первой колонке, а также то, что Холостяк привык дважды отчеркивать результат. Но зачем он слева отчеркнул число сорок? Это не сорок, Сержант, это одиннадцать сорок!

— При чем тут... — начинает Сержант.

— О, пожалуйста, не прерывайте меня больше! — возвышает голос Часовщик. — Я и сам могу сбиться. Итак. Это не «сорок минус десять равно тридцати». Верхнее число в левой колонке означает одиннадцать часов сорок минут; следовательно, нижнее — ноль часов десять минут (Холостяк просто не написал ноля), а «тридцать» под чертой — полчаса между двумя этими временных отметками. Ясна теперь и правая колонка: ноль часов тридцать восемь минут, ноль часов пятьдесят две минуты и промежуток — четырнадцать минут!

— Да что нам это дает? — не выдерживает Сержант.

— Сейчас посмотрим. Левая колонка — пока ничего. Зато правая, глядите: тридцать восемь минут первого — это восемь минут после половины первого, то есть момента, когда Холостяк вышел из дома. Пятьдесят две минуты первого — это без тех же восьми час, а час — время убийства. Занятно, правда? Вернемся теперь к левой колонке: она на первый взгляд сюда не вяжется, но это только на первый. Стоит вспомнить, что часы Холостяка отстают на пятьдесят минут, и получается совсем интересно: одиннадцать сорок — это на самом деле как раз полпервого, а ноль десять — как раз час ночи!

— Да вы что же хотите сказать?! — чуть не с ужасом вскрикивает Сержант. — Что Холостяк пометил себе время своего ухода и время своего убийства? Так, что ли?

— Получается так, — сам удивляясь, подтверждает Часовщик. — Вернее, он действительно пометил время ухода, затем, вернувшись, пометил текущее время, и тут его убили. Причем в левой колонке время засечено по его отстающим часам, а в правой — по каким-то другим, правильным. Так зачем же он ходил, как вы полагаете?

— Чтобы узнать точное время?! — хватается за голову Доктор.

— Гениально! — восклицает Часовщик. — Мы все знаем, сколь неправдоподобно пунктуален был Холостяк. Представьте себе, накануне он забывает завести часы — исключительный для него случай! — и вечером видит, что те стоят. Он поступает так, как не поступил бы ни один из нас: во-первых, одевается; во-вторых, заводит часы; в-третьих, ставит их науగад на одиннадцать сорок, ошибаясь при этом на пятьдесят минут; и, в-четвертых, помечает время на листе бумаги. Берет лист с собой и уходит. Таким образом, первая запись выглядела условно так. Сержант, дайте свой блокнот:

11.40 0.38

Спустя восемь минут Холостяк приходит в некое место, где рассчитывает узнать который час. Причем ему не известно в точности, сколько туда ходьбы по минутам, однако, будучи человеком педантичным, он уверен, что затратит на путь туда и обратно одно и то же время. Он приходит туда и первым делом глядит на часы. Вот вторая его запись:

11.40 0.38

Он гостит четырнадцать минут, вероятно, беседует с кем-то; затем прощается и помечает время ухода, а заодно — пребывания там:

11.40	0.38
	0.52
	14

Спустя те же восемь минут он заходит в свой дом, снова первым же делом бросается к часам, даже не раздеваясь, и узнает общее время своего отсутствия:

11.40	0.38
0.10	0.52
30	14

Отсутствовал он ровно полчаса. Затем, для удобства расчетов, он подходит к столу у окна и записывает последнее число, составляющее разницу между временем отсутствия и временем пребывания в некоем месте, то есть время в пути:

11.40	0.38
0.10	0.52
30	14

16

Ему остается только поделить это число пополам, приложить результат к минуте ухода из нам пока неизвестного места, то есть к полу часах пятидесяти двум минутам, чтобы получить искомое точное время — час ночи. Его смертный час. Он не успевает этого сделать, ибо гремит выстрел.

— Чрезвычайно умно и научно-популярно, я бы сказал, — озадаченно, но скептически тянет Сержант, — впрочем, как сие продвигает нас в поисках убийцы?

— Немного продвигает, — говорит Часовщик, — прежде всего мы можем теперь предположить, к кому ходил Холостяк. Это должен быть человек ему настолько близкий, что он не постеснялся беспокоить его в такой поздний час; ведь не пошел же он ко мне, что было бы куда ближе и проще. А во-вторых, это должен быть человек, живущий приблизительно в восьми минутах спокойного ходу. Ведь до вашего дома, — Часовщик поворачивается к Доктору, — идти отсюда минут десять, не больше? А если срезать путь через глиняный карьер, то, наверно, меньше десяти?

— Что вы... Что вы имеете... — задыхается Доктор.

— Я имею в виду следы на ковре, — поясняет Часовщик, — мы с Сержантом оставили обычные для мокрой погоды серовато-бурые отпечатки, а вы с Холостяком — рыхкие. Это ведь глина, правда? Кроме того, я позвонил вам минут через пять-шесть после убийства и вы долго не брали трубку. Вполне вероятно, вы спали, хотя, мне посыпалось, голос у вас был не заспанный, а скорее возбужденный. Может быть, только послышалось. Но здесь вы появились опять-таки через пять минут после моего звонка. Если бежать бегом, то так и получается: вы совершенно естественно спешили к умирающему. Но поскольку я вытянул вас из постели, вы должны были хоть пару минут истратить на то, чтобы так основательно одеться, как одеты сейчас вы в отличие от меня. Вы немного поторопились, Доктор, хотя я понимаю ваше стремление очутиться на месте до прихода Сер-

жанта. На случай же, если вы в спешке даже не выложили из кармана оружие, что, по-моему, так и есть, я бы не рекомендовал вам совершать еще одну глупость.

Сержант реагирует профессионально: не успевает рука Доктора и скользнуть за пазуху, как он ловит ее цепким хватом и, откинув полу Докторова пальто, выуживает небольшой никелированный револьвер.

— Советую вам, Доктор, признаться во всем немедленно, — мрачно говорит Сержант, — в этом случае я запишу явку с повинной.

Доктор смотрит на него с прибывающей злобой в глазах, затем рывком освобождает запястье.

— Жалкий маньяк! — кричит он хрипло. — Так вот зачем он явился ко мне среди ночи! Узнать который час! Патологический дотошник! Она осталась в эту ночь у меня, я думал, что гад пронюхал... Скотина! Какое право он имел влезать в мою личную жизнь? Видите ли, она мне не пара! Он думал, что его поганые деньги позволяют ему решать все за других! Он и раньше грозил лишить меня наследства, если я не перестану встречаться с ней! Подлец! Он не сказал, зачем приложил, только все косился на часы и болтал вздор. Я был уверен, что он догадался. Я почти уже решил спросить его напрямик, но тут он гаденько хихикнул и ушел. Я не сомневался, что он вычеркнет меня из завещания. Я оделся и поспешил за ним. Какой же я идиот! Я догнал его у самого дома, я видел, как он сразу бросился к столу что-то писать. Безмозглый кретин! Я был убежден, что он уже составляет новое завещание. Не знаю, что на меня нашло. Я выстрелил! Я выстрелил в него и тут же бросился бежать. Когда я вернулся домой, звонил телефон. Мы оба — дегенераты. Мне не жаль ни его, ни себя.

Из угла вяло брякают часы.

— Вы гениально раскололи убийцу, дорогой Часовщик, — говорит на следующий день Сержант, — но признаетесь, вы блефовали. Я, разумеется, не стал говорить об этом тогда, но ваше точное дерево расчета подточено у самого корня. Неужели вы всерьез полагаете, что у столь пунктуального человека, как Холостяк, были одни часы в доме? Не хотите ли вы сказать, что у него не имелось даже ручных часов?

— Я не блефовал, Сержант, — серьезно отвечает Часовщик, — но получилось так, что все это дело больше относится к моей компетенции, нежели к вашей. Конечно, у Холостяка были ручные часы, правда, всего одни: он ведь был не только пунктуален, но и скуп. Просто в нужный момент их под рукой не оказалось.

— Откуда вы знаете? — спрашивает Сержант.

Часовщик улыбается:

— Днем раньше он отдал их мне в починку.

История

церкви святых Космы и Дамиана

насчитывает несколько веков. Как и многие другие храмы, этот, что расположены в живописном месте возле канала имени Москвы и города Химки, постигла печальная участь. После Октября храм был закрыт и разграблен. Купол и барабан разрушены. Уничтожены росписи и иконостас. Здание искалено разными уродливыми пристройками, внутренняя планировка нарушена перекрытиями.

С июля прошлого года храм возвращен Православной церкви.

По заключению архитекторов задержка с восстановлением может привести к утрате уникального исторического памятника.

Община храма обращается с большой просьбой - оказать посильную финансовую или материально-техническую помощь в деле восстановления храма. Мы с благодарностью примем любую помощь и пожертвования.

Наш расчетный счет: № 701105 МФО 211628 в Химкинском отделении УНИКОМБАНКа.

Проезд до храма: ст. метро "Речной вокзал", авт. 345 до остановки "Химкинская больница".



"ЮНОСТЬ" в 1994 ГОДУ

Журнал "Юность", который в нынешнем году отметит свое тридцатидевятилетие, - красочное издание, рассчитанное на самого взыскательного читателя.

Традиционные и новые имена в прозе.

Рассказы из "аксеновской" дюжины (знаменитый в прошлом мастер рассказа **ВАСИЛИЙ АКСЕНОВ**, отдававший в последние годы предпочтение роману и повести, вновь возвращается к любимому жанру), а также - часть третья "**МОСКОВСКОЙ САГИ**".

ЮРИЙ НАГИБИН выступает с рассказами и эссеистикой.

Молодой писатель **ШАМИЛЬ ГАЛЕЕВ** представляет повесть "**КАЙФ ИНОГО РОДА**".

Молодой писатель **НИКОЛАЙ ИСАЕВ** предопределяющее называл свою повесть "**ТЕОРИЯ КАТАСТРОФ**". **ЛЕОНИД БОРОДИН**, строгий лирик и вечный борец за справедливость, осмысливает историю Отечества.

Об этом его новый роман.

НИКОЛАЙ УЛЬЯНОВ. "**СИРИУС**" - роман о последних годах царствования Николая Второго и крушении русской империи.

АЛЕКСАНДР РОДИН. "**ВОПЛЬ**" - повесть об Иисусе Христе.

ГЕННАДИЙ КРАСУХИН. "**ДВА ДНЯ В СЕНТЯБРЕ**" - повесть о Сталине.

ЛИДИЯ ЛИБЕДИНСКАЯ - "**СТАРАЯ МОСКВА**" - книга воспоминаний.

На страницах "Юности" всегда найдется место фантастике и детективу.

ЖЕРАР де ВИЛЬЕ. "**РЕЙС 007 НЕ ОТВЕЧАЕТ**" - о событиях, связанных с гибелью южнокорейского самолета.

АЛЕКСАНДР НЕМИРОВСКИЙ. "**ДЕЛО КЛУЕНЦИЯ**" - античный детектив.

Историческая новелла: **Ж. СЕСБОРН, Х. ПАЧЕКО, Де САД**.

ДОМ ПОЭТОВ: **БУЛАТ ОКУДЖАВА, ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР, ВЛАДИМИР КОРНИЛОВ, ЮРИЙ ЛЕВИТАНСКИЙ, ВЛАДИМИР СОКОЛОВ, БОРИС ЧИЧИБАБИН, ОЛЕГ ЧУХОНЦЕВ**.

НАШИ ПУБЛИКАЦИИ:

БОРИС ЗАЙЦЕВ. Эссеистика.

АЛЕКСЕЙ СКАЛДИН. Стихи, семейные фотографии, Статья "ЗАТЕМНЕННЫЙ ЛИК" о В.Розанове, "**РУССКАЯ ПРОВИНЦИЯ**" - не застойная провинциальность, но обновление мысли, чувства, естество жизни, не замутненное уродствами цивилизации и политики.

"**ЛИТЕРАТУРНАЯ ГОСТИНАЯ**" - встречи и разговоры о поэзии жизни и воспираниях таланта.

История, религия, философия - статьи **ЛЬВА ТИМОФЕЕВА** и **ИГОРЯ АЧИЛЬДИЕВА**.

20-Я КОМНАТА: интимная жизнь очень молодых людей.

ПЕРЕПИСКА: письма наших читателей друг к другу, к человечеству, в никуда.

АСТРАЛ. Есть ли жизнь на земле? Наша связь с земными и инопланетными цивилизациями.

Экспедиция "**ПО СЛЕДАМ СНЕЖНОГО ЧЕЛОВЕКА**".

КЛУБ ПУТЕШЕСТВИЙ - по земле, под землей, в воздухе, по воде, под водой, космические приключения.

ЖУРНАЛЬЧИК - знаменитые детские писатели, а также сами дети подготовят двенадцать забавных "журнальчиков".

ИГРАЕМ С ВАМИ. Литературная и историческая викторина с призами.

ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ. Вы встретитесь с **АРКАДИЕМ АРКАНОВЫМ, ГРИГОРИЕМ ГОРИНЫМ, ВИКТОРОМ КОКЛЮШКИНЫМ**.

ДОРОГИЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!

Подписаться на Ваш журнал "ЮНОСТЬ" Вы можете в любое время и в любом отделении связи - без ограничений

Индекс: 71120

Дешевле всего Вам обойдется подписка в редакции

**Напоминаем адрес: Москва, 1-я Тверская-Ямская ул., д. 2/1
ПРИХОДИТЕ!**

БИБЛИЯ И РУССКАЯ ПОЭЗИЯ

Беседа вторая



Ностальгия. Все это у Сумарокова было. Начать с последнего: уже в осмысленном детстве, когда оно вот-вот переломится в отрочество, в доме отца, крупного военного петровской закалки, будущего поэта обучал тот же педагог, что и наследника престола.

О талантах Александра Петровича говорит простое перечисление литературных жанров, в которых он работал, почти всегда добиваясь зданных положительных результатов: сатиры, любовная песня, идилия, эклога, трагедия, эпиграмма, притча, басня, комедия.

Вольнодумства тоже хватало, пусть на сегодняшний взгляд оно шло рука об руку с законопослушанием. Сумароков — рационалист, хотя как художник никогда не отворачивался от чувств, что бескорыстно одаряют нас разнообразными впечатлениями бытия. «Здравым рассуждением, — пишет он, — приближаемся мы к центру познания, которого смертные никогда не могут коснуться. Кто больше до сего центра доходит и кто меньше его проходит, тот справедливее действует».

«Центр познания» — это, очевидно, псевдоним Бога. Во всяком случае, он противостоит смертным — значит, бессмертием. «Здравое рассуждение» — разум в его полном развитии, читай: подкованный образованием. Бог действительно непознаваем — поэтому «центра» нельзя «коснуться». К нему можно только приблизиться. А кто же «проходит» (переходит) этот центр? Безумцы? Неверы? Грядущие сверхчеловеки?

Сумароков четко разделял естество и божество, а естество, в свою очередь, делил на «духи и вещества». «Что — духи, я не знаю, — смиренно признавал он ограниченность своего рациона, — а вещества имеет меру и вес». Очевидно, в те времена это звучало дерзко. Не пройдет и двухсот лет, как другой русский поэт. Елизавета Юрьевна Кузьмина-Караваева, вряд ли помнившая о Сумарокове, напишет:

Ни формулы, ни мера вещества
И ни механика небесной сферы
Навек не уничтожат торжества
Без чисел, без механики, без меры.

И в наступившую безбожную эпоху это опять-таки будет дерзко...

Я говорила преимущественно о Сумарокове-философе — не терпится сказать о Сумарокове-поэте. Его перу принадле-

жит «Гимн о премудрости Божией в солнце» — стихотворение, украшающее отечественную поэзию, даже если брать ее в полном объеме, более чем за три века.

Вострепетала тьма, лишь только луч пустился;
Лишь только в вышине подвигнулся пебес,
Горяще стрелой дом смертных осветился,
И мрак перед тобой печез.
О солнце, ты — живот и красота природы,
Источник вечности и образ Божества!
Тобой живя земля, жив воздух, живы воды,
Душа времен и вещества!..

Чтобы лучше понять Сумарокова, хочу обратиться к его стихотворению «Из 145 псалма». Самый псалом, в некотором сокращении, читается так:

«Не надейтесь на князей, на сына человеческого, в котором нет спасения.

Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его.

Блажен, кому помощник Бог Иаковлев, у кого надежда на Господа Бога его,

Сотворившего небо и землю, море и все, что в них, вечно хранящего верность,

Творящего суд обиженным, дающего хлеб алчущим. Господь разрешает узников;

Господь отверзает очи слепым, Господь восставляет согбенных; Господь любит праведных.

Господь хранит пришельцев, поддерживает сироту и вдову; а путь нечестивых извращает...»

Вот сумароковская интерпретация:

Не уповаите на князей;
Они рождены от людей,
И всяк по естеству на свете честью равен,
Земля рождет, земля пожрет:
Рожденный всяк, рожден умрет,
Богат и пиши, презрен и славен.
...Когда из них изыдет дух,
О них пребудет только слух,
Лежащих у земли бесчувственно в утробе:
Лишатся гордостей своих,
Погибнут помышления их,

И пыши титла все скроются во гробе.

Сравнивая переложение псалма с могучим оригиналом, находим много общих утрат. Где же тут про обиженных, в чью пользу творит Господь свой суд, про алчущих, кому он дает хлеб? Где про узников, на выручку которым приходит Высшая сила? А «пришельцы», напоминающие о наших беженцах, тоже, оказывается, угодные Богу, а эти вечные вдовы и сироты, заполняющие все ниши, отанные под милосердие, в каждом столетии, в каждом тысячелетии?.. Преуспевающему и, как видно, богатому Сумарокову не до них?! Нам, выросшим в твердокаменные времена, дороже всего в 145 псалме именно эта нота глубокого сопереживания.

Но не будем так уж строги к одному из отцов русского литературного языка — все мы жнем с посевянного им поля. У него была своя система взглядов, свои болевые точки,

и в духовных одах он заострял внимание на том, что его особенно волновало.

В оде сконцентрированы задушевные мысли поэта. В том, что люди равны честью, а также равны «по естеству», то есть по природе, он был незыблемо уверен, а это, согласитесь, достаточно крамольная мысль для крепостнического государства.

... от баб рожденным и от дам

Без исключения всем праотец Адам,—
наставлял поэт в одной из своих сатир.

Меняне всего я хочу представить Сумарокова этаким предтечей социалистов. Ничего «социалистического» в его взглядах не было. Просто это был широкомыслящий талантливый человек, прекрасно знакомый и с дохристианской, и с христианской философией, тысячи лет назад задававшейся теми же вопросами: о вере и беззверии, равенстве и неравенстве, законности и беззаконии, чести и бесчестии, жизни и смерти. О перемене государственного строя в России он и не помышлял, убежденный в том, что

Порядок естества умеет Бог уставлять

И в естестве себя великолепно славить.

«Неправедных судей» (есть у Сумарокова стихи с таким обращением) призывал к порядку, ссылаясь именно на Божию, а не человеческую правду, которую можно выворачивать и так и сяк:

Иль вы не помните, в ожесточеньи тверды,
Что Вышний справедлив, а вы немилосерды?

Иль вы не верите, что Бог неправду мстит
И вам стечание невинных отплатят?

Помните, в 145 псалме говорилось о «путях нечестивых», которые «извращает» Бог? Рассуждая о «неправедных», или, как мы выразились бы теперь, «несправедливых», «необъективных», «бесчестных» судьях, поэт, в сущности, повторяет ту же мысль. Путь нечестия ведет в тупик. Божией милостью приводит совсем не туда, куда как будто вел, — мимо цели.

Хотя, по Сумарокову, и господа, и простолюдины равны честью, другими словами, каждый, кто бы он ни был, волен выбирать честную или нечестную стезю, «Сатири о честности» Сумароков обращает к людям своей среды — дворянству, придворным кругам: им много больше дано — с них много больше и спрашивается.

«Но что такое честь?» — задается вопросом автор. И дивится людской путанице понятий.

... один победой льстится,
И пьяня со пьяным ов за честь на смерть пустился;

Другой приятеля за честь поколотил,

Тот шутку легкую пощечиной пытли...

... Премерзкий супер шлет ближнего во ад

И сеет на него во всех беседах яд.

Премерзкий атеист Создателя не знает,

Однако тот и тот о чести вспоминает...

Современно? Весьма! Даже черезсур... А ведь 200 с хвостиком лет мелькнуло. «Как нам жить? Утрачены все ориентиры!» — слышится вперемешку с руганью, проклятиями, матом, криками «караул! помогите! грабят!» (а то и «кубивают!»). И вот с Библией в одной руке, с томиками «старомодных» поэтов в другой — пытаешься докопаться до истины, отдельить зерна от плевел: вечночи ценности от сиюминутных фальшивок...

С детства мы помним из стихов Некрасова четыре строчки:

Скоро сам узнаешь в школе,

Как архангельский мужик

По своей и Божьей воле

Стал разумен и велик.

Обратите внимание на слово «разумен». У поэтов не бывает пустых слов. На месте данного определения могло стоять другое: известен, прославлен, усерден и т. д. Но у Некрасова: разумен. Стал — значит, раньше не был. Ходил под парусами с отцом-помором в Ледовитый океан, развивал споровку и монь мускулов, но разумен не был. А стал, когда — чудо-то какое! — добрались до Москвы с рыбными обозами, ухитрился поступить в Славяно-греко-латинскую академию, единственное в России высшее учебное заведение,

где и с античными поэтами познакомился, и с античными мудрецами, где впитал дух основателя ее Симеона Полоцкого, автора «Псалтыри рифмовальной», которой восхищался еще подростком.

Любопытно, что, посланный в числе лучших учеников в Германию пополнить образование, Михаил Васильевич обучался у тогдашнего властителя дум Христиана Вольфа в Марбурге. А лет этак через 175 в том же Марбурге, у философа новых времен Германа Когсена появится слушатель из России Борис Пастернак. Ни тот ни другой не станут любомудрами, а станут поэтами. Слава Ломоносова-ученого затмит славу Ломоносова-поэта, но в отечественной словесности ему принадлежит уникальное место. Русский стих в его современном звучании, оперенный мужскими и женскими рифмами, с явно первенствующим ямбом, — это стих Ломоносова.

«Ода, выбранная из Иова, главы 38, 39, 40 и 41» — длинно и точно называет одно из своих библейских «преложений» Михаил Васильевич. Об Иове, персонаже Ветхого Завета, размышают, спорят не последние умы человечества многие сотни лет. Кто же такой Иов? Праведник, которого без вины карает Бог. Всем нам приходилось слышать от людей неверующих или слабоверующих: «Что вы нам пудрите мозги! Нет никакого Бога, поскольку на земле столько зла! Включите телевизионные новости — вот вам лучшая антирелигиозная пропаганда. Войны, террористы, крушения поездов, разбившиеся самолеты, землетрясения — если бы был Создатель, он бы этого не допустил!»

Не знаю, у кого хватит бессердечия возразить, что все эти несчастья посыпаются на землю за человеческие грехи, за беззверие. Может быть, это и так, но лично я не в силах признать такую правду Божией, то есть справедливой и человечной. Я могу только почувствовать Иову, у которого Бог отнял детей, богатство, здоровье вовсе без вины, проверяя крепость его веры. И вспомнить, какие аргументы приведены в Библии, дабы пострадавший праведник не разуверился в существовании и непобедимой мудрости Творца.

Вот как звучит это место у Ломоносова:

О ты, что в горести направьо

На Бога ропщень, человек,

Внимай, коль в ревности ужасно

Он к Иову из тучи рек!

Сквозь дождь, сквозь вихрь,

сквозь град блистая

И гласом громы прерывая,

Словами вебо колебал,

И так его на распрю звал.

Сбери свои все силы пыни,

Мужайся, стой и дай ответ.

Где был ты, как я в стройном чине

Прекрасный сей устроил свет?

Когда я твердь земли поставил

И сонм небесных сил прославил,

Величество и власть мою?

Яви премудрость ты свою!

Непостижимость панорамы мироздания, во всей его красоте и чудных закономерностях, невозможность не только для одного смертного, но и для всех миллиардов людей, живших когда-либо на земле, повторить и тем более превозытии Великого Зодчего — вот главное доказательство существования Бога. И если Он так могуч, то нам с нашими частными обидами и бедами не мудрее ли прислушаться к Нему, чем вести пустую распрю?

Иные исследователи недавнего прошлого зачисляли Ломоносова чуть ли не в материалисты. Их узкий ум отказывался понять, что наука и религия не враги, что это два инструмента для познания неисчерпаемого мира, который нас окружает. Религиозными людьми были Коперник и Леонардо да Винчи, Ньютона (писал свой комментарий к Библии), Кеплер, Пастер, Лобачевский, Пирогов, Эйнштейн. Из научных светил последних десятилетий — академик Павлов, академик Конрад, глазной бог Филатов, Академик Вернадский, хирург и священник Войно-Ясенецкий... В этом славном ряду стоит и Михаил Ломоносов.

ПЕТР БОРИСОВИЧ ШЕРЕМЕТЕВ (1713—1788)

«Стужа во дворце превеликая, все камельки, а печи не закрывают... Щебети птицала, а все сморкались и кашляли... Замучился от обедов и ужинов...»

Эти слова Петр Борисович написал в письме к Анне Николаевне («калмычке»), которая в детстве была взята в дом Черкасских и стала воспитанницей и подругой Варвары Алексеевны, жены П. Б. Шереметева.

Кто он? Барин, крепостник, угнетавший своих крестьян? Один из чудаков XVIII века, сибарит? Или человек, способствовавший общественному процессу?

Биография и время сформировали его нрав и стремления. Родился при Петре I, воспитывался с Петром II, в юношеском возрасте стал свидетелем падения сперва Меншикова, потом Ивана Долgorукого, затем — разгрома верховников и возвышения Анны Иоанновны. Стал очевидцем краткого правления Анны Леопольдовны, узнал, что сослана она в Холмогоры (позднее уехала в Данию, жаловалась на датчан и все вспоминала о жизни в Холмогорах). Однако расцвет жизни Петра Борисовича пришелся на времена Елизаветы — тогда перестали клясть ее отца, а в ней, «Петровой дщери», увидели спасение России. Впрочем, более 20 лет его жизни вышло еще на царствование Екатерины II.

Служить царям так, как его отец в это переменчивое время? Нет, Шереметев не утруждал себя, по возможности даже склонялся. Носил знатные титулы: генерала, сенатора, камергера, кавалера нескольких орденов, предводителя московского дворянства, но главное — чувствовал себя вельможей.

Санкт-Петербург, свет, заседания, власть — с годами все это стало ему кубок с отравленным вином. Глядеть на сию неизбежность надо было трезво, без трепета и почитания, даже с легкой иронией. Вот и письма его «калмычке» (а они составили более ста страниц) говорят об этом. Сколько в них игры, насмешливого ума по отношению к свету, где кое-кто и писать-то как следует не умеет, а время проводит за карточным столом да за обильными обедами. Язык этих писем полон простонародного очарования. Он уже не так неправилен, как у его отца, но еще вполне русский: «Я один николи не обедаю; запотчевали меня; от дела не бегаю, а дела не делаю; дон-дон-дон, а дома лучше; окромя антресолей, в Эрмитаже ничего не видал; скучно, кормят нас, как свиней, на убой; платья я ношу по-французски, рукава все узки; ну полно пенять, начинаю реляцию писать; матушка: душа моя, дай нам Боже скорее в радости встретиться...»

С немалым трудом граф «вышел сухим из воды», когда разразилась гроза над Долгорукими: сестра его отпрашивалась за мужем в ссылку, — он даже отказался ее проводить. Жестоко? Да. Зато репутацию свою в глазах света сохранил



в чистоте. Когда же она вернулась, настало время Елизаветы, счастлив был безмерно.

В своем имении Кусково Шереметев строит все с размахом: собирает книги, изучает языки; воспитывает детей — Анну, Варвару, Николая. Старшего сына отправляет за границу, в Лейденский университет.

Из Франции веют ветры просвещения, новой философии, рационального устройства мира — и граф-государь планирует разбивку парка по законам нового времени. Европа увлечена естественными науками? Не отставший от моды Шереметев устраивает оранжерею, зимний сад с экзотическими растениями. В Италии идут раскопки древностей? Он посыпает туда Кологривова, и тот привозит античные скульптуры: Россия должна знать искусство Древней Греции и Рима.

Век Просвещения — век ума — век украшательства, игры... А ум у Шереметева играв. Соединить природу и искусство — это ли не благородная задача для его ума?

Искусство возвышает человека, делает его тональе, умнее — и скоро перед барским домом появляются скульптуры. Пусть гости, что во множестве съезжаются в Кусково, думают и возвышаются, глядя на эти скульптуры... Что есть Жизнь, что Смерть и Рок, как ничтожен человек... Красавица, богиня любви Венера, а рядом с ней — Плутон, правитель мрачного подземного царства, никто не минует сего печального царства, без света и желаний...

Все тут полно символов и аллегорий, которые, как известно, оттаскивают ум. Древние боги напоминают о сегодняшнем дне, а день сегодняшний граф велит запечатлеть в образе Минервы. В центре стоит статуя, с лицом Екатерины II, которая посетила Кусково в 1775 году.

Все продумано в устройстве парка, и все полно неожиданностей. Для этой цели граф выписал мудрого садового архитектора и изобретательного человека, итальянца Пьетро Гонзаго, который поведал о своих взглядах на сады и парки вот в каких словах: «Мудрый садовод, придумывая план, намечает последовательность различающихся между собой сцен, артистически подготовленных сообразно свойствам замысла, особенностям и характеру участка. В одном месте должно безраздельно царить веселье, далее печаль, потом покой, приветливость, прохлада; отдельные места должны поражать, быть романтическими, устрашать; здесь и там — какая-нибудь прихоть или причудливость, даже небольшое чудаство... Форма и цвет листвы деревьев также сообщают последним весьма ощутимые различия: среди них встречаются определенно веселые, грациозные, печальные, гордые, величественные».

Такое же искусство, как в парковой архитектуре, Гонзаго проявил в росписях декораций и занавесе Кусковского театра. Там все продумано: «Воздушный театр», кусты, пруды,

холмы и возвышения, струи фонтанов. А пение невиданных птиц в причудливой клетке не нарушает покой античных статуй...

Театр у графа Петра Борисовича — самый лучший в Москве, он затмевал даже предприимчивого Медокса. Вот что вспоминает одна из старинных жительниц Москвы Е. П. Янькова:

«Многие туда [к Медоксу] езжали в известные дни, конечно, не люди значительные, а из общества средней руки, всякие Гулякины и Транжирины. Между тем у Шереметева в Кускове бывали часто праздники и пиры, на которые мог приехать кто только хотел; были, говорят, не доеzzя до Кускова, два каменных столба с надписью: «Веселиться как кому угодно». Это барское гостеприимство и хлебосольство приходилось не по нутру жадному Медоксу, и он многим жаловался на Шереметева, что граф у него отбывает публику. Кто-то и говорит Шереметеву:

— Есть человек, недоволный вашим гостеприимством, граф.

— Кто же это, отчего? — спрашивает граф.

— Да вот Медокс, содергатель театра, плачет на вас, что вы отбываете публику...

— Скорее же это я могу жаловаться на него, что он меня лишает посетителей и мешает мне даром тешить людей, с которых он дерет горяченькие денежки. Каждый, кто ко мне пришел, тот мой и гость, милости просим, веселись всякий как ему хочется: я весельем не торгу, а гостя своего им забавляю. Для чего же у меня он гостей отбывает?»

Представления по четвергам и воскресеньям давались бесплатно, и вся Москва гуляла в кусковском парке.

И ни в одном уголке не угнетала симметрия, каждая перспектива заканчивалась какой-нибудь неожиданностью: беседкой, мельницей, зеркалами. Один современник вспомнил, что «некая собачка была обманута и расквасила себе морду, пытаясь бежать в несуществующее пространство».

А вот еще одна забавка: гость важно шествует по аллее, — кругом амуры, аполлоны, а вон — Диана в тунике. Скульптура? Хозяин кличет ее — и «Диана», Дунька, припадая на затекшую ногу, убегает: крепостные, дворовые девушки обращались в скульптуры. И наоборот, крепостных изображали на фанерных листах в виде точно вырисованных «Души и Матрех».

Обман, галантность, игра — парк полон иллюзий.

Впрочем, и в доме не без них. Дворец спланирован как каменный, между тем он из дерева. В парадных комнатах пиястры — выпитый мрамор, но то не мрамор, а алебастр; вазы «малахитовые» и цветы в них — лишь выкрашены под малахит...

В каждой комнате — печи, одна другой нарядней, но редкая из них топится, они живут лишь для услаждения глаз. Да и спальня, — кто в ней спит? Торжественный балдахин, стены словно вышили цветами, потолок будто рельефный... Все искусно придумано, все рассчитано на неожиданное открытие, все дело рук русских мастеров, сумевших заменить дорогие материалы искусствой выдумкой...

Парк полон звуков, музыкой наполнены аллеи. Тут и поющие флюгеры, колокольчики, и золова арфа, и стекло, звенящее под ударами фонтанных струй, тут и оркестр, театр, где крепостные изображают царей и принцесс, а аристократы — пастухов и пастушек...

Русский уголок, соединение версальных стройностей с московским уютом... Спустя годы поэт Иван Долгорукий (внук казенного князя и Наталии Борисовны) напишет:

Земли лоскутик драгоценный —
Кусково! Милый уголок,
Эдема сколок сокращенный.
В котором самый тяжкий рок
В воскресный день позабывался
И всякий чем-нибудь пленялся!

А другой писатель, историк Карамзин, будет вспоминать: «Бывало всякое воскресенье, от мая до августа, дорога кусковская представляла улицу многолюдного города, и карета обскакивала карету. В садах гремела музыка, а в аллеях теснились люди, и венецианская гондола с разноцветными флагами разъезжала по тихим водам большого пруда».

Не войне, не царской службе, а Кускову отдавал граф свои силы. И еще озабочен был тем, чтобы боялись его и любили, — ведь он самый знатный вельможа! А быть вельможей — значит, быть строгим, но и добрым барином своим крепостным, уметь и наказывать, и проявлять милосердие, быть важным, но не надменным, ласковым, но не добреньким (его величали «граф-государь»), а силы свои и способности отдавать лишь тому, что нравится.

В крепостных своих он видел малых детей, которым надобно помогать во всем, за которых быть в ответе. Жениться, свататься или погодить? Построить дом и где взять для того суду? Не может крепостной один решить сии вопросы без совета с барином, без помощи его. Граф говорил, что готов отпустить всех своих крепостных на волю (об этом пишет Екатерина II), но боится, что они погибнут. Граф строго взыскивал с нерадивых, в одном из его сел даже была пыточная изба; он наказывал за пьянство, за обман, нерадивость... Так что же? Значит, крепостник, жестокий эксплуататор?.. Но как объяснить, что из его крестьян вышло самое большое число свободных торговцев? — ведь вся Ильинка была покрыта их магазинами и лавками. Выходцем из шереметевских крестьян, например, был знаменитый Елисеев. А как объяснить появление стольких крепостных талантов именно в его театре и оркестре?

Петр Борисович — частица того тонкого слоя русской аристократии, которая была главным проводником культуры в России. Не управляя страной, они тем не менее создавали духовную сферу, способствовали прогрессу. Если бы по всей России распространялись такие «веселые и мудрые» имения, как Кусково, то ускорилось бы проникновение культуры, улучшилась бы общественная среда!..

Казалось бы, граф счастлив, независим, и вечны будут его радости, но... Но судьба одинаково равнодушна и к богатым, и к бедным. Конец его жизни лишен игры и радости...

В 1767 году умирает любимая жена. Скоро дочь, названная именем матери, станет женой графа А. К. Разумовского, и юная, трогательно прекрасная девушка станет жертвой беспорядочного человека, лишенного нравственных устоев.

У каждого своя мера горя, своя тяжесть его, и каждый по-своему его переносит. Похоже, что граф не сгибалась под ударами судьбы, лишь теряя игривость да обретая насмешливость. После смерти жены ложе с ним разделила дочь фрейтора, которая родила ему нескольких детей. (Хуже поступал А. К. Разумовский, у которого при живой жене было восемь внебрачных детей, — в том числе В. Перовский, герой «Сожженной Москвы».)

Граф Петр Борисович Шереметев скончался в 1788 году. Похоронен он в Москве в Новоспасском монастыре, в шереметевской усыпальнице. К истории, трагической истории этого монастыря мы еще вернемся, а пока — послушайте совет: поезжайте на метро до станции «Пролетарская», сверните направо и дойдите до Новоспасского монастыря.

Совсем недавно он восстал из небытия. Величественны его стены, прекрасны росписи XVII века, удивительно звучат песнопения мужского хора, и служба особенная...

Здесь хорошо думается о тех, чей прах покоятся под землей, о тех, кто растил нашу культуру, наш дом российский, чей образ скрывается за далью веков... Кто принадлежит, конечно, своему времени, но и нам тоже. И о граfe Петре Борисовиче, который оставил не только кусковскую гармонию, но и возможность каждому из нас по-своему толковать его жизнь.

Худыми костяшками
пальцев в дверной косяк
20-й комнаты постучало
знамение времени — ры-
нок. Знамение было бо-
родатым и с хвостом на
затылке. Комета Галлея
не производила такого
фурора, какий произвел

ВЛАДИМИР ЦАПИН

— предложивший «два-
дцатке» совместно прове-
сти некую акцию под на-
званием

СКРЫТАЯ РЕКЛАМА

— для «Поэтической гости-
ной» при библиотеке имени
народного поэта Н. А. Не-
красова.

— Денег, Володя, не хватит, —
сказали мы Цапину.

— Плачу талантами! — не морг-
нув глазом, ответствовал Цапин.

Вспомнив, что 1 талант весит 6000 золотых древнегреческих драхм и переведя их по курсу куда надо, мы просили Цапина вычесть из причи-
тавшейся нам суммы стоимость того, что следовало бы приобрести в ларьке под окном редакции, а сами погрузились в чтение манускрипта, удивляясь лишь совестливости ав-
тора, сумевшего так глубоко в свой трактат запрятать собственно ре-
кламу.

О волшебной фабрике поэтических гениев мечтали многие поколе-
ния государственных мужей. Еще Бенкендорф, уповая на «дым отече-
ства», доставал дерзких борзописцев тем, что не след им, мол, покушаться на святая святых, то бишь на ум, честь и совесть его эпохи. Ну а кожаным же комиссарам иной эпохи уже и салонные умствования «серебряно-
го века» казались именно тем, что мешало с должным пнететом вни-
мать речам классика революции то-
варища Маузера. Лишь в арестно-
расстрельные тридцатые власть воп-
лотила мечту всех вождей всех веков и народов. Под материнским крылом Союза писателей вместо шикарно-
элитарно-утонченных салонов да ба-
цацко-разгульных «Стойл Пегаса» за-
функционировал Литинститут, некий «инкубатор» от литературы, дав-
ший — кто спорит! — ряд неплохих имен, но аукнувшийся-таки по горо-
дам и всем истинно советским явле-
нием — лито. И уж каждому такому литобъединению полагалась «насед-
ка», желательно с членским билетом



СП (тогда еще не «совместного пред-
приятия»).

В пятидесятые годы отлаженная система писательского воспроизводства начала давать сбои, дух свободомыслия «растлевал» юные неокреп-
шие души. Москва и на этот раз ока-
зилась впереди планеты всей. В ДК железнодорожников появилась зна-
менитая «Магистраль» под руковод-
ством Григория Михайловича Леви-
на, где разгорались такие звезды Парнаса, как Булат Окуджава и... Перечень и вообще все списки имен сведущие читатели да составят сами!

Позже, в семидесятых, когда свобо-
домыслие приископили, грянуло мощное братство поэтов СМОГ (Союз Молодых Гениев), породив-
шее такое явление, как Леонид Губанов. И не его одного — Юрия Кублановского, Сашу Соколова, Аркадия Пахомова... То лито — то ли то, то ли?.. — уже явно шло в русле дисси-
дентского противления идеологиче-
скому злу.

Последующие попытки противо-
стоять Системе — Лянозовская
группа (Генрих Сапгир, Всеволод Не-
красов), группа «Московское время»

(Сергей Гандлевский, Бахыт Кенже-
ев, Александр Сопровский) — не имели уж такого резонанса в поэти-
ческом быту города, не говоря уже о бесчисленных диссидентствующих элементах, перевоспитать которые пытались «комиссии по работе с мол-
одыми» («по борьбе с молодыми», как те именовались перевоспитуемы-
ми). И все же под нежным двукрыли-
ем МГК ВЛКСМ и МО СП СССР сумели собраться на улице Писемского незаурядные поэтические лично-
сти. К примеру, на семинары Наде-
жды Кондаковой ходили будущие куртуазные маньеристы Вадим Сте-
панцов и Виктор Пеленягра, «модер-
нистка» Юлия Скородумова, «тради-
ционалистка» Ирина Ермакова и Елена Исаева... (Список опять-таки не полон... А из тех «писемских семи-
наристов» лишь, кажется, семинар Вадима Кузнецова сумел выпустить свой собственный сборник — «Стихи по средам».)

Иное склонение от «правильного» курса развивал известный критик Вадим Кожинов. Народная студия «Красная Пресня» превращалась под его руководством в островок русского мятежного духа...

Окидывая умилым взором безалкогольные перестроечные деньги с их, казалось бы, неизбывной тягой к Свободному Печатному Слову, нельзя не заметить средь прорезавшихся тогда новообразований и такое выдающееся явление, как московский клуб «Поззия». (Заметьте, поэзия — в кавычках!) Своей предысторией он уходит в застойные семидесятые. Раздвигая грозные заводские объединения типа «Вальцовка» (завод «Серп и молот»), «Всегда в строю» (при ДК имени Серафимовича), стали проклевываться на свет и Лито с явно либеральными замашками. В журнале «Юность» студию возглавил Кирилл Ковальджи, а при МГУ и по сю пору функционирует студия «Луч» под предводительством неувядоющего «достоевсковеда» Игоря Волгина.

Ковальджи практиковал поэтические «разборки», пестуя плеяду поэтов, составивших затем костяк клуба «Поззия» (Нина Искренко, Владимир Друк, Евгений Бунимович, Марк Шатуновский), умевших загнуть при слушающих такую тираду смутного волноудмства, понять которую дано было только «избранным».

Игорь же Волгин разнообразил заседания ежемесячными поэтическими летучками, на кои, как бабочки на свет, тянулись неприкаянные поэты, предвкушая турнирный дух баталий... (Кстати, в 1977 году издаательство МГУ выпустило коллективную тридцати трех «университетских» поэтов. Как говорят: «Лучше меньше, да «Луч» же!»)

В 1986 году иллюзорный дух дармовой свободы сплотил разномастных претендентов на место на Парнасе именно в клубе «Поззия». Откуда-то появлялись крикливые панки и ругались матом, вялые хиппи ударялись в старославянский, отрешенные кришнанты бродили кругами, и еще Бог весть кто в очках и шляпе потусторонне бубнил — как в кошмарном сне. Но недолго музыка играла, недолго грезил граф О'ман! Приехал барин Леня Жуков с сотоварившими: Виктором Коркин, Ниной Искренко да Игорем Иртеньевым и всех рассудил — кого похерить и забыть, а кому надлежит цветы и пить амброзию славы. Сия самые жирные стихотворческие сливки (а в клуб уже влился Д. Пригов с С. Гандлевским, М. Сухотиным и Т. Кибировым, а также группы «Задушевная беседа» и «Эпсилон-салон»), они выплеснули с водой и самого было-таки народившегося младенца обратно на улицу, посчитав, что процесс пошел, господа-товарищи, и пора пожирать райские плоды поэтических кущ...

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ. Клуб «Поззия», задуманный как открыта система, ныне гордо влачит свое элитарно-надменное существование.

Много чего было в той юношеской перестроечной Москве!

Союз писателей еще показывал свои стальные зубы, молодые пионеры еще не налюбовались друг на друга, пробил звездный час Графомана, и имеющие уши услышали его на Арбате. Москва пребывала в эйфории благодушия и пробивала последние бастиды партийных запретов, устремляясь дальше, дальше, дальше...

После закрытия литературного кафе «Гном» долгожителем оказалась рок-кабаре Алексея Дидурова «Кардиограмма». То тут, то там звучат еще по Москве голоса его завсегдатаев. Поначалу славилось кабаре смелостью политических взглядов, потом вольностью поэтических самовыражений, а с недавних пор — еще и хорошей поэзии да возможностью выпить и закусить в непосредственном присутствии Музы. Тут выступали барды Андрей Селиванов, Саша Тверской, Евгений Восточный, поэт Влад-р Вишневский, магистр Вадим Степанцов, поэтесса Инна Кабыш.

Обиженным же и оскорблением клубом «Поззия» явился заступник в лице известного в узких кругах Евгения Богданова, начавший собирать заблудших было стихоманов на фестивали. Судьями на них оказывалась сама публика, выбирающая себе кумира. (Что, впрочем, не ново — так выбирался королем поэтов Игорь Северянин.) Одним из победителей фестиваля стал Олег Потоцкий, будущий руководитель недолгой памяти театра «Поэтоград». К девяностым, однако, поэтическая Москва стала помалу вымирать!..

...Но для тех, кому поэтические звезды надели и в ЦДЛ кого не пускают, отдушиной остается поэтическая «гостиная» в библиотеке Некрасова, на Пушкинской площади. Первую половину вечера ведет ЧЛЕН СОЮЗОВ ПИСАТЕЛЕЙ И ЛИТЕРАТОРОВ, ОЧАРОВАТЕЛЬНАЯ поэтесса Леночка Исаева. Вторую...

...А тут вернулся непустой Цапин.

И объявил технический перерыв.

— Да, — матеро наконец ухмыльнулся гений Юрий Беликов, — ценная у тебя мысль о закупорке поэтических сосудов! (NB. Мысль эту по-тому контрольный редактор Таня искала, искала, не нашла.) Но открытия истины нет.

— Нет, — по-ленински прищуриваясь и стремительно расхаживая между столами, нутряным голосом разразился старший гений — Юрий Владов (надо честно сознаться в том, что по плотности гениев на 1 кв. м 20-я комната равных покуда себе не знает). — А не надо ли вам, господа-товарищи, вскрыть сосуды, как Есенин в гостинице «Англетэр»? И писать наконец живой кровью?

Сама идея ваших поэтических тусовок беспросветна. Это куб... Колпак... Черный квадрат. Попали вы туда поодиночке, поодиночке оттуда и...

...И голос его потонул в стихах. С адским склопом четырехмерное пространство библиотеки Некрасова вперлось в ничтожный объем несчастной 20-й комнаты...

Лишь скалоподобная непробиваемость ответсека В. Кожемякина да ревнивые взгляды завпоэзии Н. Новикова кой-как укротили сие поэтическое цунами от чрезмерного вылеска на отведенные «комнаты» две журнальные полосы. Удалось сдержать Люду Осокину («О, как высоки были те заливные луга!..»), Лену Исаеву («Какое ветреное лето... И от дождя лицо в слезах...») и Катю Шевченко («Юность моя, ты конверт голубой с миллионами клякс...»). Ироничный мужик Михаил ДИЕВ таки прорвался, пробив «своенный» волейбольный блок завпубл. А. Кормашова и обозревателя С. Магомета.

В комнате — кромешный тет-а-тет И сплошная томная интимность. Между нами разворачивай нет, Лишь одна глобальная взаимность. Нынче я чертовски очень храбр, Нынче ты отчаянно доступна. Разобью фужер о канделябр — Страсть слепа, и это не преступно. Скини манто и выплюнь монпансье. Покоре! Я взорвал от страсти. О моя мадам!.. О мой месье!.. Вот оно, ядрена мама, счастье!

Лишь к полуночи, когда пространство библиотеки утянулось наконец по своему адресу на Пушкинской и малость вокруг обезлюдело, Цапин, засыпая, саркастично изрек: «А вообще-то у нас бывает и больше». На что редакционная мышка Машка философски заметила: «Меньше народу — большие бутерброды!» Затем она обмакнула хвост в кольцо неведомой жидкости на столе и, написав за всех ОКОНЧАТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ, поставила в конце всей этой истории яркую





встречать такие на прогулках, совершаемых по зимнему лесу по делу и без дела. Каждаяnochлежка всегда имела дверушки-отверстия. Полусыпанное входное, куда птица падала с высокой ветви дерева, и выходное, с отпечатками полуокруглых крыльев по бокам, откуда она вылетала утром. Там, в снегу, в обтаявших берлогах и пережидали рябчики долгую страшную зимнюю ночь.

Ни разу не приходилось наблюдать мне, как покидают птицы свое ночное убежище. За раскрытием этой тайны я и из-под ног в фонтанах сыпучего снега, по одному, по два разом, будут выпархивать рябчики. Как разлетятся они, рассядутся, успокоятся и начнут пересвистываться из темноты густых заснеженных еловых ветвей. А в воздухе еще долго будет кружиться, искрясь острыми гранями, розовая снежная пыль.

Я шел и представлял, как выйду к редине, найду лунки, и из-под ног в фонтанах сыпучего снега, по одному, по два разом, будут выпархивать рябчики. Как разлетятся они, рассядутся, успокоятся и начнут пересвистываться из темноты густых заснеженных еловых ветвей. А в воздухе еще долго будет кружиться, искрясь острыми гранями, розовая снежная пыль.

И такой праздник был на душе, что хотелось петь, и я мурлыкал про себя какую-то легкую песенку.

Но на утренник я опоздал.

До меня там побывала куница. По следам я определил, как она долго петляла лесом, осматривая поляны, и, наконец, с разбегу выскочила на самую середину рябчинного ночлега. Следы рассказали, как гибко металась хищница от лунки к лунке, как заполошно молотя крыльями улетали невредимые рябчики.

Так и остались мы с носом. Я без чудного зреища, а куница без завтрака.

Владимир КОЖЕМЯКИН

Маленький мальчик

Глядел на Луну

И умолял он Луну:

"Ну, ну, ну!.."

Сахарной грушей

Висела Луна

И улыбалась Луна:

"На, на, на!.."

Знаешь,

Чем кончился

Тот разговор?

Мальчик с Луной

Не встречались

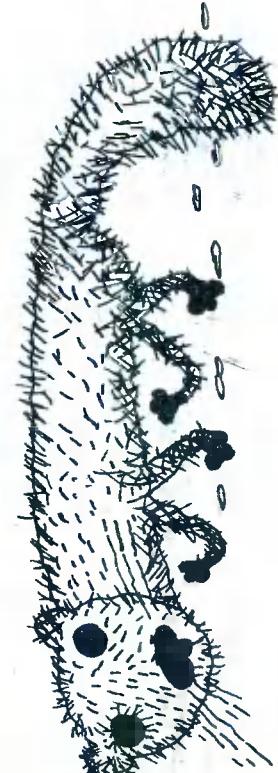
С тех пор.

Солнце облаком закрыто,
Опустилась тень на пляж.
Загорать холодновато.
Как же быть?
Муражки аж!

Бабульки летом у подъезда
Сидят и чешут языки.
Ну а зимой
Они в квартирах
Их греют
Возле батарей.

Бабульки летом у подъезда
Сидят и чешут языки.
Ну а зимой
Они в квартирах
Их греют
Возле батарей.

Чтобы не дрожать в тени -
Тень за плавки потяни.



Владимир МОРОЗОВ

РЯБЧИКИ

В сирени соловей поет,
В черемухе, в жасмине,
А я на дерево залез -
Нет голоса вломине!

И вдруг -
Осиное гнездо...
Короче, спел я,
Но не то.

Куда спешит прыжками?
В ответ
Он разведет руками.

Откуда мчалось колесо,
Ей-Богу, я не знаю,
Но прикатилось колесо
К кубогому сараю,
И там упало колесо,
И там лежит
С утилем.
Ну а сарай?
Считает он,
Что стал
Автомобилем.

Волк в кустах дрожит от страха,
Взмокла серая рубаха.
Не дадим волка в обиду,
Создадим ему защиту.
Волк, не бойся, не дрожи,
С нами ружья
И ножи.

Я ремонтом занимался -

Ремонтировал будильник.

У Деда Мороза растет борода. Жаль, что инструмент сломался:
Она пригодится,
Когда холода.



Рисунки Георгия Мурышкина

Спешит куда-то человечек,
Не замечая гор

И речек,
Он перепрыгивает рощи
И города,
И что погроше.

Спроси:
Куда спешит прыжками?

В ответ

Он разведет руками.

Когда-то здесь, на веретье, стоял светлый сухой бор - бело-
мошник. Но пришли люди с пилами и тракторами, свели бор
и вывезли древесину.

Постепенно земля оправилась. Рассыпалась в труху исто-
ченные насекомыми пни, затянуто рваные раны от гусениц

тяжелых тракторов.

Да и лес не дремал.

Ежегодно бросали оставленные сосны-семенники на вы-
рубку десанты семян-парашютистов. Семена отбрасывали
ставшие ненужными крылатки-парашютки и, прорастая,
впивались корнями-насосами в материнское тело земли, тя-
нули-пили ее благородные соки, росли-тянулись вверх. К
солнцу, теплу и свету.

Сейчас, спустя два десятка лет после рубки, старая выруб-
ка представляла собой рединку с мягкой шелковистой травой
и высокими пушистыми свечками молодых сосновок. Здесь по
осени в изобилии вьсыпали боровые рыхики и маслята, а по

краям встречалась бруслица.
Светлая сосновая рединка привлекала различную

живность. Летом и осенью здесь кормились тетерева и тяже-
лые глухари, лоси устраивали свои турниры. Зимой вся она
была испещрена пуганными петлями заячьих следов -
маликов.

Круглый год по краю темного леса обитали рябчики.
Вот я и шел проверить, как чувствуют себя мои старые

друзья, - юркие серые рыбцы. Ради них я встал пораньше и
еще затемно пробежал поля, отделяющие поселок от стено-
ной стены большого леса.

Зимой проще всего определить место обитания рябчиков
по их снежным лункам-ночлежкам. Мне часто приходилось



Этот юмор черный...

Сергей САТИН

Возвращение

Вот идет домой солдат
с термоядерной войны.
Черт-те что и под, и над —
ио солдату хоть бы хны.

Он отважно воевал.
Победил врагов он тьму.
Лично руку генерал
жал последнюю ему.

По стерне солдат идет,
видом мест родных согрет,
весь в глубоких шрамах от
баллистических ракет.

Селезенкой ек да ек.
Автоматом бряк да бряк.

В вещмешке — сухой паек.
В животе — дрянной коньяк.

Скинет он противогаз
майской свежести вдохнуть,
матюкнется ивру раз,
посидит — и снова в путь.

Где-то вороны орут.
День ли, ночь — не разобрать.
Ждет солдата мирный труд.
Ждет его старуха мать.

Вот идет он, весь светясь,—
он, сказавший смерти: «Стоп!» —
по леду все хрясь да хрясь,
все протезом топ да топ.

Если ж снова лютый враг
на страну пойдет его —
он обратно в пух и прах
разобьет врага того.

Ян ТАКСИОР

Любовь и смерть
Я пригласил вас на обед
И после супа
Принес на блюде для котлет
Кусочек трупа.

Мадам, оставим светский тон,
Вы не ребенок.
Кусочек трупа это он —
Мой поросенок.

Давно такого я искал.
Он был веселый.
Его кормил я и ласкал
По спинке голой.

Он одногого меня любил
И каждый вечер,
Бывало, крикнешь: «Феофил!»
Бежит навстречу.

Но я убил его ножом
Для милой гостьи
И тело мертвое обжег
И выпнул кости.

И вот, возвышенно тонка,
Твердя о Глинике,
Вы проглотили три куска
Покойной свинки.

Ну что ж, доешьте до конца,
Мой ангел милый.
А я такого мертвца
Глотать не в силах.
Киев



БОЛЬШИЕ ВСПЛЕСКИ

«...Невозможность клятв сберечь»

С чувством глубокого удовлетворения просматриваю читательские письма, попавшие в мой почтовый мусорный ящик на Задворках. Продолжаю утверждать: никакая инфляция не способна заглушить, засыпать или закопать талант, если он имеется в наличии. А наши читатель талантлив! Даже когда не слишком образован и не пересчур грамотен. Просто надо в куче невнятницы отыскать наиболее вытирающую. И как же отрадно среди мелких поэтических всплесков обнаружить, — вот именно большой, — выдающийся! Трепетно, как всякий подлинный коллекционер, выбираю, несколько очищаю от пыли и шелухи и вставляю, укладывая, устанавливаю в свою постоянно действующую коллекцию. Кое-какими свежими экспонатами охотно поделюсь.

Прикол НАХАБИН

Мы лежим с тобой на пляже.
Солнце лучше, чем костер.
Все на свете этом наше,
По душе речной простор.

Нож из сумки вынимаю,
Режу хлеб и колбасу,
У реки тебя снимаю,
Завтра снимок принесу.
Завтра встретимся мы снова,
Ты — с улыбкой на устах.
Речь готова. Песнь готова.
Мы найдем себя в кустах.
В. Р., Хабаровск

Хотел бы быть взорвавшейся звездой,
Чтоб миру подарить свои осколки!
Ю. С., Пермь

Он говорил, а я молчал,
Как будто ручеек журчал.
С. Ш., Киев

Опьяненный, до боли согретый
Молоком твоих нежных грудей,
Донага я тобою рвздетый,
Не сомкнул яснокарих очей.
К. К., Шуя Ивановской обл.

Всю понимая нереальность,
Скандалность уличая встреч,
Я не прощаю вам БАНАЛЬНОСТЬ
И невозможность клятв сберечь.
С. М., Гомель

Ты склонилась на мои колени
И щекою брюки мне прожгла.
Не красив я, не богат, не гений...
Лучше бы к другому ты ушла.
Н. Х., Новосибирск

И везде и новсюду со мной,
доводящий до слез,

Запах женщины,
Звоных вымытых женских волос...
Неподписанное, Карелия

Я засну, промчаться годы,
Грянет истина, а с ней —
Силош отравленные всходы
Светлой юности моей.
В. Ф., Душанбе

Как я смогла тебе поверить,
Заране зная: ты — трепло,
Свои надежды разуверить...
И вот, пожалуйста, — мурло.
З. К., Витебская обл.

Нет, ребятушки,
жизнь без цыгана —
Это просто уха без ериша.
Даже если она не ногана,
Все равно нету в ней ни шиша.
В. Р., Орел

В верхах мне прочили карьеру,
Мне в нориофильме дали роль.
Но не прошел по экстерьеру
Я эротический контроль.
М. Т., Новгород

Азарт. И зад не чует стула.
Листау дерев, как ветром, сдуло.
А. Б., Тула

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Меняю рубище певца
На жизнь купца иль продавца.
Ю. С., Пермь

Я иду по улице, все вокруг целуются.
Солнце светит в правый глаз.
Люди! Я люблю всех вас!
С. Ш., Киев

Во-первых, Пушкин — мой учитель,
И все претензии — к нему...
И. В.

Шахта
Когда опускаюсь под землю,
Я сразу себе говорю:
То, что наверху, не приемлю,
А все остальное люблю.
А. К., Новокузнецк

Гляжу в окно с 8-го этажа.
Куда ни глянь — везде Караганда.
И. С.

Я люблю свои слова — чистые
и умные.

Футбол — игра мяча спортсменов. Бегущих игроков, которые ведут игру с мячом, в ворота попадая. Они победу ищут в своих моментах паса и подачи круглого и меткого мяча. В противные ворота...
А. М., пгт Ивановка

Боже, милая, как ты могла?!.
Роковой стала эта загадка,
И суровая, горькая складка
На моем животе залегла.
В. Г., Астрахань

Этот город со стаями галок
Под прицелом косого дождя
Был бы очень, наверное, жалок,
Если б в нем не водилось тебя.
А. Ш., С.-Петербург

Над нами ангелы порхали,
Под нами — плыли облака,
И стены музыке внимали
От пола и до потолка.
Н. Ф., Киев

Ты думаешь, а ты не думай.
Ты объяснений ждешь — не жди.
Мы никогда не будем суммой.
Я остаюсь. А ты — иди.
Д. Х., Хабаровск

Я преклоняю ноги и колени...
К. Ц., Чирчик

Отречение плыву по ночи,
Как советовали врачи.
Е. К., Томск

Стоит страна чудесная.
Погода в ней прелестная.
А. М., Херсонская обл.



Журнал зарегистрирован в Министерстве печати и информации России
Регистрационный номер 112
Учредитель — трудовой коллектив редакции журнала «Юность»

Художественный редактор Юрий ПЕТЕЛИН
Технический редактор Людмила ГУДКОВА
Фотограф номера Леонид ШИМАНОВИЧ

При перепечатке наших материалов ссылка на журнал «Юность» обязательна
К сведению уважаемых авторов: редакция не рецензирует рукописи и не возвращает,
а также не вступает в переписку

Принимаются к рассмотрению первые машинописные экземпляры рукописей
Авторы ответственны за точность цифр и дат и достоверность фактов
Во всех случаях полиграфического брака в экземплярах
обращаться в издательство «Пресса» по адресу:
125865, Москва, А-137, ГСП, ул. «Правды», 24.
Формат 84×108¹⁶.

Тираж 55700 экз. Заказ № 1078.

Адрес редакции: 101524, Москва, К-6, ГСП, ул. 1-я Тверская-Ямская, 2/1.
Телефон для справок: (095) 251-31-22

Отдел рекламы: 251-05-06

Телефон корпункта по Уралу и Сибири:
(342) 25-98-80 (г. Пермь)

В НОМЕРЕ:

ПРОЗА

Валерий РОНЬШИН	
Последний поезд метро	
со станции «Отчаяние».	
Рассказ	2
Юлия ЛАТИНИНА	
Сто полей	17
Дмитрий РАХМАНОВ	
Художник и маски.	
Повесть. Окончание	46

ДОМ ПОЭТОВ

Кирилл КОВАЛЬДЖИ	8
Александр ГЛЕЗЕР	39
Памяти СМОГиста	
Леонида ГУБАНОВА	44
Борис ВИКТОРОВ	75
Светлана ЗАЙЦЕВА	76
Задворки Дома поэтов	95

ПУБЛИЦИСТИКА

Русская провинция	
Стихотворение	
Александра ВОЛОГА.	10
Дмитрий РИЗОВ	
Ребра России	11
Михаил ТАРКОВСКИЙ	
Петрович. Крышечка.	
Рассказы	14
Виктор МАНИУЛОВ	
Записки обывателя	40
Николай ШАБУНИН	
Везет же людям!	77
Дмитрий ФИЛИМОНОВ	
Космические игры	
со смертельным исходом	80
Алексей ГОМАЗКОВ	
Час ночи	83
Тамара ЖИРМУНСКАЯ	
Библия и русская поэзия.	
Беседа вторая	87
Адель АЛЕКСЕЕВА	
Петр Борисович Шереметев	89
20-я комната	91
ЖУРНАЛЬЧИК	93
ЗЕЛЕНЫЙ ПОРТФЕЛЬ	95

Михаил РОЙТЕР г. Москва



У нашей редакции есть особая, что ли, Геардия писателей и художников. Именно к таким близким друзьям относился и Михаил Григорьевич – ставший московский художник-акварелист. В октябре прошлого года его не стало. Мы публикуем его самые последние работы. Вечная память Мастеру.



Последний натюрморт. Акварель.

Новгородские сумерки. Акварель.



M. Röter



Санкт-Петербург. Банковский мост. Акварель.

**Михаил
РОЙТЕР
г. Москва**

В следующем номере:

Роман Николая Ульянова
"СИРИУС"

Повесть Вероники Кунгурцевой
"САД"

Владимир Малягин -
"ПРАВОСЛАВИЕ И РОССИЯ"
Окончание "КОСМИЧЕСКИХ
ИГР

СО СМЕРТЕЛЬНЫМ
ИСХОДОМ"

Дмитрия Филимонова
"Частный детектив" -
"ЛИШНЯЯ СЕКУНДА"
Сенсация XXI века
Игоря Шумейко.